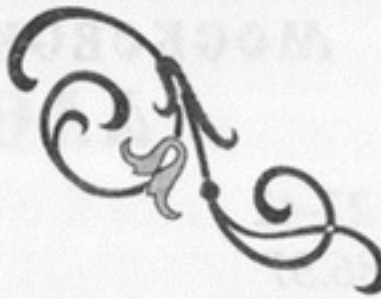
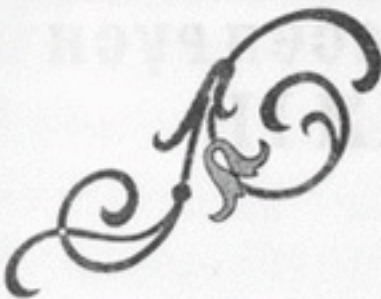




**РАЙСКИЕ ЦВЕТЫ
С РУССКОЙ ЗЕМЛИ**



РАЙСКІЕ ЦВѢТЫ С РУССКОЙ ЗЕМЛИ



Украинская православная церковь
Полтавская епархія
Спасо-Преображенскій
Мгарскій монастырь
2006

ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ
СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА
МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ
АЛЕКСИЯ II

УДК 27-42
ББК 86.37
Р18



Книга "Райские цветы с Русской земли" содержит образцы любви к Богу и ближним.

Выпуск осуществлен издательством
ЗАО "Тираж-51", г.Краматорск,
ул.Орджоникидзе 10/4.

ISBN 966-302-761-4

© Издательство ЗАО "Тираж-51", составление,
оригинал-макет, дизайн, графика, набор,
верстка, изготовление, издание.

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

В очах Божиих любовь к ближнему так ценна, что она одна только дает истинным последователям Господа нашего Иисуса Христа право называться чадами Божиими (1 Ин. 3, 1). Окрыляя человека всеми добродетелями, как «мать их»^{*}, как «соль всякого добродетелья»^{**}, она не только открывает двери Царства Небесного, она и здесь, на земле, делает его счастливейшим из смертных. Вот что сказал нам св. Иоанн Златоуст о христианской любви: «Кто любит ближнего своего как самого себя, тот живет на земле, как бы на небе, наслаждаясь всегда спокойствием и сплетая себе тысячи венцов. Такой человек сохраняет душу чистою от ненависти и гнева, от зависти и гордости, от тщеславия и порочного пожелания, от всякой постыдной любви и всякого порока. Ибо как никто не станет делать зла себе самому, так и он — ближнему. Такой человек, еще находясь на земле, будет стоять наравне с архангелом Гавриилом. Таков тот, кто имеет любовь! Посему и Христос знаком искренней любви к Нему поставил любовь к ближнему. Любиши ли Мя, — говорит Он Петру, — паси овец Мои (Ин. 21, 15–16). Видишь ли, как Он и здесь выразил, что любовь выше мученичества? Если бы кто имел любимого сына, за которого го-

^{*} Свт. Иоанн Златоуст. 38 беседа на 2 Кор.

^{**} Свт. Василий Великий. 5, 350.

тов был бы отдать душу свою, и если бы кто-нибудь, любя отца, на сына совершенно не обращал внимания, то этим он сильно огорчил бы отца, который не стал бы и смотреть на любовь к себе за презрение к сыну. Если же так бывает по отношению к отцу и сыну, то тем более по отношению к Богу и людям: Бог любвеобильнее всех отцов. Посему Он, сказав: *Сия есть первая и большая заповедь: возлюбиши Господа Бога твоего*, — продолжал, — *вторая же*, — и не остановился на этом, но присовокупил, — *подобна ей: возлюбиши искренняго твоего, яко сам себе* (Мф. 22, 37–39). Подлинно, если бы это исполнено было с точностью, то не было бы ни раба, ни свободного, ни подчиненного, ни богатого, ни бедного, ни малого, ни великого, и самый диавол не был бы известен, и не только он, но хотя бы сто и даже тысячи было таких существ, и они не могли бы сделать ничего, если бы была любовь. Скорее сухая трава может перенести силу огня, нежели диавол пламень любви. Она крепче стены, она тверже адаманта, и, если бы указал на другое еще более крепкое вещество, твердость любви превосходит все. Ее не побеждает ни богатство, ни бедность, или лучше не было бы ни бедности, ни излишнего богатства, если бы была любовь, а было бы только добро, проистекающее из того и другого. От богатства мы имели бы довольство, от бедности свободу от забот, не терпели бы ни забот, неразлучных с богатством, ни опасений от бедности. Но что я говорю о пользе от любви? Представь, как прекрасна любовь сама по себе, сколько она приносит радостей, сколько доставля-

ет душе удовольствий; это по преимуществу ей свойственно. Другие дела добродетели, например пост, целомудрие, бдительность, сопряжены с трудом, сопровождаются недовольством, порочным пожеланием, высокомерием; любовь же, кроме пользы, доставляет еще великое удовольствие, а труда никакого, и, как добрая пчела, собирая добро отовсюду, слагает его в душе любящего. Раб ли кто, она делает рабство приятнее свободы: ибо кто любит, тот не столько радуется тогда, когда повелевает, сколько тогда, когда повинуетя, хотя повелевать и приятно. Любовь изменяет самое существо вещей и неразлучно приносит с собою все блага; она нежнее всякой матери, щедрее всякой царицы; трудное она делает легким и удобным, добродетель представляет привлекательной, а порок отвратительным. Посмотри: раздавать свое по-видимому прискорбно, но любовь это делает приятным; брать чужое по-видимому приятно, но любовь не позволяет считать это приятным, а заставляет убегать, как преступного; худо говорить о других для всех кажется приятным, но любовь представляет это неприятным, а хорошо говорить — приятным; ничто так не приятно нам, как хвалить того, кого мы любим. Еще: гнев имеет в себе некоторую приятность, но при любви его не может быть; она совершенно уничтожает его. Если любимый и оскорбит любящего, то гнева не будет, а будут слезы, увещания, просьбы; так далека любовь от раздражения! Когда она видит согрешающего, то плачет и скорбит, и эта скорбь приносит ей удовольствие. Слезы и скорбь любви приятнее всяко-

го смеха и всякой радости; не столько чувствуют наслаждения смеющиеся, сколько плачущие о любимых. Если не веришь, то удержи их слезы, и они огорчатся, как потерпевшие что-нибудь крайне неприятное. Павел (апостол) называет любовь матерью всех благ и предпочитает ее чудотворениям и прочим дарованиям, как при золотой одежде и обуви нужно бывает некоторое одеяние, дабы нам узнать царя; а когда мы увидим порфиру и диадему, то не требуем никакого другого знака царского достоинства; так точно и здесь. Когда есть диадема любви, то она достаточно отличает и истинного ученика Христова не только для нас, но и для неверных. *О сем, — говорит Христос, — разумеют вси, яко Мои ученицы есте, аще любовь имате между собою* (Ин. 13, 35). Этот знак важнее всех знамений, потому что по нему узнается ученик Христов. Пусть иные совершают тысячи знамений, но если они питают вражду между собою, они будут осмеяны неверными: напротив, хотя бы они не произвели ни одного знамения, но только бы искренно любили друг друга, они будут всеми уважаемы и неукоризненны. И Павлу мы удивляемся не потому, что он воскрешал мертвых, а потому, что говорил: *Кто изнемогает и не изнемогаю? кто соблазняется и аз не разжизаюся?* (2 Кор. 11, 29). Хотя бы ты сравнил с этим тысячи знамений, ничто не будет равно; и сам он ожидал себе великой награды не за то, что совершал знамения, но за то, что для немощных он был как немощный. Он даже готов был умереть с голода для спасения учеников: *Добрее бо ми, — говорит, — паче умерети, нежели похвалу мою кто да испра-*

зднит (1 Кор. 9, 15), говорит не с тем, чтобы похвалить самого себя, но дабы не подумали, что он укоряет их. Он никогда не хвалится своими совершенствами, если этого не требовали обстоятельства, и, когда бывает вынужден к тому, называет себя *будицею* (1 Кор. 1, 25; 2 Кор. 11); если он хвалится когда-нибудь, то немощами, страданиями и великим участием к бедствиям других, как и здесь говорит: *Кто изнемогах, и не изнемогаю?* Такие слова выше всяких страданий... Чего же, в сравнении с ним, достойны мы, которые не хотим презирать денег для блага нас же самих и подавать даже избыток своего имущества? А он был не таков, но отдавал и душу, и тело свое, дабы получили Царствие небесное те самые, которые побивали его камнями и бичевали. Так любить, говорил он, научил меня Христос, преподавший новую заповедь о любви и Сам исполнивший на деле. Он, будучи Царем всего и Существом блаженным, не отвратился от людей, которых сотворил из ничего и бесконечно облагодетельствовал; которые оскорбляли Его и плевали на Него, но сделался для них человек, обращался с блудницами и мытарями, исцелял бесноватых и обетовал небо. После всего этого люди, взяв Его, ударяли по ланитам, связали, били, осмеяли и, наконец, распяли; но Он и тогда не отвратился от них, и, быв повешен на крест, говорил: *Отче, отпусти им грех их* (Лк. 23, 34). Разбойника, который вначале поносил Его, Он ввел в рай; Павла из гонителя сделал апостолом, а ближайших и преданных Ему учеников предал на смерть для спасения распявших Его иудеев. Итак, представляя себе все

это, сделанное Богом и людьми, будем подражать делам добрым и питать в себе любовь, превосходящую все дары, дабы нам получить блага настоящие и будущие, которых да сподобимся все мы благодарностью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа» (Из 32 беседы на 1-е послание к Кор.).

Что любовь к ближнему превосходит все другие дары, убеждает нас следующий пример: «Некогда два инока, не имевшие в сердце своем любви к ближним, пришли к одному опытному и духовной жизни старцу и стали хвалиться своими делами. Первый сказал: «Я выучил наизусть весь Ветхий и Новый Завет; что мне будет за это?» Старец отвечал: «Воздух ты наполнил словами, а все-таки пользы тебе от труда твоего нет». А другой воскликнул: «А я, отче, чудеса творю». — «И тебе нет пользы, — сказал старец, — ибо и ты любовь отгнал от себя». Потом, обратившись к ним, сказал: «Если хотите спастись, имейте ко всем любовь и милости прилежите, и тогда спасетесь»*.

«Оле сила любви непобедимая! Оле сила любви бесчисленная! Ничтоже есть любви боле ни на небеси, ни на земли. Сия святая любовь есть глава добродетели. Любы есть знамение, есть соль всякому добродетелию. Блажен человек, который прежде всего приобретает любовь», — говорит святитель Василий Великий (5, 350).

НЕВЕДОМЫЙ МИРУ ПОДВИЖНИК

I

Это происходило очень давно, когда люди были более религиозны, более заботились о спасении своей души; они повсюду искали Бога и стремились к Нему, некоторые уходили в монастыри, в леса, дебри и пустыни для одиночного созерцания, молитвы, поста и изнурения своей плоти. А другие, и оставаясь в миру, совершали великие подвиги, какими отличались только великие святые.

Вот в такое именно время жил в маленькой глухой деревушке Выселках, С. губернии, старик-крестьянин Артемий Петров, человек, не знавший нужды, имевший такой клочок пахотной земли, который довольствовал его с семьей хлебом в продолжение всего года, двух лошадей, двух коров, несколько овец и свиней, стаю гусей, уток и кур, да в сохранном месте кубышку с двумя или тремя сотнями рублей, сберегаемых про запас на черный день. Но вот умирает старуха, жена его, оставив ему двадцатитрехлетнего сына Никиту и восемнадцатилетнюю дочь Анисью. Никита был парень серьезный, тихий, скромный и трудолюбивый; никто никогда не видал, чтобы он сидел сложа руки, — он вечно чем-нибудь занимался, что-нибудь делал. С раннего утра и до позднего вечера он проводил время или в поле за пашней, или у себя дома за починкой разных хозяйственных вещей. Когда же случалось, что ни тут, ни там не было более работы, то он уходил в другие деревни или ближайший город на постройку изб и домов, так как он и его отец были хорошие

* Патерик. Вопросы монахов к духовному отцу.

плотники. При своем трудолюбии Никита отличался от своих сверстников еще и набожностью: он каждое воскресенье и праздник ходил в село, за две версты от их деревни, в церковь, и там пел на клиросе. Жизнь он вел трудовую и скромную. Отец души в нем не чаял. С своей стороны и Анисья радовала отца. Она была хорошею, неусыпную хозяйкой и в доме, и на дворе.

Но недолго пришлось Артему радоваться на своих детей, он даже не успел устроить их жизнь: женить сына и выдать замуж дочь, как смерть внезапно подкосила его. Умирая, он завещал детям своим жить дружно и согласно закону Божию. Но дети и без сего завещания любили друг друга и никогда между ними не слышно было ни одного укоризненного слова.

У Никиты был друг, Андрей, старше него года на два, одинокий и бедный сирота, парень такой же скромный и трудолюбивый, как и Никита. Он часто в свободное время он ходил к ним и с удовольствием проводил время в разговорах с Анисьей. По-видимому, они очень нравились друг другу. Но так как Андрей был бедный человек и не имел собственного угла и хозяйства, то он не смел и думать о женитьбе на ней, как девушке состоятельной, и вследствие этого очень грустил, что заметил и Никита.

Однажды, в праздничный день, сидя на огороде, Никита спросил своего друга:

— Скажи мне, Андрей, почему ты в последнее время стал такой грустный, что я просто не узнаю тебя. О чем ты тоскуешь?

Андрей молчал. Никита немного подождал, потом снова заговорил:

— Что же это, тайна? Ты не можешь сказать ее и своему другу?

— Тебе менее, чем кому-нибудь другому, я могу сказать о своем горе, — медленно ответил Андрей.

— Почему так?

— Потому что... — и он запнулся.

— Я догадываюсь, — улыбнулся Никита, — ты любишь мою сестру и боишься сделать ей предложение, ведь так?

Андрей весь вспыхнул и растерянно взглянул на своего друга.

— Ведь угадал?.. Правда?.. — допытывался Никита.

— Да... — тихо ответил Андрей.

— Так за чем же дело стало? — снова спросил Никита.

— У меня нет ни избы, ни хозяйства...

— А наша изба и наше хозяйство зачем? — перебил Никита.

— Ведь это все твое...

— Мне ничего не нужно, я все отдам сестре, а ей нельзя же жить в двух избах и вести два хозяйства. А пока что я поживу с вами, ведь вы не прогоните меня?

Андрей со слезами радости горячо обнял друга.

Через полгода после смерти отца молодая чета обвенчалась; свадьба была очень тихая и скромная, ни песен, ни пьянства.

Настоящим хозяином стал Андрей, Никита от всего отстранялся, хотя и не переставал так же усердно работать, как и прежде.

В последнее время поведение Никиты казалось всем очень странным. Он стал глубоко задумываться, мало ел и подолгу вечером молился. В нем совершалось что-то необыкновенное, а именно, его мучила мысль: такую ли он ведет жизнь, какую заповедал Христос, и как спасти свою душу, не лучше ли ему бросить все и уйти в монастырь.

Мысль эта родилась у него вследствие того, что он в одно из воскресений слышал в церкви, как священник читал Евангелие, где говорилось: *И кто не берет креста своего и не следует за Мною, тот не достоин Меня* (Мф. 10, 38). Эти слова страшно смутили его; и он не знал, что ему делать и как поступить.

Господь повелел любить ближнего как самого себя, рассуждал он. Он Сам, живя на земле, заботился не о Себе, а обо всех без различия. Он проповедовал любовь, истину и добро, облегчал страдания людей, утешал печальных, исцелял больных и воскрешал мертвых, а наконец, чтобы спасти всех, перенес великие крестные страдания. Этим Он дал нам высокий пример, как жить и как поступать.

Никита часто задумывался над этим и долго ходил угрюмый, но вот лицо его просияло. Он твердо и без колебания решил остаться в миру и всецело отдать свою жизнь на пользу ближним. Для этого ему дома нечего было делать. Сестра его жила счастливо, муж любил ее и бы прекрасный

и домовитый хозяин, в их маленькой деревушке не было никого, кто особенно нуждался бы в его помощи, а потому он решился оставить свою деревню и идти туда, куда Господь направит его путь и укажет ему, где следует ему остановиться.

В начале августа, после уборки хлеба и до посева озими, он собрал рано утром свою котомку, зашил в ладанку сто рублей и сказал зятю и сестре:

— Отцовскую избу и все, что в ней и на дворе, я отдаю вам в полное ваше владение, живите счастливо и мирно. Мне ничего не надо, *я иду в неизвестный мне путь и уверен*, что если когда-нибудь постигнет меня слабость или болезнь и я вернусь к вам, то найду у вас уголок и кусок хлеба для себя.

Зять и сестра, услышав это, горько заплакали и стали просить его не уходить, а остаться и жить с ними, но он сказал, что не может этого сделать.

И он ушел.

II

Грустно и вместе радостно было у него на душе.

Грустно *потому*, что он, быть может, навсегда оставил свою родину, любимую сестру и верного друга, а радостно *потому*, что он вступил на узкий путь, который приведет его в Царство небесное.

До вечера он прошел верст тридцать и остановился в одной довольно большой деревне. Встретив на улице старика-крестьянина, он спросил у него, кто у них тут самый бедный и немощный?

— Да вот, — указал старик на крайнюю, покосившуюся и полуразвалившуюся избенку, стоявшую на косогоре, вросшую в землю по самые окна и с про-

гнившею крышей, — тут живет старая больная бабушка Антипьевна, со своим малолетним внуком, — это самые несчастные люди, чуть не умирают с голоду... А тебе зачем их?

— Да вот, может быть, Бог даст, я помогу им.

— Помоги, помоги, добрый человек, это хорошо.

И Никита пошел к указанной ему избенке. Дверь в нее оказалась запертой изнутри, он постучал.

III

— Кто там? — откликнулся старческий голос.

— Во имя Господне, пустите, добрые люди, переночевать усталого путника.

— О, ох родимый! Плохо у нас, плохо, и угостить тебя нечем будет, — прошамкала старуха, отворяя дверь.

Она была очень старая и притом больная, еле передвигала ноги; лицо у неё маленькое и все сморщенное, как печеное яблоко, но удивительно добродушное; одежонка на ней старенькая и вся в заплатках.

— Мне, бабушка, ничего не надо, — ответил Никита входя. Он подошел к переднему углу и помолился на икону.

Слабый свет угасающего дня дал ему возможность увидеть такую поразительную нищету, какой он прежде никогда не видел. Кроме пустых закопченных стен и голых лавок да несколько облитых горшков на полке, деревянной чашки и тряпок, в избе ничего другого не было. На лавке, близ ок-

на, сидел худенький, печальный мальчик, лет одиннадцати, одетый тоже в отрепья.

— Это твой внучек? — спросил Никита у старухи, сняв с плеч котомку и садясь на лавку около старухи.

— Да, родимый, — ответила та, — мой внучек и кормилец, Тимоша, он теперь один ходит за кусочками, я уж не в силах.

— А давно вы так нуждаетесь?

— Да вот уже с год, как Бог взял у меня сына, и я осталась одинокой с своим внуком, невестка еще раньше умерла.

— А земля есть у вас?

— Есть, да что в ней толку, обрабатывать ее ни я, ни ребенок не в силах, а работника нанять не на что, да и лошадки у нас нет.

— В таком случае возьмите меня в работники, я все вам сделаю, время есть еще, не ушло, можно будет и землю вспахать, и озимое посеять.

— Э, эх, родименький, чем же я буду платить тебе?

— Да ничем, бабушка. Я человек одинокий и мне все равно, где бы ни работать да работать. Ты прими меня заместо сына, и я буду для тебя стараться.

— Да ты что, Божий человек, смеешься надо мною, старухой, аль правду говоришь? Смеяться то грех!

И старуха в недоумении развела руками, не зная, верить ей или нет.

— Видит Бог, бабушка, я правду говорю тебе, а шутить и смеяться над старыми и бедными людьми я никогда не позволял себе.

— Ах, Матерь Пресвятая Богородица! — воскликнула старуха, всплеснув руками. — Да что ты, святой человек, али что...

И старуха не договорила, она бухнулась ему в ноги. Никита вскочил.

— Бабушка, бабушка, Господь с тобой! Что ты это делаешь! Разве можно...

И он поднял старуху и посадил ее на лавку.

— Давай потолкуем лучше, как нам устроиться. Ты вот говоришь, что у тебя нет лошади, на чем пахать, значит, надо купить ее.

— Надо-то надо, кормилец, а где денег взять?

— У меня есть, я дам. Нет ли у кого здесь продажной?

— Есть вот у соседа, Ивана Прокофьяча, хороший меринок, положим не молодой, но крепкий и здоровый, и он не дорого просит за него, рублей двадцать с чем-нибудь возьмет.

— Ну, вот, мы его и купим... А соха и борона есть у тебя?

— Есть, только надо будет поправить их.

— Ну, это я справлю и семян для посева куплю... А теперь вот что: пошли-ка своего мальчонку купить кринку молока да фунта четыре хлеба, вот мы и закусим на сон грядущий.

Говоря это, Никита достал из кармана двугривенный и дал его мальчику.

Обрадованный голодный мальчик опрометью бросился за покупками.

На следующий день с утра Никита ревностно принялся за дело: купил лошадь, семян, починил соху и борону и приготовил все для пахоты.

Через три дня он покончил с озимыми. Вернувшись с поля, он весело сказал Антипьевне:

— Ну, вот, бабушка, я и покончил, на будущий год ты будешь с хлебом, а теперь, авось, как-нибудь проживем.

— Спасибо, родимый, я уже не знаю, какому святому и молиться за тебя.

— Э, бабушка, я делаю это не ради тебя, а ради спасения своей души. Ну, да оставим об этом говорить. Надо позаботиться о том, чтобы не растрачивать моих последних денег и не остаться нам без куска хлеба, да поправить твою избу, так как зимою здесь жить будет нельзя. Со временем мы поставим новую.

Вскоре он, насколько возможно, исправил полуразвалившуюся избу — тут подпер ее бревнами, там заделал дырья и проконопатил ее мхом, который Тимоша собрал в лесу. Затем он принялся за свое плотничье ремесло. Одному крестьянину понадобилось построить новую избу, и Никита нанялся к нему срубить и отделать ее.

Когда же настала зима, он начал делать рамы, двери, столы и табуретки, отвозил их в город и продавал там. Так он кормился сам, кормил и бабушку с ее внуком, а весной, после посева ярового и посадки картофеля, он снова принялся за постройки изб крестьянам.

Господь благословил его труды: урожай вышел прекрасный, хлеба хватило на весь год, бабушка

и Тимоша оправились и поздоровели. Строительная работа у Никиты не переводилась. Прошел и еще год, и Никита построил новую избу вместо развалившейся. Бабушка и Тимоша чуть не молились на него, и все крестьяне полюбили доброго человека: он со всеми был ласков и приветлив, никогда ни с кем не заводил ссор, а всякому готов был услужить и помочь, чем мог.

Прошло шесть лет. Тимоша вырос и из худенького, тщедушного мальчика вышел здоровый и сильный парень, вполне способный к самостоятельной работе, и притом он хорошо изучил Никитине ремесло. Тогда Никита, видя, что он здесь бесполезен, что миссия его тут окончена, решил уйти и поискать себе нового дела.

На все уговоры и мольбы бабушки и Тимоши остаться у них он отвечал, что Господь призывает его в другое место, к другим несчастным людям.

И он ушел.

IV

На этот раз он тоже прошел верст тридцать, не встретив, по его убеждению, ничего такого, где бы он мог приложить свои труды, хотя он и миновал несколько деревень. Только в полдень другого дня, идя по краю оврага, он вдруг услышал стон. Он заглянул в овраг и увидел там бьющуюся лошадь с опрокинутой телегой, из-под которой раздавался стон. Никита, недолго думая, спустился в овраг, приподнял телегу и увидал под ней молодого окровавленного крестьянина. С большим трудом он вытащил его из-под телеги, зачерпнул в не-

далеко протекавшем ручейке воды в бурок, висевший у него на поясе, обмыл кровь с лица и освежил голову раненому. Крестьянин опомнился и сказал ему, что очень сильно расшибся и не может встать, что его деревня с версту отсюда, он ездил в город с дровами и по продаже их, а когда возвращался домой, то дорогой задремал и не знает, как лошадь опрокинула его в ров; вероятно, она соблазнилась густою травой, растущей на краю оврага.

Никита выпряг лошадь, поднял ее, поднял и телегу, потом снова запряг лошадь, поднял раненого, положил его в телегу и вывел лошадь из оврага, затем сам сел и поехал в деревню.

Когда он подъехал к дому крестьянина, то из него выбежала молодая испуганная женщина, оказавшаяся женой раненого; увидев своего мужа лежавшим в телеге, она заголосила было, думая, что он мертв, так он был бледен. Но Никита постарался успокоить ее, рассказав ей о случившейся с ним беде. Затем он с ее помощью вытащил из телеги ее мужа и перенес в избу, где они уложили его в постель. Кроме них, в избе было еще двое ребят: мальчик и девочка, трех и четырех лет — их дети.

К счастью, в их селе жил фельдшер, и молодая женщина побежала за ним. Когда пришедший с нею фельдшер осмотрел больного, то нашел, что левая нога у него вывихнута и грудь сильно помята. — Поэтому, — сказал фельдшер, — ему придется пролежать в постели недель шесть.

Новая беда. Через неделю приходилось убирать хлеб, а кто это сделает? Молодая женщина опять

заплакала, но Никита и тут постарался успокоить ее. Он сказал, что не уйдет от них, пока не выздоровеет ее муж, и сделает за него все, что нужно, и платы за это не возьмет никакой...

Молодая крестьянка не знала, как и благодарить его, она говорила, что видно Сам Господь сжалился над малютками и послал им такого благодетельного человека.

Итак, Никита остался у них. Через неделю он уже с ранней зари и до позднего вечера работал в поле. Он прожил у них вплоть до сентября, пока не управился со всеми полевыми работами и пока не выздоровел крестьянин. За это время все душой полюбили его, даже дети привязались к нему и звали его «добрым дядей», потому что он постоянно ласкал их и делал ими разные игрушки.

Первого сентября он собрался уходить. Спасенный им крестьянин и его жена долго и горячо упрашивали его остаться у них на зиму, но он сказал им, что когда нужно было, он с радостью послужил им, а теперь должен послужить другим.

И он ушел.

V

Два дня он шел, прошел верст сорок. На третий день утром, пройдя одно большое село, встретил он почтенного старика, с длинною седой бородой, с котомкой за плечами и длинной палкой в руке, а за другую держалось двое детей, девяти и десяти лет. Старик был слепой.

Никита остановился, посмотрел на него и спросил:

— Куда ты, дедушка, идешь?

— В село, родимый, милостыньку просить Христа ради.

— По какой причине, дедушка, дошел ты до такого положения? Разве у тебя нет кормильца?

— Нет, родной, нет. Господу было угодно наказать меня за грехи мои. Его святая воля. Две недели тому назад у нас ночью почти вся деревня выгорела, сгорела и моя изба, а в ней и дочь моя с зятем. Спаслись только вот эти два малыша, мои внуки, да я, и то потому, что мы спали не в избе, а на дворе под навесом.

— Где же ты теперь живешь?

— Да в сараюшке, милый человек, сараюшка каким-то чудом уцелела. Вот мы там и помещаемся, пока еще не холодно. А настанет зима, придется замерзать, если добрые люди не помогут... Ох, грехи, грехи наши!..

И две крупные слезы скатились из слепых глаз старика, как две светлые росинки, и повисли на его седых усах.

— Не горюй, дедушка, — сказал Никита, — Господь даст, я помогу тебе.

— Ах, что ты, добрый человек, разве это можно, ведь ты мне не родной.

— Это ничего, мы все братья... Господь приказал любить ближнего как самого себя.

— Оно так-то так, а все-таки как же это...

И старик в недоумении качал головой, как бы не веря тому, что слышит.

— Да так, дедушка, вот вернемся теперь в твою деревню, покажи мне твоё пепелище и, Бог даст, я опять тебе все устрою.

— Ах, добрый человек, спаси тебя Господь! Ах, Царица Небесная!.. Да ты человек или ангел? Как твоё святое имечко?

— Никитой зовут меня.

— Никитушкой? Хорошее имечко, хорошее... Ты из этого села?

— Нет, дедушка, я дальний и одинокий... Я буду тебе заместо сына.

— Спасибо, родимый, спасибо!.. Вот нежданная милость Божия! Да пошлет тебе Господь счастье ради сироток моих.

И они вернулись.

Деревня была небольшая, одна сторона её почти вся выгорела, у некоторых изб уцелела одна стенка, у других две. Никита обратил на это особое внимание. У старика уцелели только последние два венца.

Сложив в его сараюшке свою котомку, он тотчас пошел отыскивать хозяев уцелевших стенок, предполагая купить их. Это ему и удалось: мужики, нуждаясь в деньгах, охотно продали их и взяли очень дешево. У Никиты деньги были: то, что он истратил у Антипьевны, он после пополнил своими трудами.

Радостный вернулся он к деду и сообщил ему, что успел сделать, вместе с тем он принес хлеба, луку и квасу, и они все сытно позавтракали.

После этого Никита, не теряя времени, принялся за работу, за очистку попелища. А на другой день он уже перетаскивал купленные бревна.

И работа закипела.

К Покрову они уже перешли в новую избу. Лошаденка, находившаяся во время пожара в сараюшке, уцелела, а это было большое подспорье для Никиты. Он холил и берег её.

И началась у него здесь такая же жизнь, как у Антипьевны. Весело и спокойно было у него на душе.

И прожил он таким образом у слепого деда семь лет, дождался, пока выросли его внуки, окрепли и вошли в силу. Тогда он простился с ними и пошел дальше, оставив по себе благодарную память.

VI

Было лето. Шел он лесом. Погода прекрасная, в поле жарко, а в лесу хорошо, прохладно, птички поют на деревьях, кузнечики трещат в траве, ветерок перешептывается с листочками; вон белка прыгает на ветке, зайчик пробежал и спрятался в кустах — хорошо, очень хорошо! Никита вздохнул полной грудью. «Всякое дыхание да хвалит Господа», — сказал он сам себе. И он бодро и весело идет вперед. От времени до времени попадаются ему странники и богомолки, поклонятся они друг другу и разойдутся. И опять он с природой и со своими думами. Далеко за полдень. Он устал, дошел до ручейка, напился холодной воды, освежился и прилег на траву. Спать ему не хотелось, он думал: к кому-то Бог приведет его теперь? Где и как он окончит свою жизнь? Но он до конца будет ис-

полнять свой долг и нести свой крест. Он встал, опустился на колени, поднял глаза и руки к небу и сказал:

— Господи! Направь мой путь по Своей воле, покажи мне, что делать и кому должен я помочь.

Долго он молился. Потом встал и пошел дальше. Часа три тянулся лес. Наконец он кончился и вслед за ним показалась деревушка.

Но странно, когда Никита вошел в деревню, улица была пуста, даже мальчишек и девчонок, постоянных завсегдатаев деревенской улицы, не было. Куда он ни заглядывал, нигде ни души.

Он вошел в первую избу и услышал там громкие стоны. На двух лавках лежали, разметавшись, больные мужчина и женщина, в углу сидели двое детей, они громко плакали. Не успел Никита спросить их, о чем они плачут, как вслед за ним вошел в избу пожилой мужчина в сюртуке.

Никита обратился к нему с вопросом, что тут такое происходит и отчего улица пуста.

— Ты не здешний? — не отвечая на вопрос, спросил его вновь пришедший.

— Я дальний, — ответил Никита, — и здесь мимоходом.

— Ну так уходи скорее отсюда: здесь вся деревня поражена тифом, здоровые почти все разбежались. Я фельдшер, совершенно измучился и никак не справлюсь со всеми. Никто не хочет ухаживать за больными.

Никита подумал: «Вот Господь указывает мне путь», — и сказал вслух:

— Давай я буду помогать тебе. Укажи только, что надо делать.

— А ты не боишься заразиться? — спросил фельдшер, удивленный его предложением.

— Чего же бояться, — ответил просто Никита, — умирать когда-нибудь да надо. На все воля Божия.

— В таком случае, будь друг, помоги.

И фельдшер подробно объяснил ему, как следует ухаживать за больными, когда и что давать им и как предохранять себя и других здоровых людей от заразы.

И вот принялся наш Никита усердно ухаживать за больными, из одной избы он переходил в другую и всюду поспевал с своею помощью. Спал он только два часа в сутки, почти все ночи проводил у постели тяжело больных. Давал им питье и лекарство, оберегал их от сквозного ветра и ухаживал за ними лучше всякой сиделки. И как искренно радовался он, когда какому больному становилось лучше. Тогда он утешал и успокаивал его и говорил ему, что он непременно выздоровеет; и как непритворно горевал, когда кто из тяжело больных умирал!

Фельдшер не знал, как и благодарить его за помощь, да и все больные полюбили его и очень скучали, когда он долго не приходил к кому-нибудь из них.

Понемногу тиф начал утихать, и больные, благодаря хорошему уходу, стали выздоравливать. С появлением Никиты смертность значительно уменьшилась. Самоотвержение Никиты принесло существенную пользу всей деревне.

Но, кроме ухода за больными, Никита успевал работать и в поле: он вместе с другими здоровыми крестьянами снял хлеб для тяжело больных и посеял озимый. И, несмотря на непосильные труды и постоянное сообщение с больными, он не потерял ни силы, ни здоровья.

В начале зимы зараза совершенно прекратилась, оставив в одной семье глубокий след, послуживший для Никиты причиной остаться в этой деревне на продолжительное время.

А именно: в той избе, в которую он в первую вошел, при входе в эту деревню, умерли отец и мать, оставив двух сироток: мальчика Петю, четырех лет, и девочку Настю, — трёх. У них не было никого из близких родных, а из крестьян никто не пожелал взять их к себе, ссылаясь на то, что у каждого есть свои дети, о которых они должны заботиться. Вот Никита и решился остаться с ними, заменить им отца и мать и воспитать их. В этом он видел определение Божие.

Когда он заявил о своем решении на мирской сходке, то все крестьяне охотно согласились.

Таким образом Никита остался в этой деревне, в избе, принадлежащей двум сиротам. В помощь себе он пригласил старуху-бобылку, Акимовну, для ведения домашнего хозяйства. Акимовна была добрая старуха, она смотрела на сироток, как на своих собственных детей, любила и баловала их. Дети скоро привязались к доброму Никите и звали его «тятей».

И он, действительно, был для них истинным и любящим отцом. Все свои редкие свободные ча-

сы посвящал им, учил и назидал их или рассказывал им нравственные истории, вообще он заботился о развитии и укреплении в них правды, сердечной доброты и любви к труду.

Он прожил здесь тринадцать лет и приобрел всеобщее уважение и любовь.

Последний год завершился несчастьем для него.

Дня за два до предположенного им ухода из деревни, ночью, загорелась изба, в которой помещалась многочисленная семья. Крики и шум разбудили Никиту, он вскочил и побежал на пожар. Изба была объята пламенем и из нее раздавались раздирающие душу крики и мольбы о помощи. Все собравшиеся на пожар только охали да ахали, выражали свое сожаление, но никто не решался придти на помощь погибающим. Тогда Никита не задумываясь бросился в самый огонь и вскоре показался с двумя детьми на руках, которых он и передал народу, а сам снова скрылся в огне, желая спасти еще оставшегося там старика. Но он уже не мог выскочить оттуда и, задушенный и опаленный, пал вместе с ним на пороге. Его вытащили баграми полуживого. Мучения его были нестерпимы, но он все-таки успел исполнить последний христианский долг, и к полудню его не стало. Вся деревня плакала о нем.

Так погиб неведомый миру подвижник, неуклонно следовавший по стопам Христа и положивший душу свою за ближних своих.

Мир праху его!

(Н. Перелыгин. «Друг народа», 1904 г.).

ИСТИННЫЙ ПАСТЫРЬ БОЖИЙ

Бог нам прибежище и сила.

Велика рать Христовых верных служителей. Большая часть их, как пчелки Божии, незаметно для мира трудятся на ниве Господней, но есть и такие, которые, как звезды небесные, ярко сияют благодатью Христовой. Благодарное потомство свято хранит память о таких подвижниках евангельской любви. В назидание нам вот что передается об одном истинном пастыре, священнике села Спас-Чекряк, Орловской губ., Волховского уезда, отце Георгии Косове. Поступив в Чекрякский приход, отец Георгий нашел здесь такую бедность и запущенность, что совсем собрался было уходить отсюда, чтобы не умереть с голоду, и особенно потому, что здоровье его было так плохо, что он кашлял кровью, но остался лишь потому, что отец Амвросий Оптинский удержал его от перехода. Повинуясь совету великого старца, о. Георгий остался в Спас-Чекряке, и с тех пор чрез него великая сила Божия совершается здесь: устроен великолепный каменный храм, трехэтажный дом трудолюбия, школа и дом странноприимный; толпы богомольцев текут отовсюду в дотоле неизвестное село Чекряк. Как же все это совершилось? Вот что рассказал об этом сам отец Георгий.

— Когда я приехал сюда — меня оторопь взяла: что мне тут делать? Жить не в чем, служить не в чем, дом старый-престарый. Церковь, пойдешь служить, того и гляди самого задавит. Доходов поч-

ти никаких. Безнадежное всегда было это место. Прихожане удалены от храма и от причта. Народ бедный — самим впору еле кормиться. Что мне тут было делать?! Священник я в то время был еще молодой, неопытный, к тому же здоровьем был очень слаб — кровью кашлял. Матушка моя была сирота бедная. Поддержки, стало быть, ни оттуда, ни отсюда не было, а на моих руках были еще младшие мои братья.

Оставалось бежать. Так я и замыслил.

На ту пору велика была слава отца Амвросия. Оптина от нас верстах в шестнадцати. Как-то по лету ночь бессонная от думушек-то, взгомозился я ни свет ни заря к батюшке.

Собрался, вмиг котомку за плечи и пошел к нему за благословением уйти из прихода. Часа в четыре дня я уже был в Оптиной. Батюшка меня не знал. Прихожу в хибарку его, а уж там народу тьма — дожидаются выхода батюшки. Стал и я в сторонке дожидаться. О приходе своем, о цели своего прихода я никому не сказывал. Смотрю — он выходит, да прямо меня и манит к себе:

— Ты, иерей, что там такое задумал? Приход бросить? А? Ты знаешь, кто иереев ставит? А ты бросать?! Храм, вишь, у него стар, заваливаться стал! А ты строй новый, да большой, каменный, да теплый, да полы чтобы в нем были деревянные: больных привозить будут, так им чтобы тепло было. Ступай, ступай домой, дурь из головы выкинь, да храм-то, храм-то строй, как я тебе сказываю. Ступай — Бог благословит! — сказал и пошел с другими беседовать. Я слова не мог вымолвить. По-

шел домой я тут же. Иду как пришибленный. Что же это такое? Каменный храм строить мне? Я с голоду, почитай, умираю, а тут храм строить! Ловко утешил, нечего сказать! Домой пришел, отделался от вопросов уж не помню как. Сказал только, что не благословил старец просить перевода. Что у меня тогда в душе происходило, кажется и не передать. Напала на меня тоска неотвязная. Молиться хочу, молитва на ум нейдет. С людьми, с женой не разговариваю. Задумываться стал. И стал я голоса какие-то слышать и ночью, и днем, больше ночью: «Уходи скорее! Ты один, а нас много! Где тебе с нами бороться? Мы тебя совсем со свету сживем!» Галлюцинации, должно быть.

Дело дошло до того, что не только молитвы не было во мне, мысли богохульные стали лезть в голову, а придет ночь, сна нет и какая-то сила прямо с постели на пол сбрасывает, да не в мыслях, а на деле, прямо так-таки поднимает да и швырнет с постели на пол. А голоса-то все страшнее, все грознее, все настойчивее: «Ступай, ступай вон от нас!..»

Я опять в ужасе, почти полупомешанный от перенесенных страхов, бросился к отцу Амвросию. Отец Амвросий как увидал меня, да прямо с места, ни о чем меня не спрашивая, и говорит мне:

— Ну, иерей, чего испугался-то? Он — один, а вас двое?

— Как же это так, — говорю, — батюшка?

— Христос Бог да ты — вот и выходит двое, а враг то, он один. Ступай, — говорит, — домой, ничего впредь не бойся, да храм-то, храм-то боль-

шой, каменный, да чтобы теплый, не забудь строить, Бог тебя благословит.

С тем я и ушел. Прихожу домой — с сердца точно гора свалилась. И отпали от меня все страхи. Стал я и молиться: поставишь себе в церкви аналойчик за левым клиросом перед иконой Царицы Небесной, да и начнешь в одиночку, в пустой церкви, канон Ей читать, тот, что теперь читаю. Кое-что из других молитв стал добавлять. Смотрю — так, через неделю-другую — один пришел в церковь, стал в уголку, да со мной вместе молится Богу, другой, третий, а там и вся церковь полна стала набираться. А как помер батюшка Амвросий, народ начал весь к Чекряку прибиваться: советов от меня ищут — без отца Амвросия-то жутко стало жить на своей-то волюшке, трудно человеку стало в наше время без слова утешения. Ну, да я какой утешитель! Вот отец Амвросий, тот и впрямь был всяких недугов душевных и телесных, по великой милости Божией, врачеватель. Впрочем, по вере ищущего, Господь ему не отказывает в его прощении и чрез недостойных пастырей, Им поставленных.

Как проходит день о. Георгия, вот рассказ посетителя села Чекряк, духовного писателя С. А. Нилуса.

«Маленькая, тесная церковка, вида весьма древнего, уже была переполнена народом, когда я, запыхавшись, взбежал по ветхим ступеням ее убогого крыльца. Народ стоял все более простой — мужики да бабы: было больше баб.

Кое-где темным пятном на красневшем фоне разноцветных платков и желтых нагольных полушубков выделялись шубы городского купеческого покроя. Таких было немного.

Я подошел к свечному ящику.

Нестарая, повязанная черным платочком женщина продавала свечи. Я заметил, что все выложенные на ящике свечи были двухкопеечные. Народ подходил, брал свечи, клал деньги, но сдачи не требовал: клали и пятаки, и двугривенные, прозвенел чей-то полтинник... Я тоже положил не то рубль, не то полтинник.

Народу было много, но стояла тишина, полная сосредоточенного благоговения. Я взял три свечи и, пробираясь через толпу, пошел их ставить к «местным» образам в иконостасе. За левым клиросом какого-то образа уже теплилось множество свечей и было заметно, что вся масса народа ютилась и жалась к этому образу. Батюшки в храме не было видно. Положив поклон, я поставил свечку святителю Николаю. Несмотря на тесноту в церкви в ней было холоднее, чем на открытом воздухе.

От холода восковая свеча ломалась в руках при постановке в подсвечник.

Перед образом Богоматери свеча моя, уже поставленная, свалилась и зажженным концом упала на шитое полотенце, украшавшее Лик Пречистой.

Из-за плеча моего порывисто протянулась чья-то рука, успевшая вовремя подхватить свечу...

Я оглянулся и... обомлел: вполоборота от меня стоял батюшка. Привычною, твердою рукой он поставил мою свечу и, не глядя на меня, не глядя ни

на кого, пошел оправлять и зажигать сам лампадки перед образами. Вовек не забыть мне того впечатления, какое оставила в моей душе эта первая моя с ним встреча. Я был потрясен, даже испуган, как если бы из образа Иоанна Крестителя, каким его обыкновенно пишут, вдруг вышел сам Предтеча Господень и стал зажигать на моих глазах лампадки.

Облик отца Георгия в старой, заношенной ризе, обвисшей на его высокой сухощавой фигуре мягкими складками, из потертой от времени и долгого употребления парчи, его темные, с большой проседью волосы, закинутые со лба назад непослушными, мелко вьющимися прядями с одной прядкой, непокорно сбившиеся на дивный высокий лоб, реденькая бородка, небольшие усы, открывающие характерный сильный рот, в котором так и отпечатлелся характер стойкий, точно выкованный из железа; глаза небольшие, горящие каким-то особенно ярким внутренним огнем, со взором, глубоко-глубоко устремленным внутрь себя из-под глубоких, резких складок между бровями, — вся фигура отца Георгия поражала сходством с тем, кто по преданию рисуется нашему верующему представлению, как «Глас вопиющего в пустыне». И обстановка, окружавшая отца Георгия, так напоминала пустыню, только не ту знойную в Иордане, а нашу, холодную, снежную.

Пока батюшка оправлял лампы, я стал у правого клироса, где было немного посвободнее от толпы, собравшейся ближе к левому. Глаз не мог я оторвать от отца Георгия. Вихрем в голове моей

проносились вся история Христовой Церкви на земле, вся история ее младшей дочери, православной Русской Церкви, исполненная дивных образов верных ее воинов, несших ей победные венцы в борьбе с внутренними и внешними врагами, с врагами земными и врагами злобы поднебесной — бесчисленную ратью князя мира сего, князя века сего. Передо мной, очевидно было, предстал один из таких воинов.

Порывистою, быстрою походкой отец Георгий вошел в алтарь. Через минуту он вышел оттуда, неся в руках аналой и толстую книгу в старинном кожаном переплете. Толпа почтительно и бесшумно подалась назад и открыла доступ батюшке к левому клиросу, сзади которого уже, как я говорил, теплились бесчисленные свечи. Все молящиеся как-то насторожились в благоговейном молчании... Тихо, проникновенно и вместе властно раздался призыв о. Георгия:

«Три поклона Божией Матери!» И вся толпа, как один человек, во главе с батюшкой, разом опустилась троекратно на колени. В отдаленном углу церкви раздалось чье-то тихое всхлипывание... Многие, как опустились на колени, так и остались в этом положении...

«К Богородице прилежно ныне притецем, грешнии и смиреннии, и припадем в покаянии, зовущие из глубины души: Владычице, помози, на ны милосердовавши, потщися — погибаем от множества прегрешений, не отврати Твоя рабы тщи, Тя бо и едину надежду имамы!» И опять «К Богородице прилежно ныне притецем...» раздались слова

знакомого молебного канона к Пречистой, «помаго во всякой скорби душевной и обстоянии». Какой проникновенный, исполненный беспредельной веры голос читал эти дивные, покаянные слова!

Толпа замерла. Казалось, вся ее бесчисленная скорбь слилась в одно общее молитвенное напряжение, и голос о. Георгия уже не был его голосом, а голосом всей этой народной груди, захлебывающейся от едва сдерживаемых затаенных рыданий. И слезы, бесшумные, тихие слезы текли из глаз многих.

«Моление теплое, и стено неодолимая, милости источниче, миру прибежище, прилежно вопи-ем Ти: Богородице Владычице предвари, и от бед избави нас, едина вскоре предстательствующая».

Это была теплая, неотступная просьба. Чудилось, что Та, к Кому относилась эта просьба, была тут, с нами, что Она слышала нас, слушала благосклонно Своего верного служителя, скорбела с нами нашими скорбями. Веровалось, что Она нас, рабов Своих, «не отвратит тщи», что не тщетны нами возлагаемые на Нее надежды.

Прочел батюшка часть канона, взошел на солею, снял стаканчик лампы от образа Святителя Николая и с лампадой этой в руках, не глядя ни на кого, все с тем же устремленным вглубь себя взором, пошел по народу, знаменуя маслом из лампы на челе и руках молящихся крест Господень.

— Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Как звать?

— Андреем, батюшка!

— Фекла, батюшка!

Отец Георгий близко, не дойдя до меня, пошел в сторону. Неужели я такой грешник? Мне жутко стало. Отец Георгий внезапно очутился около меня:

— Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Как звать?

— Сергей!

Я было от неожиданности забыл свое имя. Батюшка помазал мне крестообразно лоб.

Я подал ему свои руки. Он сам перевернул их ладонями кверху, на ладонях сделал тот же знак креста и пошел дальше. Масло потекло у меня по лбу.

Мне стало как будто неприятно.

«Зачем он это делает? — подумалось мне, — Ведь не всякому может нравиться и запах лампадного масла, и это ощущение на лице чего-то жирного, липкого».

Посмотрел я на соседей, у всех на лицах было одно выражение серьезного, сосредоточенного благоговения.

Мне стало до боли за себя стыдно: или веруй по заповеди Христовой, как младенцы, или не место тебе здесь — здесь одни чистые сердцем, верующие своему, Богом поставленному, пастырю.

Я почувствовал себя виноватым и перед совестью своею, и перед этими окружающими меня «младенцами», ангелы которых всегда видят Лице Отца их Небесного. Среди все той же благоговейной тишины в храме опять стали звучать слова канона.

«Предстательницу Тя живота вем и хранительницу тверду, Дево, и напастей решащу молвы, и налоги бесов отгоняющую: и молюся всегда от тли страстей моих избави мя».

Батюшка еще три раза прерывал чтение канона, обходя молящихся с лампадами от образа Царицы Небесной, Спасителя и с Евангелием, которым он благословлял каждого с какою-то особою проникновенностью, давая его целовать и затем возлагая Его на голову богомольца.

Благословив по окончании чтения канона молящихся крестом, так же как и с Евангелием подходя к каждому богомольцу, о. Георгий прочитал молитвы на освящение воды, снес аналой на солею, из алтаря вынес копие, употребляемое при проскомидии, небольшую луженую кастрюлечку, взял их в обе руки и сам стал перед аналоем. Народ столпился перед ним. У каждого в руке была какая-нибудь посуда, наполненная водой. Степенно, без толкотни и давки, богомольцы подходили к батюшке и подавали ему свою посудинку. Батюшка брал ее, наливал воду в свою кастрюлечку, погружал в нее копие, делая им в воде троекратно крестное знамение...

— Во имя Отца, и Сына, и Св. Духа! На что берешь воду? — при этом батюшка освященную воду через леечку выливал обратно в поданную посуду.

— Девочка моя вот уже третий годик от Покрова с печки не подымается; как захворала — все лежит: вся уже иссохла, бедная. Помолитесь, батюшка!

— Как звать твою девочку? Каких лет?

— Пятнадцать годочков. С Великого поста шестнадцатый пошел. Помолитесь, батюшка! Парашей зовут.

— Параскевой? Помолюсь — Бог поможет: у Бога милости много. Не грешна ли чем? Господь иногда в детях за нераскаянный грех родительский наказывает.

— Всем грешны, окаянные! Благословите, батюшка, у вас поисповедаться!

— Бог благословит! Останься, пока народ слышит.

Какая-то молодая бабенка сует батюшке в руку целую четвертную бутыл.

— На что берешь воду? Куда столько?

— Батюшка! Я дальняя. Себе беру, да соседи просили. Твоя водица-то скольким от болезней помогает. Беспременно наказывали воды твоей хоть по чуточке принести.

— Во имя Отца, и Сына, и Св. Духа! Не моя водица, а святая, Самим Богом освященная, через меня грешного освященная, эта-то вода, а не моя вода, и помогает по вере от болезней!

— Простите, батюшка!

— Бог простит!

— Батюшка! Муж со мной больно плохо живет.

— Батюшка, сын ушел. Пятый годик не шлет весточки! Батюшка! Благословите мне лавку открыть. Батюшка!..

И на все запросы, на всякий крик сердечный давно и наболевшего горя у о. Георгия находилось слово привет, утешения. В каждом его совете, в каждом слове его чувствовалось такое знание

сердца человеческого, такое проникновение в самую глубь народного быта, душевной жизни народа, что ни один подходивший, иногда приступавший к нему с глазами, красными от невысохших слез, не уходил от него с лицом непросветленным. Чувствовалось, что каждый получал свое утешение и именно то, которого жаждала и без о. Георгия не находила его скорбная, измученная душа. Говорят, о. Амвросий обладал именно этим свыше ниспосланным даром.

Около часа простоял я в своем уголке, с невыразимым вниманием наблюдая эту удивительную, никогда не виданную картину. Я чувствовал, что утомился от долгого стояния, а батюшка, казалось, не чувствовал усталости, все тот же бодрый, участливый голос его раздавался по церкви. Что за удивительная сила духа!

И этот человек «уж больно хвор был — кровью кашлял». Волне чающих совета и утешения все отлива не было. Между ними были и желающие исповедоваться, так что о. Георгию труда оставалось еще часа на два, на три. Я пошел в «странную», чтобы дожидаться выхода отца Георгия из церкви.

«Странная» отца Георгия — длинное одноэтажное деревянное здание — вся была переполнена народом. Нам был отведен номерок — маленькая, тесная комнатка в одно окно, с убогой мебелью. Вся постройка выглядела довольно ветхой. Пахло сыростью, испарениями человека... Не за житейским комфортом ездят к отцу Георгию!

Часа два стоял я на церковном крыльце, дожидаясь выхода батюшки из церкви. Исповедники его

задерживали. От начала канона уже прошло часов пять. Наступали ранние зимние сумерки. Прошли из церкви мимо меня две прилично одетые женщины.

— Скоро батюшка выйдет?

— Должно быть, сейчас, — в церкви, кажется, больше никого нет.

Я остался один. Начинало понемногу темнеть... Весь народ попрятался от крепчавшего мороза по теплым уголкам, где кто мог найти себе местечко. Батюшка все еще не выходил.

Наконец, взвизгнула на застывших тяжелых железных петлях дверь и отец Георгий вышел из церкви, разговаривая с каким-то человеком. Он сам запер церковные двери, попробовал замок, хорошо ли заперт, и, заметив, вероятно, мое ожидание, стал прощаться со своим собеседником.

— Бог благословит!.. Поезжайте с Господом!.. Пошли вам Господь милость Божию! — говорил батюшка, пока тот принимал его напутственное благословение. Я тоже подошел под благословение. Как-то особенно, с каким-то особым, если можно так выразиться, дерзновением, широким иерейским крестом он благословил меня. Мы вдвоем пошли рядом. Легонькая, потертая ряска на вытертых от времени простых овчинах, старый вязаный шарф на шее, на голове облезлая меховая шапка меха совершенно неопределенного, — совсем бедный дьячок из беднейшего прихода. И рядом с этим трехэтажный дом трудолюбия, новый трехпрестольный каменный храм. Этот человек не «своих си» ищет.

— Батюшка, я издалека приехал, — можно к вам зайти в дом? мне очень нужно с вами поговорить.

— Милости просим, пожалуйста!.. Пошли Господь милость Божию, — поговоримте, поговоримте!

По дороге к дому отца Георгия навстречу нам подбегали богомольцы, — кто принять благословение, кто с вопросом, за советом. Точно чутьем каким учуяли, что идет батюшка: выползли из теплых закоулков, где сидели спрятанными.

Господи, как же это сил хватает у этого человека?! Какое чисто ангельское терпение!.. Только у самого дома его оставили в покое.

С отцом Георгием мы вошли в дом через заднее крыльцо, через кухню. Обстановка в доме старенькая, вполне подходящая к батюшкиному одеянию. За стеной, в соседней комнате, слышна возня — должно быть, дети возятся. На столе приготовлена скромная трапеза: в обливной глиняной полумиске лежит нарезанная крупными кусками вареная, уже остывшая, говядина, «христославная черствая лепешка» из простой ржаной муки, видимо даже плохо пропеченная — дар прихожан своему пастырю, банка из-под французской горчицы с простою горчицей. Других «разносолов» что-то не было заметно.

— Погрейтесь, пока я переоденусь, у печки, а то вы, я вижу, застыли!

У меня от холода, действительно, зуб на зуб не попадал.

В кухню кто-то вошел. Послышался разговор. Чей-то недовольный голос раздался довольно громко:

— Да дайте же вы, наконец, хоть поесть батюшке!

— Да как же? Покойничка-то? Ведь его проводить надо же?

— Не уйдет ваш покойник! Надо ж жалость иметь к живому-то человеку — ведь не железный! — долетали до меня негодующие восклицания.

В эту минуту прошел мимо меня отец Георгий, направляясь в кухню, откуда слышалась эта не вполне мирная беседа.

Я стоял и грелся около печки. В комнате было довольно холодно. Пробежал карапузик, мальчик лет двух. Все личико замазано кашей. Посмотрел на меня удивленно, не то испуганно и затопал еще неверными ножками обратно. Возня в соседней комнате между ребятишками продолжалась... В кухне неприятные разговоры замолкли. Вошел батюшка.

— Вот дело-то какое! Надо ехать в село поднимать покойника, пока еще вовсе не стемнело. Вы уж меня простите. Зайдите вечером, часов в восемь.

О духовной мудрости и прозорливости отца Георгия ходит много рассказов. Вот что слышал один наблюдатель от своего знакомого. «Есть у нас в Волхове купец богатый. Народу он на своем веку обидел без конца. Чего говорить! И своим родным не давал пощады: только попадись, — давил да гнул всех, кто только ни попадал к нему в руки. Нищих

немало поделал. Под старость богомолен стал: жертвователем сделался, на церкви да на монастыри кушами стал отваливать. Прослышал он, что отцу Егору из денег тесненько: зачал свой храм строить, что теперь каменный в Чекряке, а на достройку выходит недохватка. Поехал к нему наш богатей да и говорит батюшке-то: «Наслышаны мы, мол, что деньгами вы нуждаетесь, так пожалуйста вам от меня на построение храма двадцать тысяч от нашего усердия». А батюшка ему: «Храмы Бог строит, а мы — люди, у него приказчики: по людскому, по прикащичьему, спасибо тебе на жертве, ну а Хозяин твоих денег брат не велит. Как так? Да очень просто: деньги ваши больно человеческими слезами подмочены, а такие Богу не угодны. Родные твои кровные от тебя по миру гуляют, а ты думаешь у Бога от их слез деньгами откупиться: не возьму от тебя и миллиона. Возьму, когда ублаготворишь тобою обиженных». Что ж бы вы думали? Ведь привел в совесть богатея-то нашего: теперь всех своих родных, кого обидел, на ноги ставит — дворы им строит, деньгами оделяет. Сторонних-то, им обиженных, и тех разыскивает, чтобы обиды свои выправить. Вот как наш батюшка людей на путь наставляет! Всего, что слышишь или сам, бывает, видишь из дел батюшкиных, не соберешь и не расскажешь. Одно слово, истинный пастырь Божий!»

(«Кормчий», 1904 г., № 58).

ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ ДИАКОН

До половины 70-х годов жители г. Вологды привыкли видеть на улицах своего города одного странного по виду человека, который привлекал внимание всех. Он был среднего роста, неизменно зимой и летом одевался в длинную серого цвета одежду — не то подрясник, не то балахон, — никогда притом не подпоясанный, на голове носил круглую мягкую шляпу, из-под которой выбивались пряди недлинных русых волос; изжелта бледное лицо старца отличалось подвижностью, а светлые голубые глаза его нередко озарялись особенным блеском.

Его звали петропавловским диаконом, потому что он в молодых годах служил диаконом у церкви свв. апостолов Петра и Павла, находящейся на окраине города, и уже давно вышел за штат.

Прошло около 30 лет, как не стало о. диакона.

Не славный, ни положением, ни званием, петропавловский диакон жив в памяти не тесного, но обширного кружка вологжан, даже таких, которые волею судьбы закинуты на далекие расстояния. Личность дивного старца, его жизнь оставили глубокий след в душах людей, знавших его. И теперь, как только некоторые из них услышат что-нибудь о петропавловском диаконе, даже одно имя его, как тотчас в сознании их предстает кроткий лик служителя Христова с его блестящим взором, то нежно любящим, то строго внушительным. В памяти воскресают его голос, его слова, его указания. Сколько раз они поднимали падавший дух, направляли на путь правды Божией, возбуждая

в душе забытые порывы к добру. С особенною яркостью, как будто они вот тут сейчас сказаны, припоминаются его слова, намеки, его прикровенные указания, которые сделались совершенно понятными потом, исполнившись в точности в каких-нибудь событиях жизни. Эти случаи удивительны. Отцы передают детям про события из своей жизни, ясно провиденные о. диаконом. Оттого-то диакон знает много лиц, не выдавших его, не слышавших рассказы о его жизни.

Что же за сила была в этом слабом человеке, которая влекла к нему и великих мира, и худородных? Та же духовная мощь, которая в высокой степени таилась в юродивых, прославленных Церковью, — в московском — Василии, устюжских — Проконии, Иоанне, и др.

Юродивые добровольно отказывались от разума, от дара Божия, которым и отличается человек — венец творения — от других тварей, отказывались от той стороны ума, под влиянием которой устраивается деятельность человека, как существа чувственного, чтобы чрез прекращение своих отношений к миру более расширять свою деятельность для Бога. Они жили на земле, но как бы не принадлежали земле. Поэтому все, что льстит и манит человека, богатство, слава, удовольствия им были чужды, все мирские привязанности они ставили ни во что, считая их препятствием к воспитанию в себе внутреннего человека. Пред их духовным взором предносилась только мысль о Царстве Божием, к которому они шли прямым путем, умерщвляя греховные влечения, отвергая суеты

мирские, обыкновенно увлекаясь которыми люди забывают о небе, о своем вечном предназначении. Углубившись в свой духовный мир, не связанные попечениями житейскими, юродивые являлись прекрасными учителями людей, своим примером резко оттенявшими то, что едино на потребу, забытое чрез привязанность к временным благам высшее назначение; словами, иногда резкими, они вразумляли своих ближних — братьев во Христе, наставляли заблудших, утешали скорбящих, обличали сильных земли, ибо они не боялись никого; их страшило одно лишь нарушение правды Божией. Отрешившись от тех интересов, которыми живет обыкновенный человек, от мирских привязанностей, часто даже от родственных уз, юродивые не знали, где главу подклонить; бездомные, они терпели все — насмешки, огорчения, обиды и притеснения, которые в их душе не возбуждали неприязненных чувств, равно и противоположные сим действия людей, похвалы и благоговение, не оставляли следа в их душе, которая ограждалась от честолюбивых помышлений и желаний смирением. Смирение, радостная доброта являлись отличительными чертами юродивых. Вот в чем заключается духовная красота блаженных, которая привлекает к ним сердца даже враждебно настроенных против них людей. К числу таких рабов Божиих, юродивых, принадлежит и петропавловский о. диакон. Личность и жизнь его оставили весьма сильное впечатление во многих, и, между прочим, в отзывчивых тогда юношах, сделавшихся впоследствии известными писателями — Круглове

и Пантелееве. Десятки лет, в которые ими было переиспытано, пережито увлечение антирелигиозными идеями, как сознается Круглов, не могли изгладить впечатления, произведенного на них во дни их юности личностью о. диакона, которому они посвятили свои живые воспоминания: первый — в журнале «Приходская Жизнь» (дек. 1901 г., стр. 494–504), второй — в «Русских Ведомостях».

Настоящее имя петропавловского диакона — Александр Васильевич Воскресенский. Он родился в 1803 году, был сын причетника. Учился Александр Васильевич недолго: он уволился из высшего отделения вологодского духовного училища и поступил в писцы духовной консистории. Двадцати лет от роду, именно 2 декабря 1823 г., Александр Васильевич посвящен был в сан диакона Петропавловской церкви, находящейся на южной окраине г. Вологды. Здесь он служил 21 год, до 1 ноября 1844 года, когда по болезни вышел за штат. Вот и все, о чем говорит его формуляр, помещавшийся в клировых ведомостях. О жизни Александра Васильевича, во дни его служения диаконом у Петра и Павла, никто не знает, да никто ею и не интересовался. Он сделался известен, сделался предметом внимания и уважения только тогда, когда стал жить не так, как другие люди. Случилось это, так сказать, его духовное возрождение после болезни, когда он принял подвиг юродства и стал казаться безумным. Многие, действительно, считали его сумасшедшим. На некоторое время о. диакон помещен был в дом умалишенных. Но он не был на самом деле умалишенным: он углубился в свой внут-

ренный мир, и свободный, как будто отрешенный от всего телесного дух его витал в высших сферах. — Бывало, придет к нам о. диакон, — рассказывает одна ныне уже пожилая женщина, — сядет куда-нибудь в угол и глубоко-глубоко задумается. Мы выходили из комнаты, оставляя о. диакона в покое. И вдруг он очнется; добрый, радостный... «У тебя, мати, хоть подумать можно, — скажет он, — душой отдохнешь». Помолится, простится и быстро-быстро пойдет. Куда? Бог весть.

Отец диакон не расставался с мыслию о Боге. Молитвенное настроение было в его душе господствующим. Верный сын и служитель Церкви, он жил ее жизнью. Песнопения праздника, тропари, стихиры в честь святых того или другого дня теснились в его сознании; он их напевал своим тоненьким, чистым голосом и часто заносил на бумагу. Сохранилась кipa листов синей и белой толстой бумаги. Крупным, красивым почерком о. диакона на них написаны церковные молитвы: «Христос воскрес из мертвых», «Рождество твое, Богородице Дево», тропари святым, напр.: Иоакиму и Анне, преп. Ксенофонту, Николаю Чудотворцу и др. Особенно же любимую его молитвою была: «Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим». На нескольких листах вслед за церковными песнопениями проставляется число, год, из других сделаны пометки: «Велик день у Господа» или: «Велик день у Царицы Небесной, только у меня мал», иногда: «Надо отслужить молебен». Эти листы тщательно хранятся его почитателями. Передавая листы с молитвами бла-

гочестивым людям, о. диакон присоединял к ним разные благопожелания, тоже письменные. Вот листок в четверку желтой бумаги: вверху поставлен крест, за ним четко написана молитва Господня и внизу: «Ангел Господень да сохранит Вас и все Ваше семейство», или: «Сохранит вхождение ваше и исхождение отныне и до века». Случалось, что он дарил своим знакомым рукописи с такими молитвословиями, которые им были особенно потребны в известную минуту, и даже во всей последующей жизни, принося им успокоение и духовную поддержку. Приходит о. диакон однажды в дом к одной старушке и говорит ей:

— Дай, мати, бумажки.

Она с удовольствием вручает ему чистый листок. Он написал: «Да будет воля Твоя», подал, помолился и ушел. Старушка скоро ослепла и в великом своем горе утешалась верою в премудрый Промысл Божий, постоянно с покорностью взывая ко Господу:

— Да будет воля Твоя!

Порывы молитвенные захватывали о. диакона на разных местах. Войдет он во храм, здесь изольет свою мольбу. Любил старец псалмы Давида, которые так трогают душу, залечивают раны душевные, утишают страсти. Так как в городских храмах иногда пропускалось чтение псалмов на кафизмах, особенно в будни, то о. диакон, бывало, встретится со священником и как бы мимоходом заметит:

— Давида-то забываете.

То вдруг он остановится посреди улицы и начнет молиться коленопреклоненный.

«В первый раз я увидел петропавловского диакона, — рассказывает Круглов, — при следующей обстановке. Он сидел на берегу реки, окруженный ребятами и взрослыми. Я подошел и спросил: «Что тут такое?» Мне ответил какой-то мужик: «А это Божий человек молится о нас, грешных».

Я протискался чрез толпу и увидел диакона, стоявшего на коленях и молящегося вслух. По временам он брал в руки камешки, песок и бросал в сторону. Многие, видимо, были довольны, если бросаемое попадало на них. Вдруг диакон вскочил и побежал быстро-быстро. Некоторые кинулись за ним».

«Как горячо молился он, — рассказывала жена священника По-ва. — Я видела о. диакона в Ярославле, куда он приезжал с одним подгородним вологодским священником. Лицо его дышало умилением, озарялось неземной радостью. Надо было видеть его усердие. Горячая молитва старца, верим, доходила до Бога».

«Двенадцатилетней девочкой я заболела тифом, — говорит г. А-ва, — мать отчаивалась в моем выздоровлении и плакала; о. диакон утешал и говорил матери: «Пойдем, помолимся вместе». Помоглились пред иконой, — и я выздоровела».

Другая почитательница петропавловского диакона, Грачева, в тоне рассказа которой слышится глубокая вера в молитвы старца, сообщила: «12 лет у меня не было детей. Только бездетная мать может понять остроту моего горя. Приходит однаж-

ды к нам о. диакон и, ударяя меня по плечу, говорит: «Детей-то у тебя нет?» — «Какие же у меня дети: вот уже 12 лет я замужем, а Господь меня не благословил», — ответила я с печалью. О. диакон ушел в другую комнату и долго там молился пред Царицей небесной. Потом подходит ко мне, ударяет опять по плечу и с горящим взором говорит: «По вере твоей дано будет». Вскоре я отправилась к родным в Кадников и там передала слова о. диакона. Никто не придавал словам его особенного значения. Но я стала беременной. Была масленица. Приходит опять к нам о. диакон. Я предложила ему покушать блинов. «Славные у тебя блины-то». — «Кушай, о. диакон, на здоровье», — усердно угощала я. «А как звать-то будешь — Федором или Петром?» — «Как Бог даст», — сказала я, поняв, что он говорит о будущем ребенке. Я подумала, что у меня родится сын или пред памятью Феодора Стратилата, или Петровым днем: соответственно с этим дано будет младенцу имя. Накануне праздника первоверховных апостолов у меня родился сын. Назвали его Петром». Г. Г-ва вполне верит в силу молитв старца.

Поставляя молитву выше всего в жизни, петропавловский диакон настойчиво убеждал понуждать себя к молитве, чтобы достигнуть дара умиления.

— Часто говорил он мне: «Молись, молись, и ты будешь счастлива», — сообщает жена диакона К.

К Богу за помощью, под кров Царицы Небесной советовал он прибегать в скорбях и несчастиях. В Вологде совершался крестный ход. О. диакон

подбегает к одному из участвовавших в нем священников, о. А-му, и подает ему какую-то записочку. Тот, не обращая внимания на врученную ему бумажку, бросает ее на землю. О. диакон не огорчается таким невниманием священника, но несколько раз громко произносит: «Помолись Царице-то Небесной». Вскоре в доме о. А. случилось горе: его жена мучилась в трудных родах. В постигшей скорби батюшка вспомнил наставление юродивого, отслужил молебен Божией Матери, и жена его благополучно разрешилась от бремени».

Петропавловский диакон любил людей, жил всегда с ними. Как дитя протягивает руки ко всякому, в ком видит ласку и доброту, так и о. диакон без всяких расчетов, по влечению сердца, тянулся со своею любовью ко всем, кто им не гнушался. Замечали, что он иногда ходил сторонкой, чтобы не показаться навстречу тем, кои его чуждались, пока те не становились в ряды глубоких почитателей старца. Детская простота о. диакона влекла к нему горожан, даже высокопоставленных лиц. Круглов рассказывает, что одно административное лицо в городе очень благоволило к диакону, посылало ему подарки, давало деньги и, когда юродивый приходил к нему, угощало с выражением полного почтения. Местный владыка с улыбкой выслушивал ту резкую правду, какую иногда говорил ему о. диакон в лицо. Юродивый был всюду вхож, и это не считалось странным.

Вон он «в семинарии, в старшем классе. Семинаристы окружили его», — рассказывает очевидец Г-ский. «Я вам тему дам, — сказал о. диакон. — С не-

бесных кругов слетел Гавриил. Славная тема...» Он был дорогим гостем во многих богатых и роскошных домах, у интеллигентных лиц, и в убогой хате горожанина, у простых и нищих. Для него везде были открыты двери... И везде он один и тот же, не изменяющий своего поведения раб Божий.

Весьма просвещенный человек П-тов с одушевлением свидетельствовал: «О. диакона считали сумасшедшим, он казался таковым по поступкам, но взгляд его был глубокий и умный, а сердце — прямо золотое. Он искренне утешал впадавших в несчастье, подкреплял их посильным словом надежды на помощь Божию. Все ему открывали свои горести и печали».

«Это была натура кроткая и участливая к обывательскому горю», — пишет А. Пантелеев.

Сердечное участие приносило скорбящим утешение и усладу. Сколько сердечных ран залечил он своею отзывчивостью! В скольких людях поддерживал дух для новой борьбы! Скорбящие верили, что о. диакон поможет им своею молитвою и словом. Они просили о. диакона помолиться за них. Вот, например, маленький лоскуток бумаги, в нем карандашом печатными буквами написано: «О. диакон! помолись за меня; я скучаю, глаза болят, помолись Богу о мне, грешной Анфисе». О. диакон чувствовал, где особенно нужна его помощь духовная. Является там, где гнетущее сознание одиночества, где чувствуется потребность посоветоваться: он вдруг тут, словно вырастает. Приведем здесь рассказ женщины Л-вой, свидетельствующий о любвеобильном сердце о. диакона.

«В один год у меня умерли мать и муж. Я осталась вдовой 24 лет. Чувствовалась томление духа и страх пред будущим. О. диакон явился истинным помощником в моей скорби. И ранее нередко бывавший у нас, он теперь стал неизменным посетителем. Идешь, бывало, с кладбища, он уж тут: или дожидается на крыльце, или сидит за самоваром... Тяжело положение молодой вдовы, особенно таково оно было в прежнее время, — слышишь только пересуды да разговоры. Хотелось самостоятельно добывать себе средства к жизни, и я избрала было труд акушерский, думала учиться. Но это намерение подверглось осмеянию злоязычных людей, возбудивших много тревожных для меня толков. О. диакон поддерживал мой дух. Когда чувствовалась потребность поговорить и угнетало меня одиночество, — является о. диакон, как будто вырастает. Он утешал, ободрял, и острота горечи полученных обид пропадала. Часто твердил он мне с силою в голосе: «Не унывай, не падай духом». Он ласкал меня с отеческою нежностью, заботился обо мне, как о дочери, и называл себя моим попечителем. В первый раз он наименовал себя так при следующих обстоятельствах.

Я жила в маленькой квартирке; за стеной помещалась другая квартирантка; по свойственному женщинам любопытству, она следила за мной, за моей жизнью, за знакомыми, наблюдая, кто бывал у меня и что говорил. Однажды как-то она пропустила, не заметила, кто вошел в мою комнату, и, услышав мужской голос, загорелась любопытством. Войти в комнату соседка постеснялась, а пото-

му она послала детей своих подсмотреть. Произошло необычайное. Всегда мягкий и кроткий о. диакон, увидев детей, взволновался, закричал на детей, забранил их. Все случилось так неожиданно, что меня забила нервная дрожь, и я прислонилась к косяку двери. «Ей бы самой за собой смотреть, — кричал он, возмущенный подсматриванием, — а не за ней. Я буду твоим поручителем...» О. диакону открывали то, что было на душе, прямо и не обинуясь, чистосердечно исповедовались в своих грехопадениях, делились радостями, намерениями, желаниями. Почитатели верили, что раб Божий укажет средство избавиться от гнета страстей, по крайней мере скажет свое откровенное и меткое слово.

В судьбе некоторых лиц о. диакон принимал горячее участие, так что без совета его те не предпринимали ничего важного в своей жизни. Благословенье старца являлось мотивом к решительному их шагу. С благоговением, бесконечною благодарностью вспоминает о петропавловском диаконе нынешняя игуменья Успенского монастыря С-я. Дом их, — она из рода дворян Кубенских, — был в приходе Петра и Павла.

«Еще маленькой девочкой, — сообщает нам матушка, — я чувствовала душевное влечение к о. диакону, который служил в приходе, где жили мои родители. Когда о. диакон (в 40 годах) находился в доме умалишенных, отец мой собрался однажды навестить больного. Не удержалась, не устрашилась и я, пошла с отцом. О. диакон все время разговаривал с нами вполне здраво: он не был сумасшед-

шим. Вид его хорошо запечатлелся в памяти. 20-ти лет я поступила в монастырь. Жила я в нижнем этаже игуменского корпуса. Замечательно, что о. диакон с самого начала моего поступления в монастырь стал звать меня «игуменьей», предрекая мою будущую должность. «Откуда ты это, о. диакон?» — встречает келейница тогдашней игуменьи неожиданно появившегося в ее покоях гостя. «От игуменьи (подразумевается будущей) к игуменье» (настоящей). Являясь ко мне, он утешал, ободрял меня, был мне незаменимым мудрым советником. По некоторым обстоятельствам мне пришлось перейти из Вологды в Ярославский Казанский монастырь. Там прожила я семь лет. В одно лето о. диакон приезжает в Ярославль. «Царица небесная! Обряди мне Раису», — громко говорит он, идя по двору монастыря, где жила я. Необыкновенный вид старца, его блестящий взор, его вопль: «Царица небесная! Обряди мне Раису (мирское мое имя), невольно обратили на него внимание сестер. Многие из них вышли и окружили юродивого. Заметив в монастыре необыкновенное оживление, я взглянула в окно и вижу: отец диакон из Вологды. Как? Какими судьбами? — «Вот Царица небесная обрела мне Раису!» — радостно воскликнул он. Прощаясь с нами (в монастыре были и другие сестры из Вологды), он говорил: «Скоро приедете, вологжанки». Эти слова нам тогда казались странными, потому что мы не имели намерения оставить Ярославль. Но о. диакон говорил ясно. По возвращении из Ярославля он и моей матери подтвердил, что я вернусь сюда, что в Успенском монасты-

ре я уже записана. Действительно, по неисповедимым судьбам Промысла на следующее лето я переехала вновь в обитель, где положено было начало моей иноческой жизни. Перед пострижением в мантию иногда чувствуется томление духа, внутренняя борьба, открывается величие подвига и слабость сил для несения его, страх пред будущим. Когда настоятельница монастыря предложила мне готовиться к пострижению в мантию, это томление испытывала и я. Не решалась я принести обеты Господу. Матушка игуменья несколько раз повторяла свое предложение. «Спрошу у о. диакона, — отвечала я, — что он скажет, без его благословения не могу решиться». О. диакон, как нарочно, не показывался в монастыре. Но вот он пришел. Я передала ему свои думы. Вскипятился о. диакон, таким я не видела его никогда. «Из стен монастыря тебя гнать надо! — горячился он. — Если предлагают, значит, воля Божия». Решительное слово прекратило все мои сомнения. Легко жилось при таком добром человеке.

Особенно сильною любовью о. диакона пользовались сироты. Он частенько являлся даже в совершенно незнакомые семьи, чтобы и тут пролить теплый луч своей ласки: хоть на минуты забудет семья о гнетущем ее горе; а где может, он позаботится, попросит о сиротах об улучшении их участи.

«У Пятницкой церкви в Вологде, — рассказывает о. диакон П., — был дом сирот диакона Ермолова. В соседнем доме загорелось. Пожар угрожал дому Ермоловых так сильно, что, казалось, дом неминуемо должен был сгореть. Но подходит петропав-

ловский диакон. «Надо, — говорит, — отстоять сиротский дом», — и удаляется на дорогу, начиная молиться. Через несколько минут является к пожарным какой-то господин и убедительно просит отстоять дом. На дом натянули паруса, и дом уцелел». Послушаем рассказ одной дамы В-ной, живо вспоминающей свое детство и неразрывно с ним образ о. петропавловского диакона.

«После отца нас осталось шесть сестер. О. диакон любил всех сирот. И нас часто навещал. Войдет в комнату и усердно помолится, иногда споет какое-нибудь церковное песнопение, потом начинает порывисто вынимать из карманов своего балахона булки (плюшки), конфеты. Положит свои гостинцы на стол, соберет нас, детей, вокруг себя. «Садитесь, садитесь, сиротки», — скажет он и разделит нас булками и конфетами. Мы сначала побаивались о. диакона, а потом полюбили и с радостью встречали его. Посидит он у нас иногда и долго. Перед уходом опять помолится. Дом наш стоял на углу улицы. Мы наблюдали, что когда о. диакон проходит мимо нашего дома, то возьмет что-нибудь с земли и все покидает на дом, как бы от чего-то ограждает его».

Петропавловский о. диакон весь превращался в нежность, когда подводили к нему детей. Он крестил их, ласково гладил по голове. Действительно, с детьми он имел много общего: открытость, простоту, незлобие. Он не мог смотреть на них без умиления, он дарил им булки, гостинцы. Иногда испорченные дети наносили о. диакону немало обид и оскорблений, гонялись за ним с комьями

грязи и камешками. Делали они это то по неблаговоспитанности, то по подстрекательству взрослых, считавших о. диакона сумасшедшим и не понимавших истинного смысла его жизни и действий. Раб Божий к обидам относился равнодушно, он был точно мертвый, потому что смирил себя, зная, что смирение есть верный путь к очищению сердца, а чистых сердцем ублажает Господь, обещая, что они Бога узрят. О. диакона нередко окружали нищие. «На, отец диакон, возьми пирог, покушай», — предлагала ему добрая женщина. «Не могу». Однако взял и ушел. Смотрят — попадается диакону какой-то нищий, ему в руки и сунул он пирог. Нищие толпой бросались в ту сторону, где видели спешно идущего о. диакона, готового усладить хотя сколько-нибудь судьбу собирающей милостыню братии чрез раздачу им подарков. О. диакон прекрасно понимал, что самый бедный не тот, который протягивает руку за копейкой, а тот, кто, живя в ужасной обстановке, не может просить подаяний. Ему известны были чердаки, где царила вопиющая бедность. Туда старец спешил с помощью; для таких он, вопреки обыкновению, даже просил денег у благодетелей, иногда по несколько рублей. И скольких, должно быть, подобно св. милостивому Николаю, спас он от разврата чрез благовременную помощь. Кстати сказать, он болел душой за тех, которые помрачали свое нравственное чувство удовлетворением низших влечений своей плоти. Нередко видали его около «веселых» домов умоляющим входящих туда оставить свое намере-

ние. Бывало, что за добрый совет ему платили руганью и побоями.

Веря, что деньги будут унесены туда, где они нужны до крайности, добрые люди давали ему свои лепты. Юродивый любил дарить своим знакомым св. иконы, при этом замечали дивное. Попадается однажды петропавловский о. диакон матери купеческой жены К-вой и вручает ей икону Николая Чудотворца со словами: «Возьми, мати, да только смотри не наряжай», т. е. не делай на икону дорогой ризы. Родители подаренной иконой благословили сына. Сын пил вино. Бывали такие ужасные моменты, что организм требовал водки, а денег не было, и пьяница решался идти продавать икону — родительское благословение. Но без ризы она не имела цены: никто ее не покупал. Так благословение матери и сохранилось у жалкого сына.

Сам себе о. диакон не угождал. Что ему надо было? До конца жизни юродивый жил в своем маленьком, низеньком, с окнами, вросшими в землю, домике, находившемся за городом, за тюрьмой. Приобретения для о. диакона не имели никакого смысла. Он явил себя настоящим бессребренником.

Не затемненные пристрастием к земным выгодам, не помраченные самолюбием, злобой духовные очи его не только видели ближайшее, но проникали вдаль, в глубину людских сердец. Случаев, в которых ясно открывается дар прозорливости этого старца и когда вполне исполнялись сказанные им слова в жизни разных лиц, его знакомых,

так много, что перечислить эти случаи, собрать их нет возможности. Вот некоторые из них. Писатель Круглов в своем сочинении «На ниве жизни» («Приходская Жизнь», 1901 г., с. 495—499), рассказывает следующее:

«У одной женщины, жившей на набережной в своем маленьком, дряхлом домике, собрались гости по случаю дня рождения хозяйки. Стояли июльские жары. Гости сидели и пили чай. Вдруг вбегает в комнату петропавловский о. диакон. «А, гости, гости, — говорит он, — ну, и я пришел к тебе в гости, угощай, угощай... Что у тебя есть-то?» Хозяйка очень уважала «Божьего человека» и потому очень обрадовалась его приходу. Она засуетилась, угощая диакона и чаем, и пирогом, предложила и наливки. «А и выпью, выпью; ты думаешь, не выпью? А выпью, я ведь люблю выпить, ей как люблю...» Он захохотал, принимая рюмку из рук хозяйки. «Кушайте во здравие, батюшка», — от души промолвила женщина. Но о. диакон вдруг словно чего испугался и, вылив вино на стену, воскликнул: «Ай, и жарко же, ой, как жарко». Он даже закрыл лицо руками. Все были изумлены словами юродивого и, не понимая их смысла, молча, глядели на него. А он постоял так с закрытым лицом и обратился к хозяйке: «А поди, хотела бы, чтобы я тебе подарочек дал?» Хозяйка ответила ему: «Батюшка, какой мне от тебя подарок, и то подарок, что пришел ко мне в такой день... за то благодарю...» — «А я тебе все-таки подарю, подарю... и знаешь, что подарю?» Женщина молчала. «Ты вот меня угостила, а я не подарю, как можно... Я тебе дом подарю, ма-

ленький, а все же дом». — «Батюшка, это как же так: значит, я помру скоро?» — спросила женщина, понимая под словами «маленький дом» гроб. «Поживешь, поживешь, — ответил о. диакон, — я тебе вот этот подарю, в котором ты живешь». Женщина подумала: «Этот дом и так мой, зачем его еще мне дарить», — но она не посмела сказать этого о. диакону, а поклонилась и промолвила: «Благодарю на подарке, батюшка». О. диакон засмеялся и сказал: «За твою доброту ко мне дарю... а ты не думай, что если твой, так и дарить нечего...» Он вынул две копейки, бросил их на стол и выбежал из комнаты. Что это значит, никто из гостей не мог пояснить, путаясь в догадке. Первая же ночь все объяснила. В 12 часов ночи в той слободе, где стоял дом женщины, произошел пожар, истребивший кряду 20 домов, но дряхлый домишко бедной почитательницы юродивого остался цел, хотя на него пожарные меньше всего обращали внимания, занятые спасением домов богачей. Юродивый, действительно, подарил женщине дом, который, хотя и был ее, но которого она могла лишиться, и, наверное бы, лишилась. Вот еще два факта, которые говорят о прозорливости старца. Это уже случилось со мною. Я шел куда-то с товарищем-гимназистом. Нам попался навстречу о. диакон. Товарищ издали увидел юродивого и сказал мне: «Вот и сумасшедший святоша бежит». — «Почему ты так его называешь?» — спросил я. «А что же, не святой ли, по-твоему? Ах ты, кумушка-голубушка». Я еще не успел ничего ответить товарищу, как о. диакон был уже пред нами. Он снял шляпу, поклонился низко

мне и сказал: «Поздравляю, поздравляю с царскою милостию; тебе радость и матери помощь». Я удивленно посмотрел на юродивого. «Не понимаю я вас», — сказал я. «И я не понимаю, — ответил о. диакон. — Нам, дурачкам и кумушкам, где же понять... спроси у него, умника (о. диакон ткнул пальцем на товарища), он все объяснит, а ты помолись за него, когда он в тьму сядет». С этими словами он побежал от нас, помахивая по обыкновению обеими руками. Я был озадачен словами о. диакона, хотя и не понял их. Меня удивило одно: он повторил слова товарища: «Дурачок и кумушка». Как он мог это узнать? Затем он, очевидно, в насмешку назвал товарища умником; но какая царская милость, в какую тьму идет мой товарищ? Не знаю, как подействовали слова о. диакона на товарища, но он не желал обнаружить своего смущения и повторил резко: «Воистину сумасшедший... что нагородил: «Царская милость». Но все слова о. диакона скоро объяснились. Через месяц я получил казенную стипендию, которая была, конечно, моей матушке помощью. Понял я потом и предсказание относительно товарища, но уже много лет спустя: он сначала ослеп, а затем сошел с ума. После этого случая со мною — прошло два года. Дело было пред экзаменами. Я сильно боялся математики, в которой я всегда мало успевал. Рано утром шел я в гимназию со страхом и трепетом. У Красного моста попадается мне о. диакон. «Бог в помощь, — проговорил он. — Не бойся холода, не бойся... надень штаны теплые и хорошо будет... И лихорадка пройдет». Я не понял совета, но помня прошлое, решил, что

это слово что-нибудь означает. Между тем о. диакон убежал.

Пришедши в гимназию, я передал слова о. диакона одному своему приятелю. «Знаешь, что это значит?» — сказал приятель, веривший в праведность о. диакона. — «Не знаю. А ты как думаешь?» — «Может быть, ошибаюсь, но, должно быть, тебя спросят Пифагорову теорему, что мы зовем пифагоровыми штанами». Мне показалось такое объяснение невероятным, откуда юродивый это знает, и будет ли он повторять наши шутки? Однако я просмотрел хорошенько эту теорему. И что же? Приятель оказался прав в своем объяснении. Меня спросили именно эту теорему. Я ответил хорошо и получил переводный балл. Вот еще один факт. У одной старухи был огород. Им она только и жила: сама кормилась и двух внучек содержала. Однажды она сидит в огороде и раздумывает, как все Бог уродит. И вот в огород прибегает юродивый о. диакон. «Что пригорюнилась? — говорит он. — Нечего кручиниться, надо капусту спасать». — «От кого, батюшка?» — «От врагов, от губителей». — «Да как спасать-то и что за враги?» О. диакон начал бегать по бороздам и плевать на гряды. «Батюшка, да что же ты делаешь — обиженно воскликнула старуха. — Я трудилась, трудилась, а ты нако, всю капусту мою заплевал». — «Врагов надо прогнать, вон их сколько». И он опять начал плевать на гряды. Тогда старуха осердилась и прогнала юродивого из огорода. «Вишь, что выдумал, — говорила она, — начал мою капусту оплевывать, а еще, говорят, праведник. Хорош праведник —

просто блажной какой-то». И что же? Появился червь на огородах, который все овощи поел. У старухи погибла вся капуста, исключая только тех гряд, которые оплевал о. диакон: на тех не было червя, и на них капуста уродилась на диво. Поняла теперь уже все старуха, да было поздно. «Если бы я тогда догадалась, грешная дура, так не то, чтобы гнать Божьего человека, а просила бы его, хоть на меня плюй, да сохрани капусту». Над старухой смеялись. А она после этого стала большой почитательницей о. диакона».

Л. Пантелеев в своих «Ранних воспоминаниях» пишет о петропавловском о. диаконе:

«Он не ходил в рубищах, не произносил грозных речей о грехах мира сего, не творил чудес, не исцелял больных. Его слава держалась в том, что он — прозорливец, и эту славу он сохранил до конца дней своих. Случались у матушки тяжелые недели, что не было никакого заработка; тогда хлеб да горячая вода с солью заменяли наш обед. Но вот однажды матушка приходит с рынка в заметно приподнятом настроении. Она встретила в рядах петропавловского о. диакона. «Сам ведь меня остановил, дал вот эту просвирку, да и говорит: «Трудишься, вдовица? Трудись, Бог любит труд и сторицею воздаст за него», — говорила тогда матушка. И вспоминаются эти слова матушке, когда почему-нибудь дела ее поправятся. В другой раз калачник неудачно простоял на рынке. Ничего почти он не продал и с огорчения хотел уже идти в трактир. О. диакон как раз ему дорогу переходит. «Отец диакон! Мое почтение», — спешит прогово-

рить калачник. А тот ему в ответ: «Везде благодать Божия, везде Его попечение о трудящихся и обремененных». — «Хорошо сказано», — подумал калачник и вместо трактира направился домой, и в этот же вечер наловил почти полное ведро рыбы. «Прозорливец, одно слово; непременно, как попадется, на свечку ему подам: угодный Богу человек», — говорил после этого калачник. Один торговец, человек степенный, вдруг ни с того, ни с другого затосковал, начал пить и в короткое время пропил весь товар, а потом стал нищенствовать. Словом, совсем опустился человек. Жена его, испробовав все способы помочь горю, осаждала отца диакона просьбами помолиться за ее мужа. «Молюсь, — отвечал о. диакон, — молюсь в храме Божием, молюсь на распутьи, но мера взыскания Господня еще не исполнилась». Бедная женщина еще пуще загоревала, думая, уж не ждать ли ей чего-нибудь еще худшего. Между тем муж ее вдруг исчез из города и ни слуху, ни духу о нем не было. Стали думать, не ушел ли он к староверам, в какой-нибудь дальний скит. А уж если туда ушел, так оттуда люди уж не возвращаются домой. Прошло более двух лет. Жена уж не знала, молиться ли ей о здравии или за упокой раба Божия Петра. Но вот однажды она встретила отца диакона. «Взглянул на меня, — рассказывала она, — таково ласково, да и проговорил: «Годна Богу сердца сокрушенного молитва, и в раны его влагает Он Свой перст животворящий». А потом вынул из платочка просвиру и дает мне. Заздравная часть вынута из нее за раба Божия Петра. И сделалось мне как-то легко. Значит,

жив еще мой Петр, если прозорливец за здравие его молится. Было это вскоре после Ильина дня, не выходят у меня из головы слова о. диакона, и просвиру его берегу, поставила к образам. Вот в Успеньев день встала я рано, тороплюсь до начала поздней обедни все упредить. Только что я успела пирог вынуть из печи, как в соборе ударили к обедне. Стала я одеваться; вдруг слышу, кто-то вошел в кухню... Оглянулась я, да уж и сама не знаю, как у меня ноги не подкосились, вижу — Петр крестится на икону».

Выше приведен был рассказ Гр-вой о рождении ею сына после 12-летнего замужества. О. диакон, молившийся о даровании детей благочестивой женщине, предсказал и смерть малютке. Последнего он очень любил. Являясь в дом Гр-вых, он брал его на руки, ласкал. Однажды пришел он и увидел, что у мальчика новая няня. По обыкновению, он взял малютку к себе на руки, перекрестил его и спросил у окружающих: «Где же прежняя нянька?» Ему ответили, что она ушла домой. «Недолго не дожила-то», — сказал он, как бы про себя. Чрез неделю мальчик, будучи 9 месяцев, умер. «И родным моим, — прибавляет Гр-ва, — о. диакон говорил, что мальчик не заживется, хотя вид малютки не подавал к такому заключению никаких поводов».

Купеческая жена Ко-ва передает много случаев прозорливости старца. Когда она была еще девицей, о. диакон часто посещал дом ее матери — вдовы, где всегда был встречаем с большим радушием.

«Месяца за два до выхода моего в замужество в наш дом вдруг приносят два приказчика деревянный диван, за ними следом идет о. диакон. «Мати, пусти меня, я отдохну здесь, немного и места-то мне надо», — говорит он. После того он стал ходить к нам каждый день. Придет и прутиком все меряет диван, меряет и говорит задумчиво: «Никак не приходится, как не померяю». Меня тогда засватали, но дело что-то не слаживалось. Однажды о. диакон является к нам в сопровождении двух приказчиков из мучной лавки. «Несите диван», — распорядился о. диакон. На наше же недоумение отвечал: «Не тоскуй, мати, в купеческий дом пойдешь». Скоро я вышла замуж за торговца мучными товарами».

«Во время холеры, — рассказывает та же Кова, — ранним утром подошел о. диакон к нашему дому, взял с земли камешек и зарыл его под тумбочку. В верхнем этаже дома тогда жил портной, арендатор дома, который, войдя в доверие одного из главных наследников, притеснял мою мать вдову. О. диакон встал под окном верхнего этажа и поколачивает палочкой: «Шей, голубчик, завтра некогда будет; да надо, голубчик, жить по-Божески — набежит погодка-то сверху да и стряхнет...» К вечеру неожиданно заболел один из мастеровых; портному, который принужден был хлопотать около больного, на другой день, действительно, некогда было шить. Исполнились слова петропавловского о. диакона и о погоде. Скоро умер главный наследник дома; половина дома, по завещанию, перешла в церковь, и «портного стряхнули сверху», т.е. от-

казали от занимаемой им квартиры. От арендаторов моя мать, скромная женщина, вынесла немало горя в жизни. Один арендатор попал такой, что не хотел исполнить данных им условий, — поправить дом. Полы испортились, дом пришел в упадок. Чтобы отказать недобросовестному арендатору, мать несколько раз обращалась к архитектору, просила его освидетельствовать дом. Тщетны были ее просьбы. Приходит однажды к матери о. диакон и приводит с собою большую собаку. «Смотри, мати, — обращается он к моей матери, — вот дашь кусок собаке и идет за мной, а не дашь — облает». В руке о. диакона находился кусок булки. Говорит он эти слова, а сам посматривает то на мать, то на кусок. «Надо, видно, дать архитектору-то», — сообразила вдова. Было у нее три рубля, снесла их, и архитектор приехал вслед за просительницей. В молодости мать моя была крепостная, ее выкупила на волю тетка и держала у себя в услужении. Тетка занималась приготовлением можжевельного квасу (напиток тогда распространенный) и торговала им. Молодой девушке — племяннице — тяжело жилось, трудов было много, да и обращение тетки было совсем не родственное. Видел это о. диакон. Однажды приходит и говорит тетке: «Опросил, Опросия (ее звали Евфросинией), пора худые дела бросить, пора Богу молиться. Пойдем-ка на улицу, — позвал он ее. — Посмотри, на восток-то свет, а найдет темное облачко, свет-то и загородит. Пора бросить греховные дела». Через неделю тетка умерла».

У игуменьи Успенского монастыря Смарагды (недавно скончавшейся глубокой старицей в Иерусалиме) была любимая послушница-келейница, по имени Руфина. Эту Руфину за некоторые черты ее характера в монастыре недолюбливали. В один из будничных дней о. диакон приходит в келию матушки Назареты (теперь покойной), которая в то время пекла хлеба и уже вынимала их из печи. Не успела она положить горячий хлеб на стол, о. диакон вдруг схватил его. «Отдай мне, — почти повелительно воскликнул он. — Да на что тебе хлеб-то, о. диакон?» — возразила монахиня. «Руфине на дорогу, Руфине на дорогу, — несколько раз повторил старец. — Руфине не отдам, — отрезала Назарета. — Да и зачем ей хлеб-то. Руфину матушка-игуменья любит, пирогов ей напечь прикажет, да и не отпустит ее она никогда от себя». О. диакон стоял на своем. «Сама уйдет, никто и не увидит, только Александр знать будет», — быстро говорил он. И что же? Руфина, действительно, вскоре ушла из монастыря без спроса настоятельницы. Тогда в обители порядки были строгие: без разрешения игуменьи никто из сестер не мог выходить из стен обители; если бы кто решился сделать это, непослушную задерживали бы в воротах особо приставленные для того сестры. Чтобы убежать из монастыря, Руфина прибегла к хитрости. Она упросила или подкупила монастырского кучера, которого звали Александром, увезти ее из ограды обители в большом чане, когда он утром поедет на реку за водой. Никто не знал, кроме Александра, как Руфина уехала на родину. Этот случай прозорливос-

ти петропавловского о. диакона в свое время произвел сильное впечатление на обитательниц Успенского монастыря.

В жизни упомянутой Назареты был такой случай. Однажды о. диакон пришел к ней с толстой палкой. Посидел, поговорил. Простившись, он пошел, оставив палку в углу келии. Предполагая, что о. диакон забыл ее, монахиня закричала ему вслед: «О. диакон! Палку-то оставил. — А вот тебе пригодится», — ответил он и торопливо удалился. Действительно, палка монахине скоро понадобилась; у нее заболели ноги, и она могла ходить по келии, только опираясь на палку. Ныне здравствующей монахине 3-вии петропавловской о. диакон предсказал поступление в Успенский монастырь. «Родители мои, — рассказывает монахиня, — жили в подгородной деревне, приписанной в Таврило-Архангельской, города Вологды, церкви, находящейся вблизи женского монастыря. От юности я не чувствовала влечения к мирской жизни. Когда мне было лет 20, сговорились мы, несколько девиц, сходить к киевским угодникам. Ранним утром отправились мы из деревни. Вдруг откуда ни возмись о. диакон. Подбегает ко мне и спрашивает: «Куда собрались? — В Киеве помолиться, — отвечала я. — Доброе, великое дело, — похвалил он так наше намерение. — Счастливого пути, — повторил он несколько раз. Сходили мы в Киев благополучно. Паломничество укрепило во мне желание поступить в монастырь. Мать и желала бы отпустить меня, да дома я ей нужна была. Не знала мать, на что решиться. Идет она однажды из города, видит,

у церкви Гавриила-Архангела, что очень усердно молится петропавловский о. диакон. Слыхала она много рассказов о живущем в нем даре прозрения. «Спросить бы, что делать с дочерью», — подумала мать, но оробела, не смела подойти к о. диакону и, остановившись, издали смотрела на него. Вдруг о. диакон повернулся лицом к монастырю и стал молиться на его храмы. На улице в то время лежало несколько куч с камнями, привезенными для поправки дороги. Вдруг о. диакон схватил один камешек из кучи, находящейся у крыльца Гаврилоархангельского храма, и бросил его в кучу по направлению к монастырю; потом перекрестился на икону преп. Сергия (монастырский храм), взглянул на мать и убежал. Мать уразумела, что надо отдать дочь в «монастырскую кучу», в число сестер. И я живу в обители давно и благодарю Бога за Его милость», — заключила монахиня свой рассказ.

«Петропавловского о. диакона, — передает дворянка П-ва, — очень почитал мой муж. В его жизни немало было случаев, предуказанных юродивым. Особенно замечателен такой. За два года до нашей свадьбы муж мой заболел, и доктора приготовили его едва не к смерти; да и действительно, он был настолько слаб, что не мог встать с постели. Приходит навестить его о. диакон и говорит: «Вставай, А., будет лежать-то. — Тот отвечает: — Рад бы, но слаб, не могу. — Полно, будешь ходить, дай мне вот твои сапоги». Прислуга подала старцу сапоги, и на второй же день после этого муж поднялся с постели и стал быстро поправляться. Я была знакома с о. диаконом недолго. В первый раз я увида-

ла его дня чрез три после моей свадьбы. Это было в июле 1871 года. Старец любил моего мужа и пришел нас поздравить. Поговорив с нами, он вдруг обратился к моей девятилетней племяннице со словами: «Скажи от меня поклон твоей бабушке». Но девочка даже и не знала бабушки, так как та очень давно умерла. Потом о. диакон обратился с просьбой к моей сестре, матери той девочки: «Дай мне, мати, носовой платочек». И, когда я было хотела предложить свой, он отказался. «Я хочу взять от нее», — сказал он. Тогда для нас это было непонятно. Чрез 11 месяцев после тяжелой болезни умерла девочка; тут мы поняли смысл слов: «Передай поклон бабушке» и «дай мне носовой платочек», и мать горько оплакивала свою дочь. Помню еще. Мы жили против Духова монастыря. Однажды приходит к нам о. диакон, что-то шепчет; слышно, что молитву, но какую — не разберешь; и все изображает кресты на стене напротив монастыря. Мы не понимали, что это значит. Но, как только он от нас вышел, сейчас же в монастыре загорелась баня, стоявшая как раз напротив, где он оградил крестом. Нас Господь сохранил.

Дворянка Ис-ва рассказывает:

«В 1862 году в Вологде свирепствовала тифозная горячка, которой были поражены нередко целые семьи, причем большинство больных умирало. В одном семействе девушка 16-17 лет лежала на одре болезни без всякой надежды на выздоровление; лекарства не только не помогали, а как будто ухудшали болезненное состояние больной и приближали ее к роковой развязке — смерти. Петро-

павловский о. диакон прибегает (он ходил всегда быстро, как бы в припляску) в дом, где жила больная, схватывает находившийся на столе стакан с лекарством и бросает его в окошко, затем обратился он к больной с такими словами: «Вот теперь ты воскресла, хорошо, что не выпила этого лекарства, а то бы умерла», — а потом быстро убегает в другой дом; к родной сестре больной, стучит снаружи в окно и говорит: «Ну, ваша сестра воскресла и сидит в креслах». Больная чрез неделю стала поправляться и скоро совершенно выздоровела.

Отец упомянутой больной, дворянин, живший в Тотьме и занимавший должность дворянского заседателя при уездном съезде, получив пенсией, переехал со своей семьей в Вологду для постоянного жительства. В 1866 году, в августе месяце, старец чувствовал себя совершенно здоровым, ни на что не жаловался. Но, к удивлению его и его семейных, о. диакон два дня ходил около дома, где жили они, вырывал в полисаднике репейник и все кадил и кланялся на дом, а потом убегал, несмотря на усиленные приглашения зайти в дом. Что же? Через 12 дней со стариком случился припадок, имевший смертельный исход».

Нередко петропавловский о. диакон предвещал печаль и несчастья. Недаром иные и избегали его, опасаясь выслушать что-нибудь неприятное для себя. О. диакон любил бывать в женском монастыре.

— Помнится, — сообщила нам монахиня А-на, — это было в день посвящения в сан игумений покойной Арсении, к матушке Ал-не, ризничей, у которой тогда я жила, приходит о. диакон. У матушки

сильно болела голова, и она стала жаловаться на это своему гостю. О. диакон открыл и показал хозяйке нижнюю часть ноги: она была вся в струпьях. «О. диакон! Ногу-то надо спуском (спуск — это деревянное масло, в которое спускается воск с горящей свечи) помазать, — встревожилась матушка. — Тогда болезнь-то и пройдет. — Нет, в могилу скорее спустят, — а вот землицей с могилы Николая Матвеевича Рынина (юродивого, известного в Вологде) надо полечить», — сказал о. диакон. Вскоре у м. Ал-ны сильно заболели ноги. Спуск не помогал. Были мы с ней, — говорит бывшая ее келейница, — на могиле Николая Матвеевича, пели здесь панихиду, брали песочку, больная лечила им ноги и чувствовала облегчение. Но нажила она не долго; от этой болезни ее и в могилу спустили».

«Давненько это было, — передает благочестивая женщина Б-кая.

— Сидел о. диакон у Ба-на, торговца; с ним вместе в гостях был теперь уже покойный священник о. К-ков. Гости кушали пирог. О. диакон быстро поворачивается к о. Андрею и говорит: «Будет, батюшка, пироги-то есть, пора бы блины». В скором времени у о. Андрея умерла жена.

Некий Пр-шев выстроил новый дом и пригласил на новоселье о. диакона, которого он очень почитал за высокую жизнь. О. диакон хвалил постройку. «Хороший дом, хороший: кто-то жить-то будет», — загадочно прибавил он. Пр-шев помер, а за ним и семейство его скоро перевелось.

Матери нотариуса П-ва о. диакон за неделю предвозвестил ее кончину. Пришел он навестить

больную. «Скоро, мати, увидишь Царицу Небесную», — сказал он, простился и вышел, не затворив двери в комнату. Печальных случаев он предсказал множество.

Раз попадает он навстречу девице, дочери почтового чиновника Г-ва, и подает ей большую обгорелую корку со словами: «На, возьми, может, и пригодится». Действительно, она по выходе замуж всю жизнь провела в нужде.

Если поставит о. диакон крестик из лучинок около какого-нибудь дома или начертит крест углем на дверях, то умирал кто-нибудь в этом доме. Если же бросит палочки, комочки снега во двор, то скарлатина похищала детей. Идет он однажды мимо церкви Всемилоственного Спаса и, закрыв одной рукой лицо, громко повторяет: «Ой, жарко, ой, жарко». В той стороне, откуда закрывался о. диакон, ночью сгорела кузница.

Рассказывают, что однажды он обрил себе бороду и голову. Не знали, к чему это. Оказалось, — преднаступлением Крымской войны. Во время холерной эпидемии он осенью, несмотря на холодную воду, бросился в реку и выкупался. Болезнь стала ослабевать.

Интересный случай был в доме почтового чиновника Г-ва. У него на квартире в комнатке жил почтальон. Однажды петропавловский о. диакон пришел к Г-вым. Его пригласили пить чай. «Нет, нет», — отказывался о. диакон и направился к той комнатке, где жил квартирант. Дома его в то время не было. «Это что за комната? Кто в ней живет?» — спросил юродивый. Ему сказали. Входит он комна-

ту и молится: «Царство ему небесное, хороший был человек», — говорит он. Скоро хозяева узнали, что квартирант их в дороге в Архангельск умер.

Не раз юродивый предупреждал несчастья, хотя, непонятый, иногда и не достигал своей цели. В летние дни окна в квартире П-го на ночь не закрывались. В одно утро хозяин, к удивлению своему, заметил, что на окне лежат камни. Он сбросил их. На другое утро нашел то же. «Надо последить», — подумал Ц-кий. На следующую ночь он долго не спал. И вдруг видит: подходит к окну петропавловский о. диакон и кладет на окно камешки. «Отец диакон! Что это ты делаешь? — спросил Ц-кий. — Крепче держать надо, крепче». Но хозяин не обратил внимания на слова юродивого. На следующую ночь из квартиры Ц-го много имущества было унесено ворами, вошедшими в комнату чрез раскрытые окна.

У одной подгородной женщины из слободского прихода захворал ребенок. Печальная она идет по городу. «Не плачь о маленьком, плачь о большом», — слышит она сзади себя голос. Это говорил петропавловский о. диакон. Ребенок остался жив, а пришла весть, что муж женщины, находившийся на заработках, умер.

Предвещал о. диакон и радостные события. Однажды он сидел у почитающей его вдовы Б-ой, жившей у церкви Ильи Пророка. У нее в то время назначенный во священника сын уехал сватать себе невесту. Хозяйка угощает юродивого пирогом, тот, отрезав края пирога, складывает их на середину, но не ест. «Дело слажено», — говорит он. В то

время жених с невестой молились Богу. А епископу К-ну Са-му о. диакон предсказал архиерейство, когда тот учился в пятом классе В-ой гимназии. Идет он из гимназии чрез плац-парад, попадает на петропавловский о. диакон, сложив руки для принятия благословения, говорит: «Благослови, пресвященный владыко. — Я — гимназист», — возражает изумленный. — Все равно, будешь архиереем», — ответил старец.

Отцу архимандриту Заоникиевской пустыни Серафиму старец предсказал о пожертвовании в обитель иконы со святой горы Афон и радостной встрече ее: «Ты-то встретишь Царицу Небесную, — говорит он отцу Серафиму и запел с умилением: «Достойно есть». — А мне не видать», — с печалью заключил он. Действительно, вскоре после смерти о. диакона в Заоникиевскую пустынь пожертвована была икона Божией Матери, писанная на Афоне и торжественно принесенная в обитель.

«Когда я кончила Ярославское духовное училище, — передавала нам жена священника П-ва, — о. диакон подарил мне пояс с изображением семи архангелов. Муж мой служил священником у церкви собора Архангела Михаила».

«Однажды мне сильно хотелось сходить на концерт, дававшийся в Дворянском собрании, — рассказывает Л-ва, которой поручителем считался петропавловский о. диакон. — Жила я, вдова, у бабушки, своих денег у меня не было, просить не могла. По каким-то делам в тот день ходила я в город. «Как-ково, мати, живешь? — спросил попавшийся мне о. диакон. — Хорошо, — ответила я. — Вот на концерт

хочется сходить, да денег нет. — От отца диакона я не привыкла ничего скрывать. — На, возьми, да не распаковывай до дому», — наказывает он, передавая мне в руки маленький сверток. Я думала, что это деньги, и стала отказываться, но о. диакон настаивал, чтоб я взяла подарок. Разбирало любопытство, что находится в свертке, но все-таки я удержалась, распечатала его во дворе. Оказалось много сложенных цветных бумажек от грошовых конфет, а внутри узенькая бумажка-билетик со словами: «Вас для любви природа создала». О концерте было забыто. Что за смысл поступка о. диакона, рассказчица не может объяснить себе. Мы думаем, что прозорливый о. диакон указал ей на будущее: не развлечения и удовольствия, не материальное достоинство ожидало ее в жизни, но заботы о многочисленных детях в приюте, в воспитание, уход за которыми она вложила свое сердце, заменив каждому из них родную, добрую мать».

Крестьянин одной подгородней деревни не любил подавать милостыню бедным и сильно бранил своего брата, жившего вместе с ним, за его помощь просившим подаяния. Однажды он сильно поругал брата за то, что добрый брат дал бедняку пятак. Случилось вскоре после того скупому брату быть в Вологде с продажей муки. К нему подходит о. диакон и говорит: «Ты ведь только братними пятачками живешь». Крестьянин остолбенел. О. диакон никак не мог знать о ссоре с братом из-за пятачка.

О. диакон, почувствовав приближение кончины, многим открывал о том. Одному нищему отдал

свои сапоги. «На, возьми, мне их более не надо», — сказал он. У небогатого горожанина просил купить ему дом. — «Денег у меня таких нет», — извинялся тот в невозможности при всем своем желании удовлетворить просьбу уважаемого о. диакона. «Маленький мне и дом-то надо», — таинственно замечал юродивый. За несколько дней до смерти петропавловский о. диакон приходит к настоятельнице Успенского монастыря Арсении и просит игуменью пустить его в обитель пожить. Удивилась матушка. «Какой ты, право, о. диакон: знаешь ведь, что по иноческим уставам мужчине в женском монастыре нельзя жить. — Ты, мати, не смущайся; я буду спокоен. Да и места мне немного надо: встать да лечь». После визита к игуменье он отправился к алтарю теплого храма и у могил упал на землю, пролежав тут несколько минут. На том месте его потом и похоронили.

Умер о. диакон 24 октября 1876 года. Весть о смерти раба Божия быстро разнеслась по городу. Немало горячих и чистых слезинок скатилось с ресниц добрых людей. К маленькому домику потянулся народ. Погребение о. диакона совершалось весьма торжественно, целым собором духовенства во главе с преосвященным Феодосием. Гроб сопровождали массы народа, которые увеличивались на продолжительном пути от Петропавловской церкви до женского монастыря. Тело о. диакона, по свидетельству очевидцев, было как восковое; лицо как у мирно спящего. На месте погребения юродивого поставлен скромный крест.

Пред ним горит неугасимая лампада, устроенная усердием его почитателей.

И преклоняются знающие и слышащие о петропавловском о. диаконе перед могилою этого истинного учителя жизни, искавшего не прав, а правды Божией, которая как бы сквозила чрез телесный покров его, проникая, как светлый луч, в души людей, зажигая в них искры добра. Некоторые вологжане, закинутые далеко от родины, бывая по временам здесь, служат на могиле юродивого панихиды, вспоминая о нем с самым теплым чувством. Приходят к могиле о. диакона помолиться из глухих мест такие, которые не знали погребенного здесь старца, но слышали о нем дивные повествования...

(«Воскресный день», 1906 г.,
№ 32-33, 37-38, 40-43).

МНОГОЛЕТНИЙ СТРАДАЛЕЦ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ БЕЗРУКОВ

Господь наш Иисус Христос, как Кормчий небесный, незримо правит, как ладью, жизнь каждого человека к тихой пристани небес. Дивны и неизреченны многообразные пути Его промышления о каждом человеке! Каждого Он зовет в Свои небесные обители и так направляет жизнь человека, что он вольно и невольно, так или иначе, содействует и окружающим его ближним в деле спасения. В одних случаях каждый из нас, причиняя скорби ближнему, содействует укреплению в ближнем всего доброго — хорошего невольно в других — сознательно делая доброе. Некоторым же людям

Господь дает великую милость: всего такого человека Он, за скорби жизни, сугубо награждая небесною радостью, употребляет как орудие Своей воли, для спасения людей. И — благо тому человеку, который поймет это великое призвание и сознательно и добровольно приклонится к руке Господней и пойдет по назначенному ему пути, неся ближним своим свет и радость о Христе!.. В великом сонме избранников благодати в новые века русской жизни есть несколько таких лиц, кои, по воле Христа Спасителя, шли необыкновенным путем. Это были многолетние страдальцы, в тяжелом мучительном недуге проявлявшие дивное терпение и тем учившие других смиренному несению своего креста. Таким-то избранником Божиим был и Михаил Иванович Безруков, о котором мы и скажем далее то, что стало известным о его жизни от неложных очевидцев этого подвижничества, великого в своем терпении и смирении.

В половине прошлого столетия, в Уфимской губернии, в селе Макарове, среди крепостных Осоргиных, жили крестьяне Иван и Екатерина Безруковы. Это были неграмотные поселяне, но люди благочестивые, скромные, трудолюбивые. Они проводили время в трудах по барщине и безропотно несли неправды управителей. Смиранные, они были приветливы и радушно принимали каждого бедняка. В семье у них было два сына и три дочери. По времени дети выросли и были устроены. Старший сын женился, и было ему отцом устроено отдельное хозяйство: он зажил своим домом. Постепенно были выданы и все три дочери за хороших

людей. Господа любили Ивана, который часто прислуживал, чем мог, и в барском доме. Только младшего сына не привел Господь устроить Ивану. Он скончался мирно, когда младшему сыну шел 14 год.

Младший в семье Михаил родился в ноябре 1846 г. Очевидно было с малых лет в этом мальчике что-то особенное. Как отец его Иван Васильевич и мать Екатерина Семеновна, так и все соседи любили Михаила: он невольно располагал к себе всех своим приветственным тихим нравом и готовностью каждому услужить скромно, честно, бескорыстно. Оставшись молодым, по смерти отца, Михаил все свои силы приложил к тому, чтобы не уронить отцовское хозяйство, и с раннего утра до поздней ночи трудился по хозяйству, в праздники ходя в храм Божий, хотя и не всегда: так увлекала его забота и работа. Он был крепкого сложения, красивый собою. Когда ему исполнилось 18 лет, мать и сродники задумали его женить и выбрали ему хорошую невесту, по имени Евдокию, девушку из того же села.

Охотно шла замуж за Михаила Евдокия, девушка статная, красивая, богобоязненная, целомудренная.

Всем сердцем и всею юною душой она полюбила своего жениха и в твердой преданности в Божией волей стала с ним под венец. Радовалась мать, видя счастье детей. Незаметно промчались три отрадных года счастливой жизни: ведь в счастье время летит незаметно. Усердно работал молодой хозяин со своею любящею женою. И в праздники работал он, забывая порою и про храм и молитву. Но не-

прочно наше счастье земное: не здесь, в юдоли печальной, не на скорбной земле, где так много неправды и слезы так льются обильно порою, а на небесах истинное счастье человека. И скоро там, где было счастье и мир и покой жизни честной, трудовой, грянуло крепкое горе. Низко-низко пригнуло оно к земле молодых супругов. Один за другим рождались у них и скоро умирали трое деток, а это были лишь первые вестники великого горя, которое налегло на них до конца жизни. Однажды, на Николин день 1867 г., Михаил в праздник поехал на пашню и повез воз сена домой. Воз несколько раз пружился, а Михаил все поднимал и поднимал его и до крайности изнемог. А когда приехал домой, сгоряча выпил целый ковш воды и вскоре же почувствовал себя неладно. Стал болеть и болеть: Великим постом он совсем уже оставил работу и слег. Около года прошло, никакие свои домашние средства не помогали. К концу первого года болезни постепенно, с страшною ломотой стало сводить у него руки и ноги. Возили его в Уфу к докторам, но помощи не было. Когда там Михаил был в приемном покое, ему повиделось, что вышел красивый молодой человек с крестообразно по плечам препоясанным голубым поясом, как бы ангел, который осмотрел его и сказал: «Поезжай, молодец, домой, нет для тебя здесь лекарства. Терпи!» Когда Михаил потом стал говорить бывшим тут служащим больницы про этого человека, все удивились, не зная такого, поискали и никого не нашли... Отвезли назад Михаила, и начались годы долгих страданий. По всему телу у него

пошли нарывы, они назревали, лопались и тяжелое зловоние распространялось около больного. Мимо дома его нельзя было проходить: так сильно было зловоние. Подошвы ног его превратились в сплошной струп, гноящийся и смердящий. Руки пригнулись, торчал лишь вверх один указательный палец левой руки. Ноги свело; зубы стиснуло, и без помощи других не мог страдалец и капли воды принять...

От долгого лежания образовались пролежни; в них закишели червяки... Но тут-то и обнаружилась сила Божия в немоги человеческой!..

Тяжелый крест выпал на долю бедной Евдокии. Но не упала она под бременем креста, не хулила безумно Бога. Тяжело и безотрадно было положение больного. Пробовали еще свозить его в Белебей. Там у местных врачей помощи не нашли. Была там одна женщина — знахарка, лечившая травмами, но и она ничего не могла сделать. Жалея несчастного, она под видом лекарства дала ему яд, но тот не подействовал. Положение было ужасное. «Здоровье и силы его таяли, как свеча горящая. Стал и мозг из костей сочиться — бежать, как белок». Михаил мог лежать только на голых досках. Ни лица вымыть, ни рук невозможно было из-за ран. Далеко на улицу неслись стоны страдальца, но никто не шел к нему: все обегали, точно зачумленного. Не оставили его только родная мать да красавица — молодая жена. Со слезами ходила за ним мать и часто, глядя на него и плача, говаривала тогда: «То не мой Мишенька лежит, то мое сердечушко болит...» Смиренная Евдокия, вся отдавшись по-

корно святому подвигу, ухаживала за страдальцем, и трудно представить, что перенесла эта подвижница в свою горе-горькую жизнь тяжелую. Мать отправилась в Бирск к старцу Косьме Ивановичу и у него просила помощи. Благодетельный старичок утешил скорбящую, а больному дал такое наставление: «Раб Божий! Умоляю я тебя: будь братом — послушайся; послушайся моего совета. Предай себя воле Божией. Потерпи три месяца, а я помолюсь Истинному Врачу душ и телес наших, Господу Иисусу Христу и Пречистой Его Матери. Милость Божия не оставит тебя. Будь раб своего Владыки — ходи в заповедях Его, и избавишься от болезни телесной и душевной. Помни слова Господа: Иго Мое благо и бремя Мое легко есть». Этот завет, каракульками старческими написанный на клочке грязной бумаги, был живительным бальзамом для изболевшей души. Раз прочитали родные эти дорогие слова. Почти ничего не понял Михаил. Прочитали второй, третий раз... Точно луч солнца пронзил тучу отчаянной печали. Слезы жены и матери ударили по сердцу Михаила. Он заплакал, и дивное изменение, по молитвам старца Космы Ивановича, произошло в нем. Гордая воля озлобленного человека пала и смирилась душа пред Христом... Понял Божье призвание — нести смиренно крест недуга своего страдалец, и уже никто не слышал от него слова ропота. С той поры муж-страдалец стал опорой — утешением. Ни слова ропота никто не слышал от него более: всех он уговаривал смиряться пред Господом. А положение его жены было тяжелое. Уходила молодость. Горе

и труд давно смыли земную красоту ее, надорвались силы в непомерных трудах. Она, бедная, своими трудами кормила не только мужа, но еще старушку-свекровь. Сколько ни билась одинокая работница, хозяйство стало приходить в расстройство: редко можно было ей отходить от больного на работу. Постепенно пришлось распродать хозяйство. Пришло горькое время, когда и последнюю коровку увели со двора. Когда Михаил смирился под крепкую руку Божью, нестерпимые боли ослабли. Но здоровье не возвращалось. Когда Косму Ивановича спрашивали, почему это такая болезнь постигла Михаила, тот отвечал: «Бог его от грехов спасает». Видно, не было бы на пользу ему здоровье. А через болезнь не только он и жена и мать его стяжали светлые венцы за терпение и очистились духом, и многие-многие получили спасительные уроки и наставления и научились терпеть скорби. Не вдруг внутренне смирилась и жена и привыкла к терпению безропотному. К тому же враг рода человеческого возмущал ее душу. Михаил был совсем беспомощен. Не мог от клопов и от мухи отбиться он — этот некогда мужичок-силач. И когда ночью мухи обижали его, он не мог их согнать. Слабо застонет лишь, и чуткая на сон бедная Евдокия Никифоровна встает и освобождает его от мучителей. Порой прорывалось и в ней горькое и невольное чувство ропота: поворчит, бывало. Но Михаил как запоет тихо: «Заступница усердная», смолкнет и Евдокия, и оба поплачут в тишине ночной. Измученная мать его со слезами просила Господа развязать его руки хотя

настолько, чтобы мог мух сгонять. И Господь услышал этот вопль изболевшегося сердца: руки у Михаила немного стали шевелиться. Тяжело было бедному в рабочую пору. Евдокии приходилось снискивать кусок хлеба, и она иногда нанималась жать, покосить, кое-что иное поделать и заработать копейку на несчастного мужа. Тогда она уходила из дома и замыкала двери. К пальцу страдальца привязывала она платок, и так он отгонял мух, которые, как известно, особенно льнут к гною и ранам. Ни пить, ни двинуться не мог тогда он и тихо переносил тяжелую муку. Однажды на работе тревожно было на сердце у Евдокии. Не стерпела и побежала проведать мужа. Приходит и застаёт его еле живым. Платок, толстый, упал ему на лицо, и Михаил — еще минута-две — совсем задохнулся бы. Горько поплакали оба, утешились молитвою и преданностью на волю Божию. Не приходилось и на минуту одного оставлять бедняка. А благодетелей не было, и бедность, страшная бедность угнетала и так измученных страдальцев. Смирились оба они под крепкую Божью руку. После этого случая Евдокия, когда шла на работу, тащила на тележке и мужа с собою. Не раз, по окончании работы, Михаил говаривал: «Оставь меня на ночь-то на поле: кому я нужен». «Нет, — отвечала она, — тебя звери съесть могут; Богу ответ дать придется». И, истомленная, тащила обратно дорогую ношу. Единственное утешение было для обоих несчастных — помолиться в Божьем храме. Но и это давалось не без труда. Михаил особенно нуждался в молитве в храме, потому что оба они с женой были люди безгра-

мотные. А его к тому же мучили своими искушениями бесы. Тяжелую брань вынес с ними страдалец. Молитва Иисусова и Божией Матери были надежными ему средствами в этой борьбе, из которой он силою Христовою вышел победителем. Матерь Божия укрепляла их.

Однажды он удостоился слышать от Ее иконы глас: «Терпи!». Сельцо Осоргиных, где сначала жил Михаил, было в версте от храма Макаровского, и Михаилу редко было возможно бывать в храме. По времени они перебрались в другое село, Ерлыково, куда переселились многие однодеревенцы, за сорок верст от прежнего. Здесь они жили в доме одного крестьянина. Подле был близко Божий храм, и Михаил и Евдокия отдыхали душою под святою его сенью. Священник там был — пастырь добрый. Он часто навещал их и подолгу беседовал, утешая и наставляя их на крестном пути жизни. Но не стерпел враг рода человеческого и этого. Крестьянину не захотелось отдавать дом, и он выгнал Михаила и Евдокию. Те перебрались в деревню Самодуровку, где кое-как купили бедную лачугу, без крыльца и с многими щелями. Здесь в голоде, холоде, в снегу — по зимам, жили они долго. Изба топилась по черному: можно себе представить, как легко было лежать Михаилу. Тут их постигло новое горе. Старушка-мать скончалась. Остались супруги вдвоем. Через год с небольшим они снова водворились в Осоргином, где при помощи благодетелей купили избушку, которую за лето и поустроили. Последнее время своей жизни они

провели в селе Воздвиженском, до конца жизни смиренно неся оба свой тяжелый крест.

Но когда дух страдальца очистился, Господь явил его избранником Своей милости страждущим людям. Этот полумертвец был источником жизни и счастья для здоровых телом, но больных душою людей. Он светил и сиял светом подвига своего в течение многих лет, и многие люди чрез него утвердились на пути добродетелей и научились смиренно нести крест, и в преданности Божьей воле находить себе истинное счастье на земле. Михаил очень любил храм Божий и, когда только можно было, Евдокия возила его в храм — сначала на тележке, а потом на подаренной добрыми людьми коляске. В 1897 г. один Уфимский благодетель пожертвовал Михаилу 200 р. на постройку келии вместо убогой лачужки. Михаил же эти деньги отдал на ремонт храма. Когда купец узнал про это, умилился и выстроил Михаилу новую келию сам. В 1898 г. была закончена постройкою новая келия Михаила из двух комнаток, куда перебрались они и стали жить по-прежнему в молитве и терпении... Но время острой нужды миновало. И Евдокии, этой беззаветной жене — сестре милосердия — настал час другого труда, не менее тяжелого, чем прежний. Долго они жили в бедноте и близкие и сродники присмотрелись к ним и — не помогали им, как будто это так и следовало. Но вот приехало на новые места одно семейство. Увидали страждущую чету и решили с первого посева частичку земли засеять для них. Посеяли, и эта полоска дала обильный урожай. Примеру их стали следовать

и другие. Пришло время воли Божией, и слепые глаза ближних открылись на то, что первыми увидели пришельцы издалека. Когда не стало нужды, не стало отбою и от посетителей. Народ повалил к страдальцу... Он лежал в комнате на доске. Боли поутихли, и он уже мог совершать свое великое служение народу. Покрытый чистою простынею, лежал он лицом против образа Божией Матери Казанской особенно умирительно, и его молитвенное состояние было постоянным. В молитве теплилась его душа, и светом этого молитвенного тепла он согревал души тех, кто, гонимый горем, шел разделить его со страдальцем. К нему влекло народ потому, что каждому он давал такой совет и наставление, такое утешение, какое мог дать только человек, глубоко пострадавший всю жизнь и пребывавший всецело в Христе. Шли к нему и простецы, шли и образованные, миряне и духовные. О. Иоанн Кронштадтский, когда к нему прибывали жители этой местности, не раз говаривал: «Зачем едете, когда у вас есть человек, богоугодный Михаил Иванович?! К нему обращайтесь!» С плачущими Михаил Иванович плакал, с горюющими горевал. Утешал печальных, указывал исходы в затруднительных обстоятельствах жизни, вразумлял заблуждающихся. Давая советы и наставления, Михаил Иванович прежде и главное всего советовал очищать себя покаянием пред священником и молиться усердно Богу. В радости предостерегал от гордости и самонадеянности, а в горе — от отчаяния. Он лжи и осуждения не терпел, как не одобрял и дерзкого заглядывания в будущее. Рассказы-

вали такие случаи. Один странник, придя к Михаилу Ивановичу, и видя у него несколько девушек за чаем, осудил, говоря: «Что сказать? Бог в помощь? — нельзя: не дело делают!..» Михаил Иванович подозвал его к себе и говорит, улыбаясь: «А я встретил человека, идет по дороге, в одной руке стакан с водкою, а в другой папироска. Что было ему сказать? Бог в помощь — нельзя!..» Странник, пораженный этими словами, сознался, что это он и был, шедший с вином и табаком... «Ну, так пей чай и не осуждай», — сказал страдалец. В другой раз два купца стали просить его совета и о том, что будет с ними. Михаил советовал отдаться на волю Господню и терпеть то, что их постигнет и не любопытствовать о будущем. Прошло немного времени — и все сбылось, как он им говорил. Пораженные этим, купцы раскаялись в своем поведении и подарили ему коляску. Но не сразу и не сам самовольно вступил Михаил Иванович на такой подвиг — молиться за людей и давать советы. К нему прибыла одна купчиха и просила его помолиться о ней. Михаил стал было отрекаться, но когда она сказала ему, что так ей велел сделать о. Иоанн, он с трепетом помолился, и Господь по его молитве послал той просимое исцеление. Сила нравственного просветления его была так велика, что не только он видел тайное, например когда утаивали что-либо от него, но и самые бесы трепетали его молитвы. Одну молодую женщину издалека привели к Михаилу и с трудом подволокли к нему. Она визжала свиньею, лаяла собакою, руками рвала землю, корчилась, кричала: «Не выйдем, нас семе-

ро, шесть лет живем...» Когда же Михаил помолился, направил на исповедь и к св. Причастию, больная навсегда освободилась от мучителей-демонов. Сила молитвы его была так велика, что даже целые местности избавлялись от невзгод. Однажды в селе на полях появился червь, собрались на молебен, привезли Михаила, попросили его помолиться, и — через три дня черви исчезли совсем. В другой раз засуха грозила голодом. Обратились за советом к Михаилу. Он сказал, чтобы отслужили на поле молебен, собрав для причта по копейке с каждой души, кроме вдов. Помолились, привезя и его, и полил сильный дождь. А в тот раз, когда появились черви, то их так было много, что стали ползти и в дома. Когда же помолились, дождь, ветер и птицы их уничтожили, и это так скоро началось после молебна, что милость Божия была явна каждому. Два мужичка жаловались на то, что не могут отстать от вина. Пригласил их Михаил помолиться. Отслужили в храме молебен, и страсть к вину отошла от них. Молитва его помогла одной бедной вдове при потере лошади, которая тотчас и нашлась. Знакомому крестьянину, ехавшему в соседнюю деревню, он велел взять с собой кусок пирога, и что же?! Ночью в метель тот заблудился, едва к утру выехал на татарскую деревушку, и там этот кусок очень пригодился. Советуя трудиться и молиться, Михаил Иванович от непосильных подвигов удерживал людей особенно твердо. Один собрался в монастырь и пришел к нему за советом. Михаил дал такой совет: «Сходи и поживи, да посмотри: ведь там в гущу кладут. Вытерпишь ли?»

По времени человек тот приходит и жалуется на монастырские непорядки, что там курят и т. п. «Кто там курит? Настоятель, что ли?..» Нет, отвечает тот. — А если нет, то нечего и смущаться: кто так поступает, тот и не монах! А ты живи и слушай только настоятеля, и будет тебе хорошо». Раз женщина задумала отдать в монастырь молодую дочь, не справляясь с ее желанием. «Что ты, — сказал ей Михаил, — ведь и скотинку сразу не запирают в неволю: других избодает и сама убьется!..» Особенно старался он водворить мир в семьях. Приходит к нему раз женщина и плачет на свекровь, что жить не дает. «Не она не дает, а ты сама портишь житье. Чуть что, и бежишь к людям и грешишь языком! А ты смолчи, и скоро все будет хорошо». Молодица с любовью послушалась совета, стала сдерживаться, и в семье скоро водворился радостный мир и совет. Бедняки и сироты находили у них родной кров. Когда настала пора служению люду православному для Михаила, Евдокия сердцем поняла свой новый долг. И служила, что родная, она посетителям мужа. Когда она освободилась от нужды работать, на склоне лет стала учиться грамоте от девушки-сиротки, ими призренной. Научилась скоро читать псалтирь и акафисты и стала постоянно читать их мужу. Плакал слезами умиления Михаил, слушая чтение жены и любовно поправлял неопытную сначала чтницу. Когда та, бывало, ошибется, он и скажет: «Дуня, что-то точно неясно! Ну-ка, прочти еще».

Та и поправится; а порою и сам подскажет: на память он все запомнил за долгие годы лежа-

ния. Девушка-сиротка эта по времени поступила в Уфимский монастырь. Там заболела казначея Зосима, впоследствии игуменья. Поля, так звали девушку, прибыла поведать горе свое, казначея была ее покровительница, боялась она, что та умрет, и просила молитв о болящей. «Нет, она игуменьей будет, — сказал Михаил, — а вот ты этого не дождешься». Другим же говорил: «Наша Поля скоро к Богу пойдет». Та скоро и умерла. Многие из тех девушек и женщин, что ходили к Михаилу и Евдокии, молились с ними, ходили по его совету читать псалтирь, поступили в монастырь, и многие умерли еще до смерти Михаила. Он был советником и при семейных разделах, при начале работ полевых, при браках. Он же был наставником и на добрую подвижническую жизнь иноческую. Когда его ученицы-монахини прибывали к нему и жаловались на трудность монастырской жизни, он утешал и часто говаривал: «Царствие Божие нудится и нуждницы восхищают е...»

Так совершили свое течение Михаил и его верная спутница на тернистом пути жизни к блаженной вечности, Евдокия. Велик подвиг его. В таком новом краю, где столько языческой тьмы, где «Магометово болото», где люди русские еще только оседают на новых местах, подвиг Михаила велик. Это был светоч православия, опора русскому мужичку. Велик подвиг и Евдокии. Она своею супружескою верностью высоко-высоко подняла в глазах народа имя женщины христианки, что весьма важно. Ведь и русским людям легко здесь нравственно опуститься и усвоить практически на жен-

щину взгляд татарский. Но образ праведной женщины этой станет навсегда преградой к разлитию нравственной грязи из мутного Магометова болота!..

В 1903 году Михаил простился и стал таять как свеча. Своевременно он был исповедан и приобщен Св. Христовых Тайн. Накануне кончины, видя, как его Дуня не пьет и не ест, скорбит о разлуке, он велел поставить самовар и почти насильно убедил ее попить чайку и подкрепиться. В ночь на 27 января он все спрашивал: «Скоро ли шесть часов?» Жена же спрашивала, почему это надо ему знать. Тот отвечал: «Я жду милости тогда и благодати Божьей». Со всеми он простился, и тихо, мирно исстрадавшаяся и очищенная душа его легко оставила свою брентную оболочку.

30 января 1904 года благоговейно предали погребению кости страдальца. Кончились его страдальческая жизнь земная и служение видимое, но не кончилось его служение родной земле — духовное. Имя его дорого навеки станет каждому, и на его могилку идут, как к родному, и там находят и найдут всегда новые силы в молитве, на труды жизни своей каждый. А духом он у престола Божия молится за почитающих память его и за край, где он так долго страдал.

Незатейливыми каракульками преданные души изобразили правдивую скорбную повесть жизни его. Эти каракульки мы прочли... и предлагаем благосклонному вниманию наших добрых читателей... да будет память праведного сего и его спут-

ницы жизни с похвалами Господу, дивному в избранных Своих.

(«Душепал. Собесед.», 1908 г.)

МАТРОНА НАУМОВНА (г. ЗАДОНСК)

Жизнь Матроны Наумовны Поповой показывает, что может сделать сила любви.

Несчастливая девушка, которую нещадно билась тяжкая доля, она не была побеждена этими испытаниями, а сама одолела их. Сочувствие к людям настолько одушевляло ее отзывчивую самоотверженную природу, что за страданиями других она забывала совсем о недочетах своего быта. И, веруя в Бога, она взялась за то дело странноприимства, к которому лежало ее сердце, и не только при жизни привела свою цель в исполнение, но и утвердила его так, что это дело не умерло с нею.

Правдив и отраден образ этой крестьянки.

Матрона Наумовна родилась в 1769 г. в семье заштатного дьячка, служившего при храме св. Козьмы и Дамиана, — в слободе Ламской, города Ельца. Ее отец с трудом кормил жену и четырех детей. Со смертью же его семья дошла до крайней нищеты.

Часто они сидели без пищи, отчаянное положение заставило мать отдать одного сына в приемыши к мужику. Другой сын был от рождения неподвижно больной. Непосильное горе и нужда надорвали силы больной. Она занемогла грудью и тихо угасла.

Старшая дочь ее была в то время замужем за елецким мещанином, а Матроне было семь лет,

и на руках ее был больной двенадцатилетний брат. Надо было кормить его, и сестренка стала содержать брата, выпрашивая подаяние именем Христовым и работая. Когда, например, она видела, что крестьянки моют на реке белье, она бежала помогать им. Некоторые приглашали ее за то к себе в дом, кормили и давали еще про запас хлеба. Этим хлебом она и кормила брата.

Так провела сиротка три года, по истечении которых брат ее умер.

Схоронив брата, она продолжала все так же трудиться. Когда матерям не на кого было оставить малых детей — звали Матрону, и она сидела днем или ночью над колыбелью.

Сосед по избе, бездетный крестьянин, сжалился над положением девочки и взял ее к себе в дом вместо дочери. Но вскоре у него родились дети, и Матроне было запрещено называть его и его жену отцом и матерью, и она осталась только работницею в немалом хозяйстве. Все было на ней — присмотр за детьми, ходить за скотом и птицами, топить печь, стирать белье. Всюду она поспевала одна. А летом приходили полевые работы.

Но когда выдавалось и свободное время, она не сидела без дела. Она садилась прясть для себя волну или ткала холст.

Детские игры ей были недоступны и потому, что времени на них не было, и выйти было не в чем: лапти, да старое платье даже и по праздникам. «Все, бывало, в трудах. И за хлопотами так на маешься, что сидя и уснешь».

В такой тесноте, в таких безотрадных обстоятельствах выросла Матрона.

Подрастая, часто задумывалась она о будущем. Ей становилось жутко, и она молилась перед иконою Богоматери руководить ею в ее жизни.

Так как Матрона была очень красива, а ее внутренние качества еще возвышали ее красоту, и так как она была известна своим трудолюбием, то к ней сваталось много молодых людей из Ельца.

Но брак был ей не по сердцу.

В этом намерении сохранить свою душу чистою от земной любви поддерживала Матрону старица Мелания, жившая в затворе в Знаменском девичьем монастыре.

Однажды Матрона провела целую ночь в беседе с Меланиею. Затворница говорила ей о беспредельной любви Божией к падшему роду людскому и о том, как достичь спасения. Матрона плакала, и жизнь в миру, с ее разочарованиями, потеряла для нее всякую притягательную силу. Она открыла затворнице, что хотела бы поступить в монастырь, но та посоветовала вместо того идти в Задонск.

Помолившись в Задонске и возвращаясь домой, она, отойдя от города три версты, оглянулась на монастырь и горько заплакала, не умея понять, отчего вид города так ее взволновал.

Дома она стала работать по-прежнему... На 26-м году возраста она сильно занемогла истерией, исхудала, и с ней стали случаться внезапные обмороки. В таком состоянии, не желая быть в тягость

своим благодетелям, Матрона просила ее совсем отпустить.

Те не удерживали ее и даже ничем не поблагодарили за то, что она пятнадцать лет работала на них, как раба купленная. В одном платье вышла от них Матрона и поселилась у своей сестры, тоже бедной женщины. Болезненные припадки повторялись чаще, иногда она еле одетая бегала по улицам. Три года пробыла она в этом положении, пока, наконец, сестра ее, набожная женщина, не свезла ее в Задонск на могилу св. Тихона. Здесь она получила исцеление.

Вернувшись в Елец, она просила у Меланьи совета, поступить ли ей в монастырь. Но та сказала: «Ступай-ка лучше в Задонск. Там будешь принимать странников, питать сирот!»

«Как же это так, — думала Матрона, — когда мне самой негде приютиться?»

На эту тайную мысль ей Меланья возразила:

— Не сомневайся, но веруй. Правда, тебя теперь никто не знает там. Но придет время, тебя узнают и в Москве, и за Москвою. Ты заживешь в каменных палатах. Не сомневайся, но молись и веруй! — Матрона тихо плакала при этих словах затворницы.

Желание сходить в Тихвин стало овладевать ею; к этому склоняла ее и пережитая ею болезнь, от которой она там исцелилась, и совет Мелании, и сон, в котором она видела, что святитель Тихон с другим старцем зовут ее в Задонск.

Наконец, она собралась туда. Когда она входила теперь в Задонск безвестною странницею, ей бы-

ло на вид лет тридцать. Изнуренность, бледность лица и ветхое рубище говорили о болезненности и о нищете ее.

Но она не стала просить милостыни, а постоянно молилась в пещере, где был похоронен святитель Тихон, чтоб он сжалился над нею и позаботился о ней.

Не было у нее убежища, и ей часто приходилось оставаться под открытым небом не только в дневную непогоду, но и ненастные ночи. Припадки ее, хоть в гораздо более легком виде, повторялись еще с нею, и ее подбирали на улице в обмороке, и отвозили ее в тюрьму.

Двое иеромонахов, узнав о положении Матроны, уговорили одну задонскую жительницу приютить ее у себя. И только что у нее оказался более или менее верный кусок хлеба, она стала помогать другим.

Возвращаясь из монастыря, она приводила с собою нескольких странников и кормила их тою пищею, которую ей давали с трапезы те иеромонахи, сама же довольствовалась остатками.

Кроме того, она брала к себе больных и кормила их. Это тихое доброе дело встретило некоторое сочувствие: ей стали подавать на ее странноприимство, и все больше и больше призревала она народу, так что бедные богомольцы называли ее «матушка кормилица».

Тогда та женщина, у которой Матрона Наумовна жила, стала ей завидовать и притеснять ее. Она иногда просто не впускала ее в дом, и тогда приходилось укладывать гостей на дворе, под открытым

небом. Матрона не обижалась за себя, но горевала, что ей некуда принять странников.

Тогда монастырские старцы решились помочь ей: за двенадцать рублей ассигнациями они ей купили небольшую хибарку против монастырской стены. Только шесть человек могло в ней поместиться, и, как только одни выходили, другие входили. Иногда ей самой на ночь не оставалось места в хижине, и она просиживала всю ночь на пороге.

Ей пришлось испытать неприятности от городничего, который велел забрать ее в острог, и ее били палками.

Когда помогавшие ей старцы-иеромонахи умерли, она отправилась на богомолье в Соловки и в Киев, но затем снова вернулась к своему делу. Вскоре оно расширилось.

Одни зажиточный задонский купец потерял любимого сына и решил в память его делать добрые дела. Он предоставил Матроне Наумовне нижний этаж своего дома, а ее келию перенес к себе во двор, чтоб она могла там уединяться для молитвы.

Несколько девиц желали помогать Матроне Наумовне в ее деле и присоединились к ней, и дело призрения странников и убогих продолжалось на этих основаниях девятнадцать лет.

Потом Бог помог завестись ей и своим домом.

Однажды видела она во сне св. Тихона, который благословил ее, подал ей пшеничный хлеб и сказал: «Пора тебе, Матрона, самой быть хозяйкой!» При этом он указал к северной стороне монастыря и прибавил: «Вот и место, где ты должна устроить

дом для принятия странников и бедных». Это повторялось три ночи подряд.

Она пошла на место, указанное во сне, и со слезами думала, как ей подступиться к этому делу. Тут какой-то человек подходит к ней и говорит, что он каменщик и предлагает начать стройку, а деньги получит с нее позже. Кроме того, в то же время она неожиданно получила от одного лица двести рублей ассигнациями.

Множество нужных предметов отпускали Матроне Наумовне даром или в долг. Как-то скорбела Матрона Наумовна о том, что, возведя четыре стены, не на что крыть крышу. Тогда пришла к ней какая-то казачка и, уходя, оставила на ее кровати завернутую палочку вершка в три, которую во время разговора держала в руках. Женщины этой не могли разыскать, и на третий день, развернув палочку, Матрона Наумовна увидела, что это был столбик из золотых монет. На это она и накрыла крышу.

Когда в Воронеже открывались (в августе 1832 г.) мощи святителя Митрофана, приток богомольцев в Задонск стал особенно велик, — и тогда странноприимство Матроны Наумовны было чрезвычайно ценным.

К ней шли без робости, она строго приказывала послушницам не оставлять никого без приема.

— У Бога всего много, — говорила она. — Он питает нас Своим милосердием. Будьте же и вы милостивы и с благорасположением.

Особенное самоотвержение выказывала она над холерными больными. Всячески облегчая их страдания при жизни, она приглашала иеромона-

ха к умирающим, покупала гробы и по церковному обряду хоронила странников или безродных; затем заказывала о них сорокоусты по церквям, а жившие при ней девицы читали по покойным псалтирь.

Были люди, которые нарочно приходили к ней перед смертью, зная, что за них будут молиться, когда они умрут.

Кроме странноприимства, сколько других добрых дел сделала Матрона Наумовна! Она воспитывала и пристраивала подкидышей, заботилась о сиротах.

Так, составитель жизнеописания ее, задонский иеромонах Геронтий, рассказывает, что он видел над собою особое попечение старицы, когда мальчиком еще, по совету Матроны Наумовны, был помещен в монастырь своею матерью, вскоре за тем умершею. Он вспоминает разговор его матери со старицею, когда он стоял у ее кровати, а она издали крестила его. Она ласкала сироту, давала ему белье и другие нужные вещи, и, благодаря ей, он не чувствовал гнетущей нужды и одиночества сиротства.

Вера ее в Божию помощь была часто подтверждена не совсем обыкновенным способом.

Как-то оказалось, что за нею был долг по забору муки около полутора тысяч. В ужасе она зарыдала и упала на колени, призывая на помощь Богоматерь и святителя Тихона. Утомясь от молитвы, она задремала на полу.

Тут, в тонком забытии, она увидела пред собою трех святителей. Они сказали ей: «Так как ты дела-

ла забор свой для прокормления Христа ради нищих и пришельцев, то мы не оставим тебя!»

По иконам она признала святителей Митрофана Воронежского, Димитрия Ростовского и Тихона Задонского. — Через несколько времени к ней вошел в комнату казачий офицер и, быстро сказав ей: «Вы принимаете странников? Помолитесь за меня!» — сунул ей что-то под скатерть и вышел. Это оказалась пачка денег в полторы тысячи рублей.

Она и своими трудами старалась помогать другим. Сидя у себя в келий на постели, она готовила корпию для больных или кроила и шила рубашки. Кроме того, она раздавала полотенца, платки, шерстяные чулки, рукавицы, обувь, всякую одежду.

Молитва ее никогда не прекращалась.

Несмотря на то, что ее в последнее время окружало всеобщее уважение, — она оставалась все той же смиренной девочкой, которая содержала больного брата мытьем белья на речке.

Многие из приезжавших в Задонск стремились увидеть Матрону Наумовну и поговорить с ней.

Один богатый молодой человек удивлялся, как его мать, образованная женщина, всегда посещает старицу, бывая в Задонске.

Из любопытства он пошел к ней и остался под таким впечатлением от ее беседы, что продолжал знакомство с нею и благодетельствовал ее делу. В 1863 г. в праздник Сошествия Святого Духа Матрона Наумовна в последний раз была в церкви... По окончании службы и простонародье, и дворяне, и приезжие окружили ее, больную, слабую, в дальнем уг-

лу церкви. Сочувственные слова, благодарные взгляды вызывали слезы на ее изнуренном лице.

Послушницы на руках вынесли ее из церкви. Но на дому еще можно было видеть ее и получить от нее совет.

Ежегодно 9 ноября праздновался день ее рождения и к ней приносили чудотворную Владимирскую икону Богоматери. Народ собирался во множестве.

Сидя, молилась тогда старица пред иконою. В глазах ее стояли слезы, но лицо бывало радостно. Когда странники, проходя мимо окна, кланялись ей, она не видела, вся погруженная в молитву, обливаясь слезами.

1 апреля, в день св. Марии Египетской, 1844 г. она приняла тайное пострижение с именем Марии.

Снисходительная к другим, она была строга к себе, держа себя в тех же лишениях, в каких началась ее жизнь.

Духовность ее и опытность развили в ней прозорливость. Часто ее осторожное слово впоследствии неожиданно сбывалось.

До чего она была благодарна, как в ней развито было то чувство, которое можно назвать *памятью сердца*, видно из следующего случая.

Одна из жительниц Задонска должна была покинуть на несколько лет Задонск. Жизнь ее в чужих местах, с братом, который терпел большое горе, была очень тяжела. Известия эти очень печалили старицу, и она сама и сестры, жившие при ней, молились о помощи страдавшей женщине. Схоронив

брата, она вернулась в Задонск и, узнав, как много думала о ней во время ее отсутствия Матрона Наумовна, она горячо ее благодарила.

— А ты думала, — отвечала та, — что я забыла твоего брата... Нет, я помню его — и не за то лишь, что он помогал моему приюту... Многие давали мне больше золота, чем он, но не так радушно, как он. Я помню его веселый взгляд тогда, слезы умиления в глазах, все его сочувственные слова помню — и не забуду.

— Молитесь за него, — попросила женщина.

— Да я и мои все молятся и теперь о нем. Ты же не скорби, что в жизни он много пострадал. Ведь всякий человек грешен. Нужно очищение, чтоб сошла с души скверна беззаконий!.. Господь во время посетил его.

Плача при рассказе обо всем, что та за это время пережила, Матрона Наумовна говорила ей в утешение:

— Видишь ли, как Господь любит тебя! Ведь горе в жизни — это гостинцы, посылаемые нам из рая.

Незадолго до смерти, чуя конец свой, Матрона Наумовна отдала свой дом в пользу Задонского монастыря.

Кроме того, у нее был на северной стороне города дом и участок земли. Она предназначала его для своих сотрудниц и для продолжения начатого ею дела. Завещанием она поручала своему духовнику устроить там общину с небольшою церковью в честь Богоматери, называемой Скорбящей.

Осенью 1851 г. старица совсем ослабела и затворилась от посетителей.

Выбрав начальницу вместо себя, она со слезами умоляла сестер повиноваться ей.

Затем она стала готовиться к смерти. Тут ее посетил архиерей и настоятель монастыря и некоторые почитатели.

Хотя она сидела еще на постели, но дыхание было тяжело, глаза мутны, посиневшие губы шепотом произносили молитвы.

Взглянув на иконы, она с любовью протянула остывшую уже руку к пришедшим к ней, — последний знак согревавшего ее душу сочувствия к людям.

Она скончалась 17 Августа 1851 г., после восьмидесятилетней полной трудов и испытаний жизни.

Тело ее было схоронено в общей усыпальнице прочих подвижников Задонских, а 1869 г. перенесено без огласки в устроенную по ее завещанию Тихоновскую общину сестер милосердия и предано земле в Скорбященской церкви.

Как бесконечно мало дала жизнь этой женщине, как она была и ломала ее!.. Сколько ужасного, казалось бы невыносимого, было в этой жизни... Раннее сиротство, с семи лет лицом к лицу с нищетой, да вдобавок с больным беспомощным братом на руках, потом горькое одиночество, унижения, непомерная работа...

Но не осилило ее это горе. И в своей доле она нашла еще возможность думать о других, и столько людей поставила на ноги!

Какое понимание Христа и Его заповеди о любви, какая великая сила!

Нельзя без глубокого волнения вспоминать об этой самоотверженной женской жизни, если вдуматься в нее и понять всю ее высоту и правду.

(Е. Поселянин. «Русские подвижники XIX века»).

РАБ БОЖИЙ ИОАНН

*Приидите чада, послушайте мене,
страху Господню научу вас (Пс. 33,12).*

Переживаемое нами время по справедливости может быть названо эпохой общего недовольства. Жизнерадостные дни прошли, по-видимому, безвозвратно. На челе современного человека написаны мятежные думы и печали. Мгла расстилается перед взором современных людей и скрывает от них солнце радости. Жизнь тяжела, жизнь надоела, не стоит жить, вот современный отзыв о жизни у многих. Печальное и знаменательное явление!

Подыскивая причины сему явлению, нельзя не согласиться с тем, что важную роль в этом играет упадок веры в современном человеке и чрезмерное увлечение корыстным, чисто материальным взглядом на жизнь, забвение высших стремлений к небу, пренебрежение к *единому на потребу*, завещанному для нашего вечного спасения и земного благополучия Спасителем нашим, Господом Иисусом Христом.

Кто ныне не оценивает труд и жизнь именно с точки зрения ее *материальных выгод*? Даже дети обдумывают, как повыгоднее воспользоваться пло-

дами своего учения и труда. Ловкость, оборотливость в устройении своих дел почитается признаком ума и достоинства. Кто, далее, не бежит от труда и не ищет для себя всевозможных льгот и облегчений? Даже дети толкуют о том, что учение переутомляет их, что учение для них каторга. Много ли ныне среди нас таких людей, которые знают и понимают веру Христову, для которых она выше и дороже всего на свете? Увы! Даже люди зрелого возраста, вкусившие от плода науки и образования, нередко обнаруживают слабое знакомство с своей верой и почти полное непонимание ее духа и ценности. Понятно после этого, отчего современная жизнь дарит нас такими явлениями, как убийства и самоубийства, кражи и хищения, семейные раздоры и разводы, восстание детей на родителей и учителей, умственная и нравственная расшатанность, болезненно развитое самолюбие и поразительное непонимание христианского учения, доходящее до кощунства над ним, и т. п.

И если когда, то именно в наше время, не бесполезно указание на образцы жизни высшего порядка, на могучие умственные и нравственные авторитеты, которые подобно высоким, отовсюду видимым, маякам светили бы нам на трудном пути нашей жизни. Вот почему дороги должны быть для нас такие достолюбезные образы, как образ новопрославленного ангелоподобного батюшки Серафима. Сквозь облегающие нас мглу и сумрак они светят, как яркие звезды, и свет их все больше и больше разгорается над нами.

Но бесполезно для нас вспоминать имена и других, менее ярких светил, свет которых, однако, был замечен в свое время и теперь не померк совсем. На одно из таковых имен, поражающих своею скромностью, мы желали бы обратить внимание читателей. Мы хотели бы возобновить память об одном человеке, о котором было сказано в печати еще в шестидесятых годах прошлого столетия, но о котором мы ничего не знаем, а между тем, жизнь его заслуживает внимания и наводит на некоторые очень любопытные вопросы для нашего времени, старающегося все оценить и понять. Не лишним будет заметить также, что человек этот был современником батюшки отца Серафима Саровского, к чистому, светлому образу которого теперь обращены радостные взоры всех живущих верой в истинного Бога.

На Крестовоздвиженском кладбище г. Тамбова, на северной стороне от кладбищенской церкви, по прямой дорожке от нее, осеняемая двумя высокими и ветвистыми вязами, находится скромная могила, и на ней деревянный простой белый крест с такой надписью: «Зде покоится прах раба Божия Иоанна, чтеца Казанской города Ливен церкви, скончавшегося в 1829 году в Тамбове под именем Илии немого. Упокой, Боже, раба Твоего во царствии Твоем». Скромный памятник и могила, как скромны были и тот, чей прах покоится здесь. Не блещет памятник ни богатством, ни величием и не приковывает к себе ничьего внимания. А покоится под ним прах человека великой воли, высоко-

го самоотвержения во имя высших интересов духа, ради Бога и спасения души.

Кто же он, не хотевший при жизни своей сказать Тамбову своего имени и звания?

Современник отца Серафима, Саровского старца, чтец Иоанн, о котором у нас речь, был близок к нему и по месту своего жительства. Он происходил из Орловской губернии, соседней с Курской, родиной отца Серафима, из духовного звания. Иоанн Петрович Богоявленский (полное имя его), сын священника села Крутого, Ливенского уезда, Орловской губернии, родился приблизительно в 1794 году. У родителей его семья была не маленькая. Кроме него было еще четыре сына и дочь. Домашнее воспитание, конечно, было вполне христианское, под бдительным надзором родителей, к которым дети имели полное уважение и почтение, которое проявлялось у Иоанна Петровича даже в зрелом возрасте, как это увидим ниже. Дома научился он грамоте. При поступлении в Севское духовное училище ему дали фамилию Богоявленского вместо отцовской фамилии Шубин. Известно, что тогда такое явление было делом нормальным: фамилии Соколов, Орлов и т. п. давались детям духовенства под свежим впечатлением при поступлении в учебное заведение.

Иван Богоявленский учился хорошо, так как имел отличные дарования и большую охоту к учению. К сожалению, здоровье его было слабое, и это обстоятельство не позволило ему пройти полный курс семинарских наук, и на самых первых порах учения в семинарии вынудило его прекра-

тить школьную науку. Из класса поэзии по тогдашнему (самый младший класс семинарский) Иоанн Богоявленский вышел по болезни, впрочем без всякого ропота и печали. Духом он не пал, не озлобился, а с покорностью воле Божией принял свое увольнение из учебного заведения. Скоро нашел он для себя место в городе Орле.

Человек религиозный, кроткий, выросший в простой сельской обстановке, Иоанн Петрович за большое счастье для себя почел поступить в келейники к местному епископу Досифею, который скоро полюбил своего келейника и оценил добрые качества его души. Кроткость и особая расторопность (аккуратность, точность, честность, сметливость и т. п. в исполнении поручений) были отличительными его качествами в бытность келейником. Тогда же с ним произошел случай, оставивший свои последствия на всю жизнь. Однажды во время игры с другим старшим келейником епископа Досифея Иоанн Петрович нечаянно ушиб руку так сильно, что вынужден был уехать на родину к отцу для поправления здоровья. Целый год прожил больной у отца, но полного выздоровления не последовало, и рука (правая) осталась навсегда несколько согбенною. В таком болезненном состоянии Богоявленский почел неудобным оставаться на службе у владыки Досифея и под предлогом поклонения Киевским святыням просил себе у него увольнения. Получив таковое от доброго епископа, Иоанн Петрович поселился у отца. Согласно желанию последнего в 1811 году, 17 лет от роду, Иоанн Петрович занял место причетника при Ка-

занской церкви г. Ливнах. Природная *религиозная* настроенность, воспитание в доме *служителя церкви*, обучение в *духовной школе*, жизнь в доме *епископа* Досифея, *служение церкви* в звании церковного чтеца и физическая *болезненность* – все это вместе поддерживало и развивало в молодом причетнике особую склонность к *угождению* Богу, особливую заботливость о *духовных интересах*, некоторое равнодушие к жизненным благам и жажду особого *подвига* для служения Богу, Единому паче всего достойному любви и почитания.

Такое настроение очень рано сказалось в причетнике Богоявленском. Оно было заметно еще в бытность его келейником у епископа Досифея и обнаружилось в том, что он просил у владыки позволения «ради *спасения* своей души и для удовлетворения своей *наклонности*» избрать странническую жизнь для посещения святых мест и поклонения мощам святых угодников. Епископ Досифей, зная эту черту в своем келейнике, однако на этот раз отказал ему в просьбе, не без основания, конечно, ссылаясь на его молодость. Но что же Иоанн Петрович? Отложил ли он после этого всяческое попечение своего желания до более благоприятного времени и осуществил его частью в период времени служения своего в г. Ливнах.

С целью удовлетворения непреодолимой потребности постранствовать ради спасения души он решился *тайно* сделать это. В 1813 году из города Ливен тайно ходил он в Коренную пустынь, Курской губернии, и даже хотел совсем там остаться. В душе юного странника тогда возникла борь-

ба: для посвящения себя Богу *остаться* в Коренной пустыни или для поддержания старушки матери вдовы воротиться в г. Ливны? Жалость к матери, оставшейся тогда уже вдовой, взяла перевес, и он опять пришел в Ливны. Мать была рада возвращению сына и, желая, быть может, навсегда удержать при себе сына, мечтавшего об иноческой обители, предложила ему жениться на одной небогатой, но доброй девице, дочери ливенского купца Марье Ивановне. Сын покорно принял волю матери, женился, будучи двадцати трех лет от роду, и именно на той девушке, которую и указала мать. Эта черта свидетельствовала о необыкновенной покорности воле родительской даже в годах зрелых и в таком важнейшем деле, как женитьба.

Тихо потекла семейная жизнь молодой четы, которая была вполне счастлива. Семейная дружба ничем не омрачалась. Родившийся через два с половиной года после брака сын доставил истинную радость родителям, и отец все свое внимание сосредоточил на воспитании малютки в *вере твердой* и *нравственности доброй*. Он начал учить сына грамоте тогда, когда ему было только три года. Зачем было так рано учить ребенка грамоте – спросит, быть может, кто-нибудь теперь. Прямых, точных сведений о том, что побуждало к этому Иоанна Петровича, у нас нет. Можно объяснить это просто тем, что тогда многие очень рано начинали учить грамоте и не опасались переутомления, имея перед собой библейский пример Богоматери, трех лет отданной на воспитание в храм. А может быть, сердце отца чуяло, что ему не придется долго зани-

маться учением сына (так как в душе его зрела мысль об оставлении семьи на волю Божию и о принятии на себя странничества), и он дорожил временем, чтобы доброе семя в душе его детища не заглохло. Достоверно известно, что семейная жизнь не заглушила в причетнике Богоявленском помысла о подвиге страннической жизни. Очень часто в беседе с своими семейными и знакомыми Иоанн Петрович выражал *любовь* и склонность к уединению. Образ жизни его за это время свидетельствовал, что склонность эта в его душе все зреет, развивается и рано или поздно должна получить свое удовлетворение. Даром проводить время Иоанн Петрович не любил. Если не был он занят исправлением службы по церкви и приходу и у него оставалось свободное время, то предавался чтению Слова Божия, житий святых с такою любовью и увлечением, что нередко целые ночи проводил за чтением Библии и *Четви-Минеи*.

Это занятие, конечно, оказывало громадное влияние на духовный склад и преобладающую склонность в душе казанского причетника. Огонь любви к Богу разгорался и вспыхивал сильным и цельным пламенем.

Каков был Иоанн Петрович в отношении своей обязанности и по отношению к другим людям? На свою службу причетника он смотрел весьма *серьезно*, и потому исполнял ее весьма тщательно и с любовью. Это проявлялось даже во внешности Иоанна Петровича. Он держал себя весьма опрятно. Одежду носил всегда чистую, даже щеголеватую, держал себя с некоторою важностью, подобаю-

щею его положению. Не унижаясь нимало перед другими, он чужд был отталкивающей заносчивости, свойственной натурам едким. Не любил он неправды, пристрастия и, если замечал в ком-нибудь подобное, возмущался всею душой и безбоязненно высказывал это каждому. Тогда из уст скромного чтеца церкви Христовой лились сильные и смелые обличения допустившему неправду или пристрастие, не взирая на сан и положение обличаемого. За твердость и прямоту характера, за любовь к правде и открытую борьбу с неправдой Иоанн Петрович был любим и уважаем как духовенством, так и прихожанами. Физического труда он также не избегал и любил заниматься им. В этом отношении ливенский причетник являл собой замечательный образец того, на что способен человек с дарованиями, сметливостью и расположением к труду. Чтец Богоявленский знал отлично многие мастерства, а именно: столярное, слесарное, портное, сапожное, малярное и др. Ясно было, что Бог наделил Своего скромного служителя богатыми талантами, которые верный и добрый раб не закопал в землю. Какое разнообразие в деятельности при скромном положении, какая любовь к труду, какой правильный взгляд на жизнь, сущность которой заключается в *труде* духовном и телесном, открывается в жизни ливенского причетника! Пример, достойный подражания.

Живя в миру среди людей и всяческих житейских забот и волнений, Иоанн Петрович духом стоял выше этого мира, который не прельщал его даже тем благополучием и счастьем, которыми ок-

ружена была его молодая жизнь. Напротив, чем больше жизнь манила его своими благами, тем не доверчивее к ней становился он и тем менее выражал свою привязанность к миру. В ушах его постоянно звучали слова Спасителя: *Иже оставит дом, или братию, или сестру, или отца, или мать, или жену, или чада, или села имене Моего ради, сторицею примет и живот вечный наследит* (Мф. 19, 29). Голос этот властно звал чтеца Иоанна из дома на подвиг, и он не мог противиться ему, потому что это был Божий голос, спасительный. Силу и значение этого голоса можно сравнить с силой и значением звука церковного благовеста в бурную зимнюю ночь, когда свирепствует снежная вьюга и путнику, застигнутому ей, угрожает незаметная, как сон, смерть. Как спасителен тогда блавест для путника! Ободрится он, напряжет свои силы, пойдет по направлению спасительного звука и несказанно обрадуется, увидев свою спасительницу — церковь Божию, подавшую материнский свой голос. Нечто подобное переживал и ливенский чтец. Жизнь готова была затушить пламенное стремление Иоанна Петровича к подвигу для служения Богу и, усыпляя его своими прелестями, манила его к себе навсегда. Как быть, за кем идти? Голос Божий, возгремевший для чтеца Иоанна в приведенных выше словах, властно прозвучал и пробудил в Иоанне Петровиче полную решимость оставить мир. Он уже с радостью и без колебаний пошел на зов сей. Наступило время «определенное Божиим смотрением», для приведения в исполнение всегдашнего желания, оставив все, идти за Христом. Избран-

ник Божий сделал это тихо, скромно, без всякого шума и молвы человеческой. Бог да молчаливая ночь были свидетелями его решительного подвига.

17 сентября 1822 года, под воскресенье, в глубокую ночь, остригши волосы, сняв причетническую одежду и спрятав ее, одевшись в рубище и худую обувь, никем не замеченный, скрылся из дома Иоанн Петрович, будучи двадцати семи лет от роду. Дома остались двадцатитрехлетняя жена и пятилетний сын без всякого обеспечения, так как, кроме некоторого носильного платья, никакой собственности у них не было. Иоанн Петрович всецело предал свою семью воле Божией, питающей и птиц небесных. Понятно, какое беспокойство скрывавшийся причинил своей семье, родным и начальству. Искали, разведывали, расспрашивали, строили догадки, но все было напрасно. Нигде никак не только не могли найти пропавшего, но даже получить какие-нибудь сведения о нем. Как в воду канул пропавший ливенский причетник. Впрочем, у знавших близко Иоанна Петровича было вполне верное предположение о том, что по своей склонности к странничеству он на время или навсегда ушел тайно в какой-нибудь монастырь или пустынь (пример этого уже был до женитьбы его), но где, в каком именно месте обретается ушедший, так и осталось тайной до самой смерти виновника этих беспокойств и догадок. В этом смысле дано было сообщение орловскому епископу Гавриилу о скрывшемся причетнике г. Ливен. Доношение епархиальной власти под-

твердило факт тайного удаления последнего из дома и ограничилось догадками общего характера о причине этого удаления. Покончив с скрывшимся и потеряв надежду отыскать его, начальство теперь обратило внимание на оставшуюся после него семью. Надо было подумать и о ней. Добрая епархиальная власть заменила для осиротевшей семьи благодетеля отца. Отцовское место причетника зачислено было за малолетним сыном чтеца Иоанна, который пользовался доходом до полного окончания семинарского курса. Впоследствии этот сын ливенского причетника достиг высшего положения, доступного для белого духовенства, именно занял место протоиерея в г. Кромах, Орловской губернии.

Последуем за скрывшимся из г. Ливен Иоанном Петровичем и посмотрим, что с ним было тогда, где и как он жил? Об этом поведал он сам духовнику своему, и этот последний сказал семье его и нам уже после смерти Иоанна Петровича. Оказалось следующее. Оставив семью и родину, в одежде нищего, по примеру Симеона юродивого, с пламенной верой в Бога и с молитвой на устах, пошел он прямо на восток, причем ему приходилось проходить города: Елец, Липецк, Козлов и Тамбов. Пришедши в Тамбов, Иоанн Петрович остался здесь навсегда. Ради спасения он принял на себя юродство, показывая себя глухим, немым и малоумным. Здесь ему дали имя ветхозаветного пророка, ревнителя славы Божией, Илии, и название Илии немого осталось за ним навсегда. Однажды в церкви спрашивали юродивого, недавно появившегося

в Тамбове, об его имени, и он указал на икону пророка Илии. Вопросавшие поняли это в том смысле, что юродивый носит имя Илии-пророка, и с того времени имя это удержалось за ним. Что же на самом деле хотел сказать принявший на себя юродство Иоанн Петрович, указывая на икону Илии-пророка? Можно догадываться, что он этим желал указать на то, что он есть ревнитель славы Божией и подобно Илии-пророку убежал из родной страны в чужую, ища спасения и покоя для духа, стремящегося к Богу. В городе Тамбове Иоанн Петрович или *Илия немой*, как теперь стали звать его и как мы называть его будем, пребывал большую часть дня и ночи в церквях и около них. Первая церковь, у которой целый день, питаясь милостыней, оставался юродивый, была Знаменская. Желая пребывать в молитве постоянно, юродивый достал несколько листов из следованной псалтири. Имея в руках эти листы, Илия немой по ним читал молитвы. Когда кончался день, юродивый уходил из города и Знаменской церкви и ночевал в строившейся тогда Петропавловской кладбищенской церкви. Таким образом, Илия немой и день, ночь пребывал в храме и молитве, подражая ветхозаветному молитвеннику царю Давиду, молившемуся день и ночь, в храме и постели. С наступлением зимы юродивый оставил Знаменскую церковь и перешел в Казанский мужской монастырь. Здесь он старался не быть без дела и помогал братии в храме и кельях. Ему хотелось быть принятым в число братии, о чем он не переставал умолять казанских иноков. Братия, объясняясь с юродивым письмен-

но, потребовала от него паспорт. Конечно, такового не оказалось, и у иноков закралось подозрение на счет благонадежности юродивого! Считая его, с своей точки зрения, бродягой и опасным человеком, казанская братия не только не уважила просьбы Илии немого, а и вовсе запретила ему посещать церкви Казанского монастыря. Не имея где склонить голову, мнимый бродяга оставил неприветливый монастырь и перешел к Покровской церкви г. Тамбова, надеясь на лучшее здесь. Вначале его приняли в этой церкви довольно ласково, и он старался всячески быть полезным церкви и причту. Он топил печи, мел и убирал храм, служивал священникам и причетникам. Недолго, однако, удалось страннику Божию прожить покойно в храме Покрова Царицы небесной, чего так жаждала верующая душа его.

Просьбы его о дозволении пребывать в сторожке при церкви оставались без удовлетворения и привели только к тому, что покровский причт донес о нем градской полиции вследствие неимения им вида на жительство.

С этой минуты трудности жизни юродивого увеличивались. Полиция прежде всего подвергла строгому допросу странного незнакомца. Допросы полиции ничего не выяснили о личности последнего, так как на все вопросы, предлагавшиеся ему, он отвечал полным молчанием и выглядел немым и глупым. Не добившись ничего от незнакомца, полиция признала Илию немого за бродягу и осудила его на тюремное заключение, где, наконец, он нашел постоянное местопребывание, которого так

тщетно домогался доселе, среди чуждых ему бродяг. Тяжело было добровольному страдальцу это переселение в тюрьму, так как оно разлучило его с храмом Божиим. Не легка была жизнь в тюрьме и по другим причинам. Близость и общение с людьми отверженными тяжки должны быть для человека, стремящегося только к сердечной чистоте и святости. Весьма возможно, что самые дорогие и святые чувства мнимого бродяги подвергались грубому оскорблению и глумлению. Должно к этому прибавить еще и то, что наряду с прочими тюремными обитателями и Илию немого назначили на городские работы, возлагавшиеся на бродяг. Пребывание в тюрьме и работы в городе сильно подрывали здоровье юродивого и расшатывали его так, что Илия немой сильно заболел и подумывал в иные минуты открыть про себя все начальству, чтобы только избавиться от невыносимых физических страданий. Но и в темнице Бог не оставил Своего раба без утешения и поддержки. В то время в тюрьме отбывали срок заключения три невинных женщины, ради Христа и спасения души принявшие добровольный подвиг темничного заключения. Они узнали невиновность Илии немого, видели его болезни и труды, от которых он изнемогал, и всячески убеждали терпеть до конца, утешая спасительностью страданий, которые есть крест Христов, носимый нами. Слова и доводы простых, но сильных верой жен поддерживали дух страдальца, и он победил временное малодушие, предал себя воле Божией и вооружился терпением. Ропот, уныние должны были оставить его в покое.

Прошел полный год пребывания юродивого в тюрьме, и в здоровье и в положении его вообще произошла перемена к лучшему. Здоровье его улучшилось, и жизнь его стала сноснее. Илию немого выделили из числа бродяг и перечислили к рабочим смиренного дома, ходившим на работу в общественный приказ (присутственное место). Это уже было значительным улучшением положения Илии немого, так как его теперь стали признавать более за малоумного. Смотритель приказа обратил внимание на юродивого и задался целью добиться от него объяснения своего имени и звания. Чтобы запугать его и вынудить признание, смотритель объявил, что три раза в день будет бить его палками до тех пор, пока не откроет о себе, кто он и откуда. Далее угрозы дело, однако, не пошло, но Илия немой и их боялся. К счастью, его грозный смотритель оставался в приказе недолго. Его удалили со службы, и его место занял другой, происходивший из духовного звания и обнаруживший в отношении юродивого больше прежнего доброты и снисхождения. Новый смотритель не мог не заметить особого усердия и добросовестности в работах со стороны Илии немого и потому отличил его среди других рабочих смиренного дома тем, что позволял жить в приказе вместе с караульными солдатами этого учреждения. Теперь, по прошествии трех лет со дня ухода из г. Ливен, добровольный страдалец, испытав всевозможные притеснения и труды, в первый раз получил некоторую свободу. На него теперь смотрели не как на

подозрительного и опасного человека, а скорее как на «блаженного» и жалкого.

Теперь Илия немой получил возможность посещать церковь в часы, свободные от работы. Можно себе представить, какое это было счастье и какая в этом заключалась свобода для него, любившего день и ночь пребывать в доме Божием! Такое позволение доставило ему истинное блаженство, однако, еще и потому, что он мог теперь исповедаться и причаститься, чего лишен был во все время пребывания в г. Тамбове после удаления из г. Ливен. Для Илии немого, оставившего все ради Бога, как самым большим несчастьем было лишение святого Причастия, так и самым высоким, ничем не заменимым блаженством было соединение с Христом Спасителем в святых тайнах. *Ядый Мою плоть и пияй Мою кровь во Мне пребывает и Аз в нем*, — эти слова Спасителя, содержащие в себе указание на высшую славу и радость для человека, были, конечно, известны и понятны юродивому, и вот этого-то величия он и сподоблялся через храм и святое причастие. Счастье, которого он лишен был три года, вновь посетило его. Бог, давший испытание ему, послал избавление и утешение. Так юродивый в своей жизни познавал Господа и все больше и больше прилеплялся к Нему.

Ближайшей церковью к приказу, где вместе с караульными солдатами жил теперь наш юродивый, была церковь женского Вознесенского монастыря.

Эту церковь и стал он посещать, когда была к тому возможность. Бывая в этом храме, по своему

обыкновенно старался что-нибудь сделать полезное для дома Божьего. Он возил и носил дрова для топки церковных печей зимой, мел и убирал церковь после службы, помогал в алтаре и т. п. В лице одного из монастырских священников нашел юродивый себе духовника. Познакомившись с о. Иоанном Андреевым во время посещения женского монастыря, полюбил его и стал бывать у него на исповеди. Однажды он открыл о. Иоанну о себе правду, кто он и откуда, но просил сохранить это в тайне до его смерти. О. Иоанн дал на это своё полное согласие и только после смерти Илии немного поделился с другими порученной ему до времени тайной. О жизни юродивого после знакомства с о. Иоанном до самой смерти его прекрасно говорится в одном письме о. Иоанна. Посему предоставим ему самому говорить об этом, как современнику и очевидцу, ближайшему к юродивому человеку.

«Однажды, — пишет о. Иоанн, — возвращаясь от заутрени, я оглянулся назад и увидел идущего позади меня Илью. Он не отставал от меня и тогда, когда я входил в сени и покой. «Что тебе надобно?» — спросил я. Вместо ответа старался он объяснить мне знаками, что желает остаться со мной наедине. Я понял его желание и, хотя живу совершенно одиноким, однако принял его в отдаленной комнате, где Илья, поклонившись мне в ноги, просил меня усиленно соблюсти по смерти его тайну, которую он объявит. В это время он исповедался и, совершенно ознакомившись со мною, говорил, что он знает меня уже третий год, тогда как я, равно как и прочие в монастыре, видели в нем немного Илью.

С этого случая, приходя ко мне тайно, он получал от меня то чернильницу, перо, ножичек и бумагу, то книги для чтения и занимался ими в своем приказе. Причисленный, наконец, к сумасшедшим, он под видом нищего просил меня взять его под расписку, и я, в намерении приспособить его к нашему ближайшему от города монастырю, доставил ему псалтирь самого малого формата, чтоб он изучил ее на память. Изучив псалтирь, он возвратил ее мне, — был и в монастыре, но монастырь ему не понравился; он удалился снова в свою казарму и жил среди солдат за печью. Получив от своего начальства хорошее мнение, имел совершенную свободу ходить в церковь на службу, и монашествующие любили его, брали в свои кельи для обедов, иногда дарили ему платочки и прочее; но однажды, рано поутру, отнес он все это в семинарию и отдал при записке сиротам-бурсакам. Кроме же нашего монастыря и церквей он никуда не хаживал, да и не позволялось; стаивал всегда с нищими у двери, и принимал милостыню, которою питал своих сумасшедших, покупал им тайно булки, ягоды, яблоки и прочее. В последние годы я хотел было взять его из приказа к себе и построить ему внутри моего сада келью. Илья на это соглашался; но потом мы нашли сообща, что покой, который он получит, по его молодости послужит ему во вред. Вверив себя совершенно Промыслу Вышнего, он решился навсегда оставаться в приказе, и потому, посвятив себя работе на поварне сумасшедших, за вареньем квасов и прочего, иногда пропускал и службы Божии. Я еще вначале сшил

ему верхнее платье, в котором он хаживал только в церковь, домашняя же его одежда оставалась под верхней и была такого качества, столь ветха и древня, равно как и рубашка, что висела отрепьями и своею чернотой походила на черную овчину. Так как в комнате живу я один, то он нередко ходил ко мне тайно, но в баню не хаживал, рубах от меня не принимал; умел вязать чулки и потому собирал по комнатам приказа чулочные оттирки, чем моют полы, вымывал их, распускал и из этих ниток вязал тайно чулки, которыми надеял сумасшедших. Ему давалось на год по одним котам; чтобы они подольше послужили ему, я покупал для него подошвы, равно и сапожный инструмент, и он подшивал свои коты тайно на чердаке при свете луны. Но всего, — замечает о. Иоанн, — не опишешь. В текущем 1829 году на масленице под четверг Илья ночевал у меня и своим больным просил рыбы; я отпустил. Поутру оба мы пошли со двора, я к заутрени, а он в свой приказ. Ночевал он у меня в Неделю православия. Я имел в нем духовного друга и по одной бумаге просил его совета. Иногда ему нужно было попросить меня о чем-нибудь тайно, духовно; тогда, ища руки священнической, будто хотел принять от меня милостыню или благословение, он передавал мне зажатую в его ладони записку. Такую-то записку подал он мне на 2-й неделе Великого поста в среду или четверг; а на третьей — в обители мне сказывают, что приходили солдаты и объявили, что Илья помер. Я тотчас побегал в приказ, и оказалось, что говорили правду. Тогда я все относительно его открыл смотрителю,

от которого и получил позволение взять его тело и похоронить на мой счет. В то же время донес о нем и своему преосвященному Афанасию. Для усопшего сшили новое приличное платье и облачили его в стихарь. Монашествующие несли его в свою церковь выше плечей. Отпето погребение торжественно, стечение народа было великое, на кладбище тело несено было самими монашествующими... При сем, — заключает свое письмо о. Иоанн благочинному г. Ливен, — посылаю одну книжицу собственной его руки с картинами; книжица написана в приказе, а картины изготовлены ему мною наймом. Прошу отдать это сыну его в благословение родительское. Также засвидетельствуйте мое почтение и его супруге». Так писал о. Иоанн Андреев после смерти Ильи немого благочинному г. Ливен, Орловской губернии, протоиерею Иоанну Иоановичу Скрябину на просьбу сообщить что-нибудь об юродивом.

Другой священник Тамбовского женского монастыря, очевидец жизни последнего, о. Василий Ионин, в письме к тому же ливенскому протоиерею кратко отзывается об Илье немом, как о «человеке высшей духовной жизни» («Странник», 1862 г., июнь, с. 291).

(«Душеполезное Чтение»,
1904 г., июль, август).

ГЕОРГИЙ, ЗАТВОРНИК ЗАДОНСКИЙ

В конце восьмидесятых годов прошлого столетия в Вологде жила молодая дворянская чета Машуриных. Они были люди богобоязненные, тихие,

милосердные и совершенно счастливы; родилась у них дочь.

Однажды глухою ночью, когда все вокруг спало, молодой женщине, тоже успокоившейся до того сном, было видение. Ее комната озарилась светом, дверь отворилась, и свет еще усилился, предстал ее духовный отец, почивший за три года до того, в руках у него была икона, украшенная тремя венцами. С этой иконой тихо приблизился Божий посланник к постели, благословив свою духовную дочь, спавшую в радостном трепете, и сказал ей: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Бог даст тебе сына Георгия. Се тебе и образ святого Великомученика и Победоносца Георгия». Она приложилась со священным волнением к образу и приняла его на свои руки. Тем видение кончилось. В великой радости пробудилась после видения от сна молодая женщина и с нетерпением стала ожидать возвращения мужа, которому она рассказала это событие. Узнали о нем вскоре и ближайшие родные, и через них многие другие.

Прошло несколько месяцев. Молодая жена поздно вечером как-то без мужа размышляла в тишине о непостижимых судьбах Божиих. Почему-то тяжелое предчувствие наполняло ее сердце, в нем было уныние, страх и ужас, и она не могла понять причину такого состояния. Вдруг кто-то ударил сильно в стену и раздался крик: «Возьмите убитого!..» В комнату вскоре внесли Машурина; бывшего при последнем издыхании. На Пятницком мосту злодеи, сторожившие другую жертву, убили его по ошибке. В нем оставалось еще немного жизни;

он был в памяти. Успели позвать священника, особоровали отходящего и приобщили. Взором простившись со всеми, неповинно убитый тихо скончался.

Ужасно было состояние молодой вдовы; самой печали она не смела предаться, чтоб не повредить той жизни, которую носила в себе и о которой она получила такое предсказание...

Наконец родился у нее сын, нареченный Георгием, пришедший и мир среди такой великой скорби.

Через год по смерти мужа родные предложили вдове выйти замуж за хорошего человека, ими выбранного, но она отвечала им: «Промысл Божий свят, Ему угодно было взять от меня мужа и дать мне сына... Любовь к супругу моему не пресеклась во мне со смертью его. Соблюсти верность ему и воспитать детей — вот о чем я помышляю». Вдова, у которой с миром не оставалось ничего общего, покинула город, выстроила себе дом в уединенном месте, у Татарских гор, близ храма святителя Николая, в недалеком расстоянии от кладбища, где лежал ее муж, и в этом доме поселилась со своими детьми. Часто ходила она на могилу, служа панихиды, и детей брала с собою. Эти посещения исполняли ее такой скорбью, что часто изнемогала от плача, а нищие на руках относили ее домой. Эти горькие слезы пролиwała она до тех пор, пока не получила от мужа извещение. Он явился к ней во сне и сказал: «Не плачь обо мне — мне там очень хорошо: вот какая у нас там пища». При этом он подал жене из своих рук сладость, и неизъяснимое

ощущение блаженства сошло на нее. С тех пор слезы ее были радостны.

Дети продолжали плакать на могиле отца.

— О чем вы плачете, — сказала вдова старшей дочери, — когда посланы мне от Бога на утешение!

— Ах, маменька, — отвечала та, — как не плакать нам, что мы остались здесь. Папенька в раю, ему хорошо там. Когда же мы пойдем к нему?

— Молитесь Богу, — учила мать, — чтоб была над нами Его святая воля. Он возьмет нас, когда Ему будет угодно. Любите Его, творите Его заповеди, и Он не оставит милостью. Не плачьте же, а благодарите Бога.

Сама творя милостыню, она приучала к тому и детей. Дав им несколько денег и объяснив им, что деньги эти — их собственные, она старалась расположить детей так, чтобы они раздавали эти деньги ради Христа. Она говорила детям, что все, что есть у человека, принадлежит не ему, а вверено от Бога, о всем взыщется ответ.

Сестра Георгия жила недолго, — скоро он остался один у своей матери, предметом ее неусыпных забот. Георгий всегда сопровождал мать свою в церковь и, по возвращении, она спрашивала его, какое чтение из апостола и Евангелия было в церкви, причем объясняла не понятное им; если он был невнимателен в церкви, она ставила его на поклонны и не позволяла обедать с собою.

С наступлением отрочества мать пригласила к себе наставников, — но продолжала сама руководить им. Он учился хорошо, в поведении был тих и послушен и любил уединение. Игр со сверстни-

ками избегал, читал священные книги, и в праздничные дни, вернувшись из церкви, старался, прежде чем идти к столу, найти время для размышления.

Так прошли годы воспитания Георгия. Наступила юность: ему исполнилось 18 лет. Мать не решилась держать его долее при себе, когда его звал долг дворянской службы. С великой грустью, хотя и с надеждой, что заложенными в душе началами сын ее достаточно укреплен против соблазна мира, она отпустила его в военную службу. Прощаясь с сыном, мать чувствовала, что более с ним не увидится, и потому разлука казалась еще тяжелее. Заклиная Георгия остаться верным учению Христову, мать сказала ему: «Исполнив назначение мое здесь, на земле, я скоро отойду к родителю твоему. Утешаюсь несомненною надеждою, что, по благодати Божией, ты по конец жизни пребудешь тверд в вере и учении Христа Спасителя. Помни, что это единственный путь, которым мы можем соединиться в вечности».

Георгий поступил в Лубенский гусарский полк юнкером; вскоре за тем он получил известие о кончине матери и остался совершенно одиноким. По производстве в корнеты, он был переведен в Казанский драгунский полк. Находясь на службе, Георгий не изменил привычек своей юности и твердо удалялся от таких развлечений, которых не мог одобрить. Несмотря на такую самостоятельность среди товарищей, он был ими ценен, как впоследствии рассказывал его начальник, генерал Кологривов.

В свободное время Георгий старался уединяться, читал Священное Писание, углубляясь в размышления. Ночью он любил ходить за город, на кладбище, и там думал о суетности быстро преходящей человеческой жизни. Тогда находило на него молитвенное настроение, которому он отдавался. Он отыскивал благочестивых людей и в беседах с ними искал поучения. Так прошли десять лет его службы.

Духовное воодушевление, начавшееся с детства, охватывало Георгия все сильнее и сильнее; мирские обязанности, вынужденные отношения с людьми сильно тяготили его; новая жизнь, проникнутая одним духом и одной мыслью о Боге, звала его к себе, и в 1818 г. Георгий, с чином поручика, оставил службу.

7 сентября 1818 г., накануне праздника Рождества Пресвятой Богородицы, Георгий прибыл в Задонскую обитель и вступил в нее послушником. Ему было двадцать девять лет.

С великой ревностью исполнял он обеты и послушания, находясь в постоянной молитве, трудах и посте. Особенно старался он соблюдать безмолвие; в храме он не только не говорил, но и не отвечал на вопросы, так что некоторые в посмешище называли его немым.

Однажды настоятель монастыря, стоя за обедней в алтаре, упомянул о Георгии одному полковнику, которому хотелось видеть его, и, по просьбе гостя, настоятель послал за Георгием, отправлявшим в то время послушание у свечного ящика: за-

тем объяснил ему, что полковник хочет с ним познакомиться.

Но послушник упал в ноги своему начальнику и со слезами сказал: «Прости меня, отче. Я пришел сюда плакать о грехах моих. В святилище Божию, одержимый страхом, я не осмеливаюсь говорить праздное во вред душе моей».

Один старый монах, который не знал еще Георгия, встретив его, спросил, может ли он нарубить ему дров. Георгий немедленно взял топор, сказав только: «Благословите», — и принялся за работу. Но непривычное дело не спорилось. Монах слышал долго звук топора, а выйдя на крыльцо, увидел, что дров почти еще нет. Посмотрев еще на Георгия, монах догадался и сказал: «Ты, видно, из дворян, что не умеешь владеть топором; уморился понапрасну. Оставь». Георгий поклонился в пояс и пошел к себе.

С первым ударом колокола поспешая в церковь и с горящим сердцем стоя во время службы, Георгий скорбел, когда некоторые из присутствующих своею рассеянностью мешали ему углубиться. Со слезами просил он у Бога, когда возвращался в келию, исправить нерадивых. Эти обстоятельства навели его на мысль перейти в другое место. Не решаясь открыться никому в монастыре, Георгий пошел к отцу Иоанну, Елецкому священнику, которого многие уважали. Скрывая свои добродетели, о. Иоанн носил подвиг юродства — жил в чулане, ночевал в притворе. Отец Иоанн, раньше не выдавший Георгия, выбежал к нему на крыльцо и сказал: «А я, брат, сейчас только отслужил моле-

бен со звоном Пресвятой Богородице. Она не велит монахам давать наставления, особенно смущенным и хотящим оставить свой монастырь. Ступай, брат, ступай! У вас есть схимник Агапит. Он тебе скажет, что делать». Тут он запел «Святым Духом всяка душа живится», — и спрятался в свой чулан.

По совету схимника, Георгий остался в Задонске. Вскоре он заболел; недуг длился полгода. Придя после болезни в церковь, он опять был повергнут в великую скорбь неблагоговением предстоявших.

Приблизительно через год по вступлении в монастырь, Георгий затворился в тесной, самой худшей келий. Она была каменная, закрыта со всех сторон и в летнее время в ней был очень тяжелый воздух. Зимой же она промерзала. Терпя в этом жилье тесноту, холод и удушливость, испытывая недоброжелательство приставленных к нему келейных, которых обязанность состояла лишь в подаче пищи, что они исполняли неохотно, — Георгий начал жестокую жизнь.

Вот дневное правило его: ночью — полунощница, помянник, поклоны с молитвой Иисусовой, поклоны Богородице и Ангелу Хранителю, канон всем Святым, чтение трех кафизм, чтение жития дневных Святых, с выписками, — *утренние* молитвы — утреня, часы, послед. изобразительных, акафист Иисусу Христу, Апостол и Евангелие по главе, книги — Благовестник, Камень веры, Толкование Деяний Апостолов по 10 листов, акафист Богородице, канон Предтече и св. великомученику Георгию,

чтение Духовного Сокровища творений Тихона Задонского, канон покаянный Иисусу Христу, канон молебный Божией Матери, канон Небесным Силам Бесплотным, чтение творений Василия Великого и Григория Богослова, — *вечерние* — 12 псалмов, молитвы на сон грядущий, поклоны.

Ложился Георгий очень редко, несколько суток проводил без сна, а, изнемогши, отдыхал недолго, сидя на стуле, до утреннего благовеста; одежду он носил до обветшания ее, пищу принимал не ежедневно, и вечером. Мера была — на два дня пятикопеечная булка и две кружки воды с уксусом. Иконы были единственным украшением келий.

Умножая свои труды, Георгий выкопал под полом глубокую пещеру, и в ней уединялся на день, так как тогда мимо келий ходили и нарушали тишину. В келию Георгия никто не входил; на запирочке, которую он клал в небольшом окошке, он означал, что ему требуется. После пятилетнего пребывания в этой келии, по убеждению настоятеля, он перешел в деревянную, более просторную. В это время Георгий походил лишь на тень живого человека. Покинутую им келию Георгий всегда вспоминал с сожалением.

В новой келии половину помещения он отделил для келейников; теперь он иногда отпирал двери лицам, искавшим духовного назидания.

И после пятилетних усиленных трудов невидимая тяжелая брань не оставляла подвижника в покое... Когда находило на него состояние сухости душевной, он старался оживить душу горячими слезами. При нападке лености, презирая страда-

ния плоти, он обливался холодной водой или ночью, обнажившись, бросался в снег; возлагал на себя вериги, и некоторые слова дают предполагать, что он в известных случаях надевал пояс из проволоки с острыми шпильками.

Кроме внутренней борьбы, много терпел подвижник от великих осуждений, которым подвергали его многие, не понимавшие его, от зависти и наговоров. Но о таких людях он говорил: «Они мне благодетели; милостивым сотворят мне Владыку Господа моего и отверзнут мне врата вечного блаженства по гласу евангельскому: *Блажени есте, егда поносят вам...* Боже, помилуй их!»

Скромный во всем, особенно строго держал себя Георгий при других. Тогда он не позволял себе даже облокотиться.

Келию свою Георгий содержал в величайшем порядке. У дверей коридора стоял гроб без крышки, далее шли небольшие сени, в которых следовало произнести краткую молитву. Отклик Георгия «Аминь» — означал позволение войти. В одном углу келий стояла крышка гроба, на стене образ Св. Троицы с неугасимой лампадой; по стенам скамьи, разделенные столиками; на полу рогожка вместо кровати; в каморке — книги.

Большим праздником для затворника было, когда приносили к нему, для совершения молебна, чудотворную икону Владимирскую. В келии было много икон, и некоторые осуждали это как роскошь. Свою убогую обстановку и сам Георгий считал роскошью и говорил: «Как я засорил свою ке-

лию, как стал жить роскошно. Осмотрись, Георгий, так ли тебе надо поступать!»

Когда кто входил, Георгий, вместе с вошедшим, клал три земные поклона, прикладывался с ними (поклонами) ко кресту и Евангелию, лежавшему на столе, и затем, после взаимного поклона в ноги, давал братское лобзание. Затем — беседа.

Многие передавали Георгию деньги, чтоб он наделил ими от себя бедных, но он принимал не от всех. Некоторые же вещи приказывал сжигать, провидя, вероятно, нечистоту побуждений принесших. Точно так же, когда, при конце жизни, он употреблял несколько улучшенную пищу и некоторые посылали ему от своего усердия — он иногда приказывал выбросить кое-что, как нечистое. Больше всего радовали его простые сухари, принесенные простолюдинами, и он говорил: «Как вкусны, как услаждены усердием!»

Наружность затворника была такова: привлекательное лицо, истощенное постом и молитвой; глаза, от слез тусклые, но пронизательные, высокий рост, красивый стан, благородная осанка и приемы человека хорошего общества.

Много случаев подтверждают, что Георгий имел дар прозорливости. Когда некоторые из братии, нуждаясь в совете, не смели обратиться к нему, он иногда посылал неожиданно просить их к себе. От тех же, которые по любопытству искали его, — не выдав еще их, уклонялся.

Своими речами он часто отвечал на внутренние, еще не высказанные запросы приходящего.

Многие писали затворнику письма, и он некоторые сжигал не распечатывая, зная, что такие письма с лукавством и лестью; другие же истинно радовали его.

Когда стучались к нему посетители, он знал, с каким духом кто приходит. Часто называл своим келейным знакомых лиц, говоря: «Как замедлили они прибытием к гробу преосв. Тихона». Такое замечание было всегда верным известием об их скором приезде. Иногда, провидя, что кто-либо из знакомых его страждет, затворник посылал утешительные письма. Предупреждал также он некоторых о близкой смерти, увещевая принести покаяние.

Вот переданный самим затворником случай духовного единения с ним великого Саровского старца Серафима. Около двух лет боролся Георгий с помыслом — перейти в другой монастырь, так как письма и посетители развлекали его.

Однажды келейный докладывает, что странник из Сарова принес от о. Серафима Георгию поклон и благословение и имеет сказать несколько слов наедине. Странник вошел и сказал: «Отец Серафим приказал тебе сказать, стыдно, столько лет сидевши в затворе, побеждаться такими вражескими помыслами, чтобы оставить свое место. Никуда не ходи. Пресвятая Богородица велит тебе здесь оставаться». Странник тотчас же вышел, оставив Георгия в изумлении, так как он никогда не видал и не писал отцу Серафиму. Опомнившись, он велел вернуть странника, но его нигде не могли отыскать.

Нарушение затвора ради пользы приходивших тяготило Георгия. Пробыв наедине в келии несколько дней подряд, он выходил с лицом, сиявшим радостью, и говорил келейным: «В каком я находился утешении; желал бы все дни посвятить уединению, но жаль оставить вас!»

Между тем, он был тайно пострижен в монашество — когда, неизвестно — с именем *Стратоника*.

Время кончины было открыто Георгию в сновидении. Он видел палаты неизъяснимой красоты, а два мужа указали ему, что эти палаты, кровля которых не была еще довершена, приготовлены для него. К этому времени относятся два письма его к преосв. Антонию Воронежскому и г-же Колычевой, глубоко чтившей затворника.

I

«Десять раз солнце круг свой совершило со времени вступления Вашего на Воронежскую епархию, и десять лет минуло как вчерашний день, как минутный сон. Дел же и слов свидетель — один Бог. Вашему Высокопреосвященству уже обычно предлагать труды к трудам и сносить при помощи Божией, покудова угодно всеисполняющему Провидению, в нем и вечный покой.

После всех приносимых и оконченных поздравлений с праздниками Рождества Христова, Нового года и святого Богоявления Господня, последнее уже поздравление Вашему Высокопреосвященству приносит последний и непотребный раб, прося святых молитв и благословения, повергающийся

в любовь Владыки, достойный осуждения и вечной муки, грешный Георгий».

8 января, 1836 г.

II

«...Вы можете посетить только гроб мой. Он дождется вашего сердца; хотя и далеко увлечены вы в море, но есть надежда, что сокрушенный корабль ваш достигнет мирного пристанища. Когда вы будете над моей могилой, то вспомните мою к вам искренность, что я уснул в чаянии воскресения мертвых и жизни будущего века. Ваше о мне воспоминание не останется тщетно пред Господом».

Георгий заболел к концу января. Болезнь выразилась в сильном поражении груди и в опухоли ног. С великим терпением он переносил тяжелые страдания, не давал себе послаблений, и только при изнеможении подпирался локтем. Потом началась глухота, но 23 апреля, в день именин затворника, в ту минуту, как иеромонах благословил трапезу, устроенную затворником в последний раз для нищих (в количестве тысячи), его слух разрешился, и он весь почувствовал себя хорошо. В тот же день посетил его Казанский архиепископ Филарет (впоследствии митрополит Киевский), которому он рассказал о случившемся.

Через три дня Георгий опять занемог. Он исповедовался, приобщился, особоровался и пребывал в молитве.

Келейнику, видевшему окончательное изнеможение подвижника, хотелось просить его позволе-

ния, чтоб списали с него портрет, но не осмеливался. По прозорливости своей, ведая мысли его, Георгий открыл, что в доме Колычевых есть его портрет, о чем другим никому неизвестно, и что он, по смерти, разрешает делать снимки.

Кроме того, просил Георгий иконы его раздать лицам, заботившимся о нем, и чтоб поминали они его милостынею.

Совершенно ослабевая, он был бодр духом, для отдыха приклонялся на короткое время грудью к столу; сидя против икон, он совершал свое псалтирное правило. 24 мая он был особенно слаб, но исполнил свое ночное правило.

После ранней обедни он был найден бездыханным, перед образом всех Святых и Страшного Суда, припадшим к земле. Лицо было как живое, пальцы правой руки, сложенные крестным знаменiem, прикасались к челу.

Это было в понедельник, 25 мая 1836 г., в седьмом часу пополуночи, на сорок седьмом году жизни Георгия, после семнадцатилетнего его затвора.

(Е. Поселянин. «Русские подвижники XIX века»).

ЖИЗНЬ БЛАЖЕННОГО СТАРЦА, МОНАХА ОТЦА НИКИТЫ

Никита был уроженец г. Орла. Имея особенное стремление к благочестию, он все свое время посвящал чтению Св. Писания и житий святых, питал чувство благоговения к великим подвижникам, горел любовью к их подвигам, и часто посещал места, бывшие свидетелями трудов их и горестей,

орошенные слезами их и потом. Это возбудило в нем непреодолимое желание последовать образу их жизни. Итак, Никита, носясь по волнам житейского моря, проливал горькие слезы раскаяния и умиления пред всечестным образом Владычицы нашей Богородицы и поручал себя многомощному Ее покровительству. В один день удалился он из дому родительского и пошел искать себе тихого и безмолвного пристанища в дремучих брянских лесах, с намерением начать там жизнь пустынно-ческую. Вошедши в чащу леса, стал он на молитву, изливая горькие слезы из глубины сердца и умолял Господа призреть на него и научить его тому, что угодно святой воле Божией. После молитвы построил он себе малую келию на пригорке и ископал колодезь у самой подошвы пригорка, в двух верстах от монастыря, а от дороги, пролегающей в город Карачев, на четверть версты влево. Здесь-то Никита начал подвизаться в молитве и богомыслии, проливая источники слез о разорении внутреннего своего Иерусалима. Пребывая неисходно в молчании, посте и бдении, не заботясь ни о чем житейском, не сея и не пожиная, он питался одним ржаным хлебом с водою и квасом, каковую пищу испрашивал себе в обители раз в неделю. Когда же обитель перестала давать ему хлеб и прочее, тогда он принужден был в нищенском образе испрашивать себе пропитание у прохожих. Никита обыкновенно выносил корзинку на дорогу и вешал ее там, где проходили странники в Белобережскую пустынь для поклонения иконе Матери Божией Троеручицы.

В настоящее время на месте подвигов Никиты существует только его колодезь, который в недавнее время вновь оправлен, и на нем водружен большой деревянный крест, с надписью: здесь подвизался убогий старец Никита, в конце 18-го столетия.

Однажды, по чувству сердечного влечения, вздумал я пройтись в лес, — и вот дорогою встречается со мною монах Авраамий. После взаимных приветствий я спросил его: «Далече ли ты, батюшка, ходил?» Он отвечал: «Да вот петлял где-то, а на обратном пути вздумал побывать на Никитином колодезе; теперь же хоть бы и в свою келью». — «Нет, батюшка, — низко поклонился я ему, — как тебе угодно, а уж вернешься и за святое послушание проводишь Меня до Никитина колодезя, у которого я только однажды и был». Старец улыбнулся и сказал: «Что делать с тобою! Видно, за послушание надо идти». Мы пошли.

Во время пути старец неумолчно рассказывал мне о блаженном Никите, о жизни и подвигах его, и так завлек меня своею беседой, что я и не заметил, как мы очутились у самого колодезя. С благоговением напились мы из него воды и, несколько поговоривши, я спросил его еще раз: «А что, батюшка, в первые годы поступления вашего в обитель, должно быть, тут было место непроходимое?» — «Да вот какое, отвечал мой собеседник: бывало, как придешь сюда на пригорок, да посмотришь в эту чащу леса, какая здесь страшная глушь, непроходимая топь, темнота, — так невольно замрет сердце и нападает на тебя страх». Потом ста-

рец, обратившись ко мне с важностью, спросил меня: «А знаешь ты то место, где была келия старца Никиты?» Я отвечал: «Не знаю». — «Вот здесь оно, здесь подвизался Никита; здесь и Сама Царица Небесная являлась ему. Посему это место я особенно чту; к этому колодезю братия приходят из обители пить воду и посмотреть на безотрадное местопребывание Никиты. Расположившись около этого колодца, они начинают с удивлением спрашивать друг друга: «Боже мой! Как он, батюшка, тут жил! Сколько тут нужно иметь необыкновенного терпения! Не боялся он ни воздушных бурь, ни страхований, ни воя волков, ни рева медведей; а как много страдал от здешних негостеприимных комаров, которых приступы испытывал почти все лето!» Если вы пожелаете посетить это место, то вас непременно встретят эти кровопийцы, победители львов, — встретят не тысячами, а целыми легионами».

Посему тело Никиты часто покрывалось ранами, а эти язвы вольных страданий растравляемы были жалами лесных оводов. Добровольный странник и страдалец самоотверженно пренебрегал мучением тела, ради ощущаемого им обильного утешения и преуспеяния в духовных своих подвигах. Бог милостиво призирает на смирение и труд Никиты и утешал его различно — то умилением сокрушенного сердца, то радостворным плачем, то очистительными слезами. Вышеупомянутый монах Авраамий рассказывал также о старце Никите, что он имел от Бога дар слез. Эта благодать действовала в нем особенно тогда, когда он

прочитывал положенное в Следованной псалтири слово св. Кирилла Александрийского о исходе души и о втором пришествии: «Боюсь смерти, яко горька ми есть, боюсь геены, зане бесконечна есть», и прочее. При чтении умилительного сего слова, чувствовал он внутреннее услаждение и умиление сердца, и тогда, повергаясь пред иконою на землю, неутешно рыдал и плакал горькими слезами.

Сколько времени провел здесь Никита, неизвестно: один Бог был зрителем сокровенного и безмолвного его жительства; и только вот что сообщил он другу своему, монаху Зосиме: в марте месяце его постигла недолговременная, но тяжкая болезнь, приведшая его в совершенное расслабление. Простершись на рогоже, лежал он без всякого движения. Вот, в день праздника благовещения Богородицы, Никита слышит звон колокола в обители, призывающих всех верных ко всеобщему бдению, чтобы благовестить им на земле радость велию, и хвалить с небом Матерь Божию. Душа его изнывала от скорби, что он не может встать с своего ложа и по долгу совершить свое правило. При этом пришло ему на мысль пропеть тропарь благовещению Богородицы, — и запел он монотонно: «Днесь спасения нашего главизна», и прочее, но — не мог кончить его. После сего, сколько он ни старался и ни побуждал себя допеть тропарь до конца, но все усилия его были тщетны, кончить тропарь был он не в состоянии. Наконец, заплакал Никита, и плакал долго горькими слезами. — И плач его проник небеса! Молитвенник еще не пре-

стал орошать лицо свое слезами, как вдруг является ему Богоматерь и кротким гласом спрашивает болящего: «О чем ты унываешь, старец?» Болящий устремился взором и мыслью к явившейся, и осмелился сам спросить Ее: «А Ты, матушка, кто такова и зачем изволила сюда пожаловать?» — «Я пришла помочь тебе, — отвечала ему Богоматерь, — допеть неоконченный тобою тропарь Мой. Теперь укрепись в своих силах и пой со Мною...» И вот когда земной ангел и небесный человек с Небожительницею допели тропарь — Богоматерь сделалась невидима. Неизъясним был восторг обрадованного Никиты! Он весь превратился в чувство глубочайшего благоговения и живейшей благодарности к Владычице.

С того времени Никита непрестанно имел в уме и сердце таинственное видение Божией Матери, прилежно молился Ей, чтобы Она во всей его жизни была ему заступницей и путеводительницей.

После сего таинственного посещения Божией Матери Никита недолго наслаждался скромным пребыванием в этой пустыне. Великий подвиг пустынного безмолвия и труженнической жизни его в молитве подвергся искушению.

Ненавистник добра, враг его давно изыскивал случай изгнать подвижника из сего места. И вот, наконец, явилось орудие вражеской злобы в лице одного недоброжелательного человека, который сжег келию старца до основания. О. Никита в это время находился в Белобережской обители и, возвращаясь оттуда в свою пустыню, увидел, что келия его сожжена и что от нее осталось лишь не-

сколько горстей пепла. Опечаленный и плачущий, с неопишуемою горестью сел он при пепелище своей келии на пригорке, и неутешно заливался слезами, почитая себя многосогрешившим пред Богом и заслужившим праведный гнев Его. Наконец, оградившись знаменiem креста и предав себя воле Божией, с замирающим сердцем простился он с пустынею. Приходит о. Никита в Белобережскую обитель, смиренно припадает к стопам настоятеля и просит принять его в число братства. Настоятель принял его с распростертыми объятиями и дал ему келию.

Подробности новонаачального вступления в монашество Никиты остались мало известными: смиренный подвижник не любил вспоминать и оглашать трудов своих, и не много сообщил о них впоследствии другу своему, монаху Зосиме, которому еще во время пребывания своего в пустыни отдал он на сохранение все свои деньги, 80 коп. ассигн. По вступлении в обитель, Никита начал подвизаться в молитве, богомыслии и молчании; вдал себя в совершенное повиновение старцам и служил им в смирении и кротости, с полным самоотвержением; в церковь ходил неупустительно и стоял в ней с великим вниманием, равно как бывал на всех общих послушаниях, которые всегда исполнял благоговейно и чинно. Однажды, во время всенощного бдения, Никита стоял на своем месте в церкви, при свечах, и с сокрушением сердца молился пред иконою Богоматери Троеручицы. Во время сего молитвенного подвига вдруг упал он на церковный помост и, оградив себя знаменiem

креста, сказал: «Вот как наши! Стали уже валиться!»

Блаженный Никита был расположен искренно к аскетической жизни, и для него были предпочтительнее те места, где более удобств и возможности к неукоризненному ношению иноческого креста. А где чаще молитва, если не в глубоком уединении, которое не развлекает глаз, не тревожит слуха и не возмущает мысли?

Старец Никита, во все годы своего пребывания в обители, скорбел о лишении прежнего своего безмолвия и с горячим молением сердца прибегал к Богу, чтобы Он даровал ему возможность к возобновлению того молитвенного подвига, в чем и был утешен. Слыша от старцев рассказы о жизни и подвигах отшельников в смоленских лесах, и о пустынном расположении их келий, наподобие маленьких скитов, также о простоте и согласии между ними, о самом виде благолепных старцев, сияющих красотою внутреннего благообразия, о силе и сладости кроткого их слова, Никита почувствовал необыкновенное влечение к образу и месту их жительства. Предаваясь этому влечению души, он положил твердое намерение немедленно отправиться туда.

Неутомимый старец о. Никита имел, в Смоленской губернии в Рославльских лесах близ села Екимович, единомысленного духовного брата, монаха о. Досифея, и в одно время просил его прийти к нему в Белобережскую пустынь. Досифей выпросил у одного крестьянина лошадку, действительно отправился к другу. Это было по первозимью

в 1792 году. Прибыв в пустынь, он нашел старца в болезненном состоянии. Блаженный старец, по взаимном приветствии с Досифеем, открыл ему давнее свое желание — перейти к нему, и просил взять его с собою, чтобы последние дни своей жизни он мог провести в пустынном уединении от всех, и там почить о Господе. О. Досифей, сострадая его болезни и видя, как скудна его одежда, предлагал ему провести настоящую зиму здесь, и обещался приехать за ним летом, но старец Никита, как бы предвидя (а быть может, и в самом деле провидел), что кончина его скоро (последует, ни под каким предлогом не соглашался оставаться здесь долее. Тогда о. Досифей, с благословения настоятеля строителя Иринарха, взял с собою Никиту и повез в свою пустынь, которая была около двухсот верст от Белобережской пустыни. В продолжении этого зимнего пути, по недостатку в теплой одежде, болезнь старца усугубилась. О. Досифей должен был укрывать своего больного соломой и сеном и защищать от ветра и снега рогожею, ибо они были нестяжательны и богатели только нищетою. Наконец, однако, он, хотя и с немалым трудом, на плохой крестьянской лошадке привез старца Никиту в пустынную свою келию. Но здесь Никита прожил не более полугода и почил о Господе 29 марта 1793 года. О. Досифей усердно послужил блаженному старцу до самой кончины его.

Омыв бездыханное тело почившего Никиты, более своими слезами, чем водою, и воздав ему достойное уважение, о. Досифей положил его в пчелиный улей (за неимением гроба). В этом

улье старец Никита возлежал благолепно и сиял целомудренной чистотой, изможденный в трудах старческой плоти. Для отпевания тела был приглашен священник, который, по принятому обычаю Церкви, погреб его подле келии, где обитал он до своей кончины.

В погребении его участвовали и некоторые почитенные старцы, нарочно пришедшие проститься с незабвенным подвижником, блаженным Никитою. Ангельская его непорочность и иноческая скромность надолго остались в их памяти.

Пустынная келия сих старцев находилась в овраге как бы на каком маленьком острове, — окруженная со всех сторон горами и непроходимыми густыми лесами; а внизу около этого обиталища была непроходимая топь, особенно в весеннее время. Но такое местоположение весьма утешало старцев.

По прошествии шести или семи лет после погребения старца Никиты, о. Досифею было какое-то откровение — откопать гроб старца и перенести его на другое возвышенное место — что и было им выполнено, и тогда открылось, что гроб старца был цел, одежда на нем цела, и сам он нетленен, только на одной ноге *ходачок*, вроде башмачка, — сплетенный из липовых лык, истлел, а на другой — такой же — уцелел. Замечательно, что *ходачок*, сплетенный самим Никитою, остался невредимым, а другой, которого за болезнью не мог он сплести сам, превратился в прах. При открытии гроба находился монах Арсений. Он пожелал обменяться с покойным своими четками, и когда

приступил к гробу, чтобы взять их, к немалому своему изумлению, никак не мог. Наконец монах Арсений, заметив, что старец Никита не благоволит ему отдать свои четки, оставил свою дерзость.

На обряд нового погребения тела был призван священник. Но, как блаженный старец о. Никита был прежде погребен в пчелином улье, то старцы, желая почтить подвижника обыкновенным гробом, положили его в новом гробе и, отслужив по нем панихиду, с подобающей честью похоронили на показанном месте.

О. Досифей весьма благоговел к блаженному своему старцу, о. Никите, и память его чтит ежегодно в светлую неделю св. Христовой Пасхи. На могилу его приглашаемы были все пустынные старцы, которые пели канон св. Пасхи, и обычно поминали во блаженной памяти скончавшегося!

(«Странник», 1865 г., май).

НЕ ОТ МИРА СЕГО

Уже второй день, как мы бродим по вековому бору. Второй день шумит под нашими ногами прошлогодняя хвоя да мягкий опавший лист. Обступила нас со всех сторон лесная чаща. Темно-зеленым шатром сомкнулись над нами головы лесных великанов. Выползли на дорогу корявые корни дубов, протянули свои ветви кусты волчьего лыка да ломкой крушины.

Лес заполнил весь край. Покрывл он и долины, разбежался по скатам песчаных пологих холмов и подступил к песчаным берегам и узким отмелям Днепра. Угрюм и неприветлив этот край Полесья,

весь поросший вековыми лесами да окутанный синими туманами бесконечных вековых болот.

Теперь идет рядом со мной низкорослый крестьянин с желтоватой, точно мочальной, бородкой, в худых липовых лаптях, рваной свитке, с печатью крайнего уныния и подавленности на землистом лице.

Беден народ, бедны и убоги лесные села. На небольшой поляне-поруби ютится жалкий, серый поселок Сосновичи.

За селом, в расстоянии не более трех верст, на берегу болотистой речки Перелесянки, строит небольшая деревянная хата местного знахаря и пасечника, деда Карпа. Срублена она из толстых неотесанных сосновых бревен. Крепко закупорены щели желтым лесным мхом, а крыша покрыта снопами очерета и соломы. Несколько вишневых деревьев склонили свои ветви на самую крышу, растут перед окнами невысокие раскидистые кусты красной смородины и крыжовника. За хатой среди поросли молодого березняка раскиданы деревянные пни-ульи, над которыми с непрерывным жужжанием носятся целые тучи пчел.

Был жгучий полдень, когда мы пришли на пасеку. Дед Карп сидел в тени под хатой и сосредоточенно чинил дырявый бредень. Небольшая рыжая собачонка, с лохматой, как войлок, шерстью, с громким и сердитым лаем бросилась нам навстречу. Дед кликнул ее назад и, заслонив глаза ладонью, пристально всматривался в гостей.

Мы подошли и поздоровались. Передо мною сидел высокий старик с ясными и кроткими голубы-

ми глазами и седой длинной бородой. Белая посконная рубаха лежала длинными складками на его худом теле, на поясе болтался деревянный гребень и два ключа какой-то странной формы. На загорелом, обветрившемся лице старика играла ясная, тихая улыбка.

— Пожалуйте, господин, в мою келью, что же стоять на солнце. Охотились, должно быть?

Дед бодро встал и широко открыл дверь хаты.

Мы вошли. В полутемных прохладных сенях стояли деревянные кадки, покрытые чистыми сосновыми досками, лежало несколько старых бредней, а на полках была расставлена глиняная посуда, как оказалось, — работы самого деда Карпа. Стены хаты были чисто выбелены известкой. В красном углу под образами стоял небольшой стол, покрытый камчатой скатертью, а по стенам были развешаны пучки сухих трав. Пахло душистым запахом липы и пряными цветами. Солнечный свет широким ярким снопом врывался в окошко, и под его блеском ярко горели вызолоченные венчики на иконах, блестели и переливались разноцветные стекла дешевой лампадки. Всюду веяло тишиной и миром.

Мы уселись на деревянной скамье, а дед принялся хлопотать над самоваром. На полке под образами лежали книги в старых, затасканных переплетах. Здесь были Евангелие и Библия на церковнославянском языке и старый крестный календарь 1872 года. Одна из страниц Библии была заложена обрезком красного кумача: очевидно, дед Карп смягчал свое одиночество чтением.

Не без особенного любопытства всматривался я в убогую обстановку сильного духом человека, о котором священник соседнего села говорил, как о человеке «не от мира сего».

О своей прежней жизни редко с кем-нибудь беседовал старый знахарь. Известно только было, что дед Карп когда-то был одним из самых богатых купцов - старообрядцев посада Ветки, Могилевской губернии. Вниз по Днепру до Киева и даже до Екатеринослава ходили его барки, нагруженные хлебом, а амбары и склады товара были и в Могилеве, и в Минске. Рассказывали, что у него были жена и сын, но давно умерли, что он роздал все свое богатство и пришел доживать век в лесу в одиночестве, как истый отшельник-монах. Дед не любил, когда его об этом спрашивали. «Что было, то прошло, назад уж не вернется, а жить уже, слава Богу, недолго», — говорил он особенно любопытным собеседникам и на этом прекращал разговор.

Окрестные жители знали его, как святого человека и знахаря, и со всеми своими нуждами стучались в его дверь. Придавит ли человека какое-нибудь безысходное семейное горе, заболит ли кто-нибудь в семье или просто захочется кому-нибудь отвести свою душу от ежедневных дразг — все они от мала до велика идут на пасеку. Дед лечит болезни настойками каких-то целебных трав, читает и толкует главы Евангелия, утешая тоскующих, дает всевозможные советы практической жизни...

Дед вошел, принес шипящий самовар, связку баранок и большую «посудину» душистого сотового меда. За чаем мы разговорились.

— Не скучно тебе жить здесь одному?

— Чего же скучать? Кругом благодать Божия. Лес шумит, птицы по зорькам перекликаются. Всякая трава по-своему шепчет и силу свою имеет. Ты, барин, только вслушайся да пойми, что всякая тварь говорит, и сердце твое, как птица, заколышется да забьется. Красота Божия в лесу!

— Да, летом хорошо, но зимой ведь жутко и скучно. Я думаю, что твою келью с крышей заносит.

— Заносит-то оно заносит, на все воля Божия, а только и зимой хорошо. Зайчишки к самой двери подбегают, я им хлебные корочки да капустку бросаю. Снегири краснобокие на вишнях посвистывают, синицы стрекочут. Что зимой, что летом — одинакова благодать да красота Божия. Вам, горожанам, не понять этого. Отступил от Господа человек и ни твари Божией, ни брата своего присного не любит. Что, разве не правду говорю?

— Правда, — согласился я, и разговор на минуту замаялся. — Ну, а чем же ты живешь, дед? Деньжонки свои имеешь, что ли? — спросил я снова.

— Прежде имел, да большой от них соблазн и погибель. Нет теперь у меня ничего. Вот мед продаю, грибы сухие в город посылаю. У Господа Бога милости много, на всех хватает. Грех запасы чинить. Смерть, что рубаха к телу, близка. Не веси ни дня, ни часа. Богатством да корыстью ни души не успокоишь, ни жизни вечной не стяжешь. «Скорей верблюд пройдет в игольное ушко, чем внидет богач в царствие Божие». Был я богат, да миловал меня Бог от богатства.

— А в церковь часто ходишь? Тебе, кажись, очень далеко?

— Нет, недалече. Лесом-то дорога не утомительна. Идешь, смотришь да слушаешь. Укрепляет пока Господь. А, может, как стар совсем стану, ближе к селу да к погосту переберусь.

— А давно ты здесь живешь?

— Да годов двадцать, а, может, и всех двадцать пять наберется. Прежде я жил за Днепром, в Черниговской губернии; тоже пасеку держал, но и пчела там не пошла, и народ озорной. Все нет-нет, да и норовит тебе, чем попало, досадить. Креста-то на груди не читит.

— А сколько тебе лет?

— Мне-то? Восьмой десяток к концу подходит. Дед задумался. Солнце клонилось к западу. Его косые лучи ярким красноватым светом скользили по стволам сосен, золотом горели развесистые вершины высоких берез. Я поблагодарил знахаря за гостеприимство и стал прощаться. Он не удерживал.

— Будешь в лесу, заходи снова отдохнуть, чайку попить, побеседовать.

Мы вышли из пасеки. Лес уже собирался на отдых. Угасал розовый свет на его вершинах, сонно посвистывали мухоловки да зяблики, слышнее разносился в бодром освежающем воздухе смолистый запах сосны и грибов.

Тихо опускалась чудная ночь, тихо окутывала она полным непроницаемых тайн покровом громады деревьев-великанов и сеяла повсюду чарующие

сны и безмятежные грезы. И вспомнились мне слова только что покинутого деда:

— Пойми, что говорит тебе всякая тварь, что шепчет тебе лес, и не будет в сердце твоём ни уныния, ни злобы.

(В. Васильев. «Русский Паломник», 1907 г., № 24).

ОБЕЩАНИЯ БОГУ ИСПОЛНЯЙ

Проезжая в город Т. по делам службы на пароходе, я встретился с одним монахом, который сидел на скамейке у борта парохода, читая какую-то книгу. Это был мужчина лет сорока, высокого роста, с голубыми глазами; белокурые кудрявые волосы падали длинными прядями на его плечи. Когда я подошел к нему близко, он встал со скамейки и, подойдя ко мне, почтительно поклонился и сказал: «Благословите, отец духовный, меня, грешного инокка Валентина». Я благословил инокка.

— Откуда вы, отец, из какого монастыря? — спросил я.

— Я, — отвечал он, — Т-ской губернии, из Спасо-Преображенского монастыря.

— Куда же вы держите свой путь?

— Я проезжаю в город Е-ц для сбора пожертвований в пользу нашего монастыря, в котором в настоящее время строится каменный храм.

Я сел рядом с инокком на скамейку. Между нами завязался разговор; я расспрашивал инокка об их монастыре и житие монастырской братии, а также и о его путешествиях.

После некоторого молчания я спросил инок: «Извините меня за нескромный вопрос: «Вы давно уже приняли монашество?»

— Уже десять лет, — отвечал инок. — Скажу вам откровенно, что со мною в жизни случилось несчастье: я лишился зрения и был слепцом два года, но *дивны дела Господа!* Всемилосердый Господь, по Своей неизреченной милости ко мне, грешному, исцелил меня от моей слепоты чудесным образом. — При этих словах инок благоговейно оградил себя крестным знамением. Наступило непродолжительное молчание.

— Не будете ли вы так добры, чтобы рассказать мне о дивном явлении милосердия Божия к Вам? — спросил я инок.

— Отчего же не рассказать: *о делах Божиих объявлять похвально* (Тов. 12, 11), — сказал он. И вот какой рассказ я услышал, от него.

«Я уроженец, — говорил инок, — Т-ской губернии, Я-го уезда, села Барехатова. Отец мой был крестьянин. У родителей своих я был единственный сын; родители меня очень любили, особенно мать моя, которая, как говорится, души не чаяла во мне. На двадцать первом году моей жизни Господу угодно было испытать меня: я заболел глазами. Эта моя болезнь сильно опечалила родителей; отец мой был человек небогатый; он имел во мне хорошего помощника в своих крестьянских работах, а потому особенно сильно горевал по причине моей болезни. Несмотря на свою бедность он для излечения меня жертвовал последнюю трудовую копейку; я много лечился, но ни домашние, ни меди-

цинские средства не помогали. С течением времени, болезнь глаз моих все более и более усиливалась и наконец я ослеп. Это последовало чрез полгода от начала моей болезни. Потеряв совершенно зрение, я стал ходить ощупью и, от непривычки, спотыкался. Однажды мой отец дрожащим голосом спросил меня: «Вася (в мире мое имя было Василий), разве ты ничего не видишь?» Вместо ответа я заплакал, и отец мой не мог удержаться от слез: он зарыдал как младенец, а о бедной матери и ее чувствах и говорить нечего: она скорбела еще более отца». Инок замолк, на глазах его блеснули слезы.

Помолчав немного, он продолжал свой рассказ: «Тяжело было мое положение; грустные сменялись для меня дни и ночи. Не легче, не веселее было и моему бедному, убитому горем отцу. Бывало, он отправится на пашню или на покос — туда и я с ним; а теперь он всюду один — и работа не так стала спорится в его руках. Во время моей болезни отец мой сильно изменился: он сделался очень грустным и молчаливым. Придет, бывало, с работы, скажет слово-два, и замолчит. Я понимал, я чувствовал, что мое несчастье сильно поразило его. Однажды я один сидел в избе; чрез несколько минут в избу зашел отец, и, севши рядом со мною и положив свою руку на мое плечо, отец крепко задумался. Наступило молчание, которое нарушалось только тяжелыми вздохами моего убитого горем отца. Наконец я нарушил это тяжелое для обоих нас молчание. «Батюшка! — печально сказал я. — Ты все горюешь о мне? Зачем так? Слепота моя не

от нас, но от Бога, судьбы Которого для нас непостижимы. Припомни-ка, что священник-то нам говорил, когда был в нашем доме со св. иконами в дни св. Пасхи? Он говорил нам: «Не унывайте много, добрые люди, чтобы не дойти вам до ропота на Бога. Помните, что судьбы всеблагого и премудрого Промысла Божия непостижимы для нашего ограниченного человеческого разума». И слово Божие говорит: *Пути Его кто постигнет? Как ветер, котораго человек не может видеть, — так и большая часть дел Его сокрыты* (Сир. 16, 21) от нас. Мы не знаем и не дано нам знать, почему Господь посылает нам ту или другую скорбь и несчастье. Конечно, безопаснее думать, что они посылаются нам по грехам нашим. Помнишь, батюшка, как наш добрый и сердобольный о. Василий, обратившись ко мне и положив свою руку на мою голову, сказал истинно отечески: «Не скорби много, добрый Вася, о своем несчастье, — не доходи до отчаяния, которое может прогневить милосердного Отца небесного; всегда и твердо помни слова Премудрого: *Наказания Господня, сын мой, не отвергай, и не тяготись обличением Его; ибо кого любит Господь, того наказывает и благоволит к тому, как отец к сыну своему* (Притч. 3, 11–12); не скорби много о своем несчастье, но безропотно преклонись пред волею Божиею, так как *Невозможно исследовать дивных дел Господа* (Сир. 18, 5). Сказав эти слова и оградив меня крестом, который о. Василий держал в своих руках, он пошел со св. иконами из нашей избы; и ты помнишь как утешили меня тогда эти отеческие слова о. Василия?» — «Так-то так, Вася, да как мы

жить-то будем; мать твоя от горя, слез, непосильных трудов и забот совсем сгорбилась, да и я сам уже с трудом начинаю ходить и вести свое хозяйство». Отец мой замолчал. Я чувствовал ужасную тоску в своем сердце, но что я мог сказать в утешение моему бедному отцу? Посидев печально несколько времени около меня, отец встал и тихо вышел из избы, а я, оставшись один, пал на колени перед иконою и зарыдал как малый ребенок...» Инок замолк; на глазах его навернулись слезы, и он, низко опустив свою голову на грудь, задумался.

«Прошло времени более года, — сказал инок после непродолжительного молчания, — как я лишился зрения. Однажды я заснул с печальными и скорбными думами на сердце. Я увидел во сне некоего старца, который, подошедши ко мне и оградив меня крестным знаменiem, сказал: «Что ты так много скорбишь о своем несчастье? Это грешно пред Богом; знай, что Он не по изволению сердца Своего наказывает и огорчает сынов человеческих (Плач Иер. 3, 33), а для их же нравственной пользы, часто Он, как милосердый Отец, разрушая счастье человека на земле, устрояет его для него там — на небе. Почему знать, быть может, и над тобою повторится приговор Господа: *Ни сей согреши, ни родители его.., но да явятся дела Божия на нем!* (Ин. 9, 3). Потом старец, помолчав и посмотрев на меня строго — отечески, сказал: *Что обещал, исполни, так как Господь не благоволит* (Екк. 5, 3) к неисполняющим данного Ему обещания. Смотри, *Что обещал, исполни*, строго повторил старец, и, оградив меня крестным знаменiem, он исчез. Увидев

этот сон, я проснулся; этот сон произвел на меня глубокое впечатление; я долго размышлял о виденном мною сне, а особенно о словах, сказанных старцем: *Что обещал, исполни*, — и что же? Я вспомнил, что я, купаясь с товарищами три года тому назад, чуть не утонул и, будучи спасен от потопления, дал обещание сходить в Верхотурье на поклонение св. мощам праведного Симеона Верхотурского, но потом забыл о своем обещании — не исполнил его. Вспомнивши это, я затрепетал... Чрез две недели я отправился с родным дядею в Верхотурье. Что я чувствовал, молясь пред св. мощами угодника Божия, это высказать невозможно, но можно только чувствовать. Я еще в Верхотурье почувствовал некоторое облегчение своей болезни — ослабление моей слепоты, но я не говорил об этом своему дяде, который был со мною. Мы с ним благополучно вернулись домой. Однажды утром, вставши на молитву, я вдруг, к моей радости, ясно увидел св. икону Спасителя, пред которою молился; от душевной радости я затрепетал. Я вскричал: «Родители, я прозрел!» Родители также преклонили колени со мною пред св. иконою и в порыве душевной радости плакали навзрыд... Я был счастлив: я прозрел!»

Помолчав немного и отерев слезы, инок продолжал: «Я тут же при родителях дал обещание Богу поступить в монашество, чтобы до конца жизни молить Господа и благодарить Его, Всемилосердного, за дарованное мне исцеление. Когда я совершенно выздоровел, то начал усердно помогать своему отцу в его хозяйственных трудах; вскоре наше

расстроенное хозяйство было общими силами и трудами приведено в порядок. Похоронив своих добрых родителей, умерших на одной неделе от тифа, который сильно тогда свирепствовал в нашем селе и окрестных деревнях, я поступил в число монастырской братии Спасо-Преображенского монастыря. Да, *дивны дела Божии!* — сказал инок, благоговейно ограждая себя крестным знамением, закончивши свой рассказ.

Прощаясь с иноком и благословляя его, я сердечно его благодарил за его назидательный рассказ об его дивном исцелении от слепоты.

(Свящ. Алексей Соболев.
«Кормчий», 1900 г., № 6).

ЕВФИМИЯ ГРИГОРЬЕВНА ПОПОВА

Евфимию Григорьевну Попову еще при жизни называли старицей, т. е. наставницей, проникнутой духом христианства, умевшей в этом духе руководить соприкасавшихся с нею лиц.

Родилась она в селе Каликине, Лебедянского уезда, Тамбовской губернии, в набожной семье одноплемянника. Кто дал ей духовное направление первых лет — неизвестно.

В раннем возрасте ничего отличавшего резко от других в ней не замечали. Но с четырнадцатого года она стала тайком уходить из дому, иногда на несколько дней, и проводила ночное время в молитве на церковной паперти. Стала она неукоснительно ходить ко всем службам в Каликинской церкви, держала суровый пост, иногда по два и по три дня не принимая вовсе пищи.

Убегая всяких сборищ, хороводов и ночных посиделок, она искала уединения и больше любила слушать, чем говорить. Держала она себя скромно, покорно, в словах была кратка и разумна, подолгу и часто молилась со слезами.

Родители ее не мешали дочери в ее наклонностях. Когда она достигла зрелого возраста, они выстроили ей у сельской церкви небольшую хижину. Здесь она стала жить и принимала к себе только отца и мать; они попеременно носили ей хлеб и воду. Душа Евфимии с такою силою устремилась в это время к Богу, что она не замечала почти нужд телесных, и даже зимою редко топила свою келью.

Через несколько лет этого добровольного затвора, из которого она выходила лишь в церковь, Евфимия приняла на себя труднейший подвиг христианской жизни — юродство Христа ради.

Она стала ходить по улицам своего родного села, являлась в дома, уличала крестьян в пороках и беспорядке, и иногда рассерженные правдою ее слов, бывшею не понутру крестьянам, — они брали ее, а иногда даже и били. Она спокойно выносила все, не жаловалась и прощала обидчиков.

Особенно пришлось ей натерпеться от волостного головы, которого она на народе обличала в развратной жизни. Он вытолкал ее из своей избы и с колом в руках преследовал ее побоями до самой ее кельи.

Людей же с мягким восприимчивым сердцем обличительные слова Евфимии удерживали и предохраняли от проступков.

Уже с первой поры подвижнической жизни действовавшей в Евфимии дар прозорливости проявился с особою силою во время случившегося в селе Каликине пожара.

Когда загорелся первый дом, на сельской колокольне ударили в набат, поднялся суматоха. Евфимия с посохом в руках вышла из своей хижины, и, бегая по селу в тревожном состоянии духа, останавливалась пред некоторыми домами и говорила: «Вот и этот дом сию минуту загорится: в нем живут грешники, Бога прогневляют и в грехах не каются».

Тотчас по воздуху неслись с пожара головни и дома эти сгорали, тогда как стоявшие рядом оставались целы.

Дойдя до избы своей близкой родственницы, стоявшей за воротами с грудным младенцем на руках, Евфимия указала и на этот дом, но прибавила, глядя на младенца: он невинен. У этого загоревшегося дома стояли скирды хлеба, и Евфимия, указав на меньший из них, сказала: «Этот останется для дитяти». И он, действительно, остался, тогда как прочие сгорели.

Когда, по окончании пожара, ее спросили, зачем она бегала по селу и сожгла несколько домов, она отвечала: «Я не помню, где была и что делала».

С 1808 г. до смерти Евфимия жила в Задонске. Ей выстроили уважавшие ее лица собственный дом, в котором с нею помещались сошедшиеся к ней для христианской жизни вдовы и девицы. Эта община занималась странноприимством бедных, и Евфимия была у них старшею.

Тут ее жизнь получила мирное направление. Она постоянно ходила в Задонский монастырь и всегда молилась усердно, и дома большую часть времени проводила в молитве. И она погружалась в такое высокое созерцание, что входящих к ней не замечала.

Она обращалась за советами и наставлениями к Илариону Троекуровскому. Он принимал ее с великим уважением и сам часто пользовался ее духовною опытностью, в ней искал совета и поддержки.

Когда Евфимия приходила к о. Илариону, он посылал ночевать ее в холодную комнату со словами: «Поди туда с Богом и там тепло будет!» — и, говорят, что она не чувствовала там холода.

И она также давала подвижнику советы, и, если он им не следовал, то впоследствии ему иногда приходилось раскаиваться. Он имел желание поступить в общежительную пустынь, она его отговорила, зная, что это не его призвание. Он настоял на своем, но вскоре должен был вернуться к прежним подвигам.

С таким же уважением относился к ней и задонский затворник Георгий, называвший ее всегда своею «духовною матерью».

В 1819 г. Георгий по назначению настоятеля исполнял в монастыре послушание у свечного ящика. Его душа, жаждавшая полного сосредоточения в Боге, искала совершенного уединения. Он задумал перейти в Соловки и со слезами молился, чтоб Господь открыл ему Свою волю. Однажды, после богослужения, Евфимия подошла к клиросу и, по-

давая Георгию, стоявшему у ящика с наклоненною головой, сказала: «Вот тебе четки, молись по ним, Царица Небесная приказала тебе жить в Задонской ее обители и никуда не переходить. Придет время, будешь сидеть в келье».

Вскоре Георгий тяжело заболел и полгода не выходил из кельи, а затем затворился в затворе.

Когда Георгий был уже в затворе, он оставил у себя только один образ, уступая распространенному в миру мнению, что излишество в иконах есть роскошь, несовместимая с затворничеством. Тогда Евфимия объяснила ему неосновательность этого мнения и советовала снова украсить келью иконами, укрепляя себя воспоминаниями о подвигах святых.

Высоко чтит Евфимию и юродивый Антоний Алексеевич, который благоговел перед ней и был при ней всегда тих.

Посетители странноприимной общины приносили иногда Евфимии деньги, но она редко их от кого принимала и отговаривалась: «Может быть, вам самим они нужны, а меня Господь пропитает».

Так говорила она не от избытка средств: часто она терпела крайнюю нужду, но ей была дорога добровольная нищета. Молодые келейницы роптали на нее за отказ принимать приношения, а она отвечала мудрыми, полными значения, словами: «Если желаете, сами вы принимайте приношения. А я стара и слаба, не в силах уже умолять Господа».

Жизнь Евфимии была долга.

За полгода она имела извещение о кончине. В тот же час — была полночь — она вышла из своей

молельни, собрала в одну комнату всех живших с нею сестер, и сказала им: «Господь наш Иисус Христос благоволил известить меня о скором моем отшествии, и потому я более не начальница вам. Пусть главной у вас будет сестра Анна Дмитриевна, кланяйтесь ей в ноги и целуйте ее руку», — и сама она первая подошла к ней и поклонилась.

Тело старицы слабело, но дух бодрствовал. За несколько дней до кончины над нею было совершено Таинство св. Елеосвящения, а затем Причащения. За причащением открылся ее слух, которого она давно по старости лишилась. Все время сохраняла она ясное сознание. В день смерти, вечером, встала с постели, позвала келейницу и просила налить в стакан св. воды.

Три раза перекрестившись, она при каждом крестном знамении пила св. воду. Потом сама опустилась на постель и тихо предала дух Богу. Это было 15 января 1860 года.

Она лежала три дня в гробу, как спящая, без всяких признаков разложения.

Тело ее, при громадном стечении народа, предано земле в часовне Задонского Богородицкого монастыря, рядом с затворником Георгием, в ряду других задонских подвижников.

(Е. Поселянин. «Русские подвижники XIX в.»).

СТАРЕЦ, ДОСТОЙНЫЙ ПОДРАЖАНИЯ

29-го ноября 1899 г., в селе Надеждине, оно же Куракино, Сердобского уезда, было совершено погребение старца, из ряда выдающегося, как вооб-

ще по христианской жизни, так, в частности, по своему усердию к приходскому храму. То был человек не «рода именитого» и не богач какой, а церковный сторож, Николаевский солдат из крестьян названного села, Иван Алексеевич Аленов. Биография его проста и коротка. В детстве он был сирота, проживал у своих дальних родственников, не имея нежной материнской ласки и строгого отцовского надзора. Однако в сердце его была искра Божия, и он не затерялся. Не за проступки большие, а просто за его одиночество, он был отдан в солдаты и «верою и правдою» прослужил 25 лет! Строгая военная школа выработала из него человека, для которого исполнение своих обязанностей было выше всего. Возвратившись с военной службы уже с почтенной сединой, Иван Алексеевич не нашел совершенно никакого приюта в родном селе. Но Бог не оставил его: Он призвал его в служители дома Своего. Приходский священник принял его в церковные сторожа, и с тех пор, с именем «Лексевич», он честно и весьма плодотворно, несменяемо прослужил в этой должности 35 лет. Много добра сделал «Лексевич» за годы. Его личными трудами, без всякой сторонней помощи и на его личные средства насаждены деревца около приходского храма; его же личными трудами и средствами все кладбище кругом обсажено акацией, а с передней стороны посажены даже деревья (сосны и березы) аллеей, также и вокруг кладбищенской церкви посажены были деревца. И теперь эти деревца превратились в толстые деревья. Как он был рад, бывало, высказать вслух

свое удовольствие. «Батюшка! Тополи-то, березы-то, сосны-то! Целые бревна! А ведь сажал-то их вот какими» (покажет на свой мизинец). Так всегда «Лексевич» высказывал свою радость, когда придет, бывало, в ограду, — говорил он, а у самого слезы — слезы радости — чистой, детской радости...

Несмотря на свою старость «Лексевич» целый день копался в своем «саду» и ежедневно поливал свои «детища», и так приучил крестьян-прихожан, что всякий, везя бочку с водой с реки мимо храма, машинально сам останавливался, дожидаясь «Лексевича», который «брал дань»: с каждой бочки два ведра.

Любил и наблюдать «Лексевич» необыкновенную чистоту и порядок как в храме, так и в ограде — садике своем. Труд для него был наслаждение. Бывало скажешь: «Лексевич! Пора бы костям твоим на место; лазить на колокольню тебе очень трудно». Но и жалко-жалко потом станет: на это «Лексевич» всегда ответит таким умильно-умоляющим со слезами взглядом... Подумаешь: «Зачем я обидел старца, — ведь и вправду умрет без дела», как он говорил. Не забуду трогательной картины. Слили прихожане новый колокол в 200 пудов. Колокол, по обыкновению, для пробы висел на козлах, и всякий мог свободно подходить и звонить при людях... Как-то вечером вижу: «Лексевич», воспользовавшись темнотою и безлюдьем, вкравшись подошел к «незнакомцу», взялся за язык и... о, горе! язык не слушался его рук... С грустью отошел старик... На другой день говорю: «Лексевич! Ты бы позвонил в новый колокол-то». — «Нет, батюшка,

видно отзвонил, будет, не слажу», а у самого слезы-слезы...

Нужно быть художником, чтобы хотя приблизительно верно изобразить любовь «Лексевича» к храму Божию и к угодникам Божиим. Без всякого преувеличения можно смело сказать, что он и телом, и душою жил исключительно для храма Божия: в какое время не придешь — он непременно либо ухаживает за деревьями, либо чистит в храме утварь церковную, метет на коленях. В своей чистоте детской простоте и невинности он совершенно сжился, сросся с храмом Божиим. Не раз приходилось подслушивать разговор его наедине в храме: стоит пред иконой, напр., Св. Николая Чудотворца и разговаривает со святителем, как с живым. Вытрет пыль на иконах, на подсвечниках, лампадах, отойдет на некоторое расстояние, чтобы все видеть в совокупности, и скажет: «Вот теперь хорошо! А то у тебя, св. Николае, какая была пыль-то, а я, прости меня, и не замечал раньше...» И такие его беседы велись не то что просто, как бывает по машинальной привычке, нет, он говорил в молитвенном настроении: после всего поклонится до земли и отойдет. Имея такую привязанность к храму, «Лексевич» не мог равнодушно видеть в нем какие-либо недостатки. Сам, бывало, придет и скажет: «Батюшка! Вот у «Иверской» плоха лампадка; вот тут бы следовало повесить икону «Скорбящей». Смотришь, все это уже в скором времени готово — это «Лексевич» соорудил на свои лепты. За последние десять лет своего бытия добрый «Лексевич» пожертвовал на храм не менее как на

пятьсот рублей Это исключительно из его жалования в три рубля и столько же пенсии. Иногда «неосторожно» скажешь при нем о какой-нибудь нужде по церкви, и «Лексевич», считая как бы только себя одного обязанным, сейчас же скажет: «Погодите, батюшка, вот накоплю деньжонок, теперь все вышли», и все силы употребит — сделает. Иногда промолчит, но потом, смотришь, «Лексевич» упомянутый недостаток восполнил и радуется... При своих скудных средствах он находил возможность и умел благотворить и истинно нуждающимся в насущном хлебе.

Жизнь «Лексевич» вел положительно аскетическую: спал почти на голых досках, в изголовьи — род подушки из соломы; ел пищу постную, преимущественно картофель и хлеб с водою; горячей пищи употреблял мало; все готовил сам. Часто молился и продолжительно. Был грамотный и любил читать житие Богородицы, а больше всего об успении Ее. В храме он на свои средства соорудил икону «Успения» и ежегодно служил пред Нею молебен с акафистом. Любил посылать жертвы на бедные Афонские монастыри.

Будучи сам строгой и святой жизни, Иван Алексеевич терпеть не мог неблагочиния в храме во время службы. В этом случае он был положительно праведный проповедник и обличитель. Нужно заметить, что внешний вид его очень схож с ликом Св. Николая Чудотворца: строгий, но добрый, самоуглубленный и проницательный. Пройдет, бывало, по храму незаметно — тихо; заметит кого (особенно из женского пола) стоящим неприлич-

но, — непременно приостановится и сделает внушительное наставление, но совершенно без всякого нарушения благочиния. И все боялись «Лексевича» и любили его. Для него не было различия между людьми (исключая священника, хотя бы и другого прихода): простой ли крестьянин, богатый ли, бедный ли или кто «из важных», из «аристократии» — он всем говорил «ты»; но это «ты» было исключительно его, и на него никто не обижался, напротив, ему совершенно было «не к лицу» называть кого-либо «Вы». Бывало, заметишь ему наедине: «Ты, «Лексевич», всем говоришь «ты», и мне бы лучше было, если бы и меня называл «ты». — «Разве можно! Нет-нет... Священник есть высокий служитель Божий», — внушительно скажет старик, и спорить с ним уже нельзя.

Хоть Иван Алексеевич и малограмотный, но он совершенно правильно, согласно с учением св. Церкви смотрел на жизнь настоящую и загробную. Имея чистое сердце, он нисколько не боялся смерти, напротив, он даже любил беседовать о смерти и ждать ее спокойно, часто исповедываясь и причащаясь. За несколько лет до смерти он приготовил себе «домовинку» (гроб), частенько осматривал его и другим показывал, напоминая о смерти. (Такие «домовинки» он делал не одну. Пождет-пождет и скажет: «Нет, должно быть, смерть моя еще не скоро придет», — и отдаст гроб для погребения какого-либо бедняка). И дал ему Господь лечь в эту «домовинку» спокойно, без всякой острой, мучительной болезни. Несмотря на то, что лета его были выше предела (Пс. 89, 10) — ему было

девянство, однако он умер в полном сознании и тихо-тихо, как постепенно догорает свеча восковая...

Благодарные прихожане-крестьяне до смерти платили «Лексевичу» пенсию (лет пять он уже не был сторожем) три рубля в месяц, и прожил он в церковной сторожке в отдельном для него укомном уголке. На погребение почтенного сего старца, несмотря на будни, стеклось много народа. В отпевании принимал участие местный хор певчих; также пожелали воздать последний долг ему ученики местной церковной школы, пели обедню и участвовали в отпевании.

Вечная память тебе, добрый «Лексевич» и спасибо тебе, что ты всею своею жизнью показал нам добрый пример того, как служить Богу и как готовить себе *сокровище на небеси* (Мф. 6, 19–21).

(Сарат. Е. В. «Воскресное чтение», 1900 г., № 10).

У «ИВАНА ИВАНОВИЧА»

На месте нынешнего Сезеновского монастыря, сто лет тому назад, было имение князя Федора Николаевича Несвицкого. И вот, еще при жизни князя, в усадьбе его поселился юродивый, по имени Иоанн, который под конец своего земного существования и основал здесь монастырь.

Юродивый Иоанн был из дворовых помещика Кузьмина, Воронежской губернии, Коротоякского уезда. Родился он 24 июня 1791 года. Фамилия его была Быков. Мальчик рос тихим, молчаливым, необщительным. Другом детства его был лишь сын Кузьмина Василий. Сошлись они на почве склон-

ности к религиозным созерцаниям и благочестивым упражнениям. Товарищи даже надели было на себя вериги, но старшие скоро заметили и приказали снять.

С пятнадцати лет Иван выступил на духовный подвиг, известный в православной Церкви под именем юродства Христа ради. Все чаще и чаще он стал покидать родной дом, уходя на поклонение святыням в Киев, Задонск, в другие города. Помещик, чтобы прекратить это шатание, отдал Ивана к столяру в учение. Столярное дело к Ивану не прививалось: он был невнимателен и неаккуратен. Тогда помещик приказал ему стеречь стадо. Но Иван не радел об исполнении и этой должности. Жалобы на беспечного пастуха стали доходить до хозяина, и тот подвергал его наказаниям. Нередко били его и товарищи-пастухи.

Истерзанный, измученный, избитый, Иван решил покинуть родное село, где не понимали избранного им пути, считая его за простого тунеядца.

В раннее летнее утро он оставил родительский дом и направился в Киев, где и мечтал остаться на всю жизнь. Но все устроилось иначе. Один монах приказал Ивану немедленно вернуться домой для получения увольнительного свидетельства от помещика.

Иван повиновался и возвратился в родное село. Здесь Кузьмин приказал заковать беглеца в кандалы, запереть в амбар, не давать ему ни пищи, ни питья. Из этого заключения освободил Ивана друг его детства Василий Кузьмин, тогда уже офи-

цер. Молодой Кузьмин, понимая томление духа Иоанна, помог ему уйти из своего села вторично, на этот раз уже навсегда.

Иоанн долго странствовал по разным монастырям; наконец, пришел в Задонск и поселился в здешнем мужском монастыре под именем Симеона. Здесь встретила его старица Дария, занимавшаяся печением просфор в селе Головинщине, Раненбургского уезда. Она решила взять с собой Иоанна и послужить ему.

Иоанн беспрекословно последовал за нею. По пути они заехали в село Сезеново к владельцу князю Ф. Н. Несвицкому. При виде юродивого князь смутился, торопливо спросил, как его зовут. Юродивый отвечал: «Иван», когда же тот спросил, как по отчеству, то юродивый опять ответил: «Иван». Отсюда заключили, что его зовут «Иван Иванович». Это имя за ним сохранилось до сего времени, хотя оно неверно: по отчеству Иоанна звали «Лукич».

Пробыв некоторое время в Сезенове, старица Дария отправилась со своим спутником далее. До Сланского их проводила княжна Надежда Николаевна Несвицкая. Дорога пролежала густым лесом, который тогда составлял предмет спора князей Несвицких с Долгоруковыми. Въезжая в этот лес, Иоанн с задумчивостью сказал: «Ах, лес шумит, топоры блестят, кровь льется, много слез будет».

В селе Колычеве, куда прибыли Иоанн и Дария, в пещере жил древний старец Илларион. Илларион, хотя был старше Иоанна, принял его с боль-

шим уважением. Он убедил потом князя Несвицкого взять к себе на житье Иоанна. Князь согласился, по желанию самого Иоанна отвел ему баню, где и поселился двадцатисемилетний отшельник, забив последнее окно.

Прожив три года в бане, он переселился в новую келью, построенную из того леса, что рос по дороге в Сланское. Это произошло при таких обстоятельствах. Однажды, когда князь Несвицкий проезжал спорным лесом, на него напали крестьяне князя Долгорукова и прорубили ему череп. Еле живого привезли князя домой. Здесь княжна Надежда Николаевна вспомнила пророческие слова затворника Иоанна; и вот, по ее настоянию, князь по выздоровлении и выстроил новую келью Иоанну, около храма Казанской Богоматери.

Жизнь затворника проходила в строгом посте и молитве. Ночь и большую часть дня он оставался один и никого к себе не принимал; если выходил, то в церковь или на речку Сквирну за водою для поливки деревьев; выходил и в лес за деревьями, которые сажал около своей кельи. Нередко сидел у кельи и кормил птиц. Сам он в пище, как мы уже упомянули, был крайне воздержен.

Слава о подвижнике быстро разнеслась по далеким окрестностям, и к нему стало стекаться много народа. И всем Иоанн давал советы, наставления в жизни, а бедным, кроме того, и помогал. Будучи сам бескорыстен, затворник раздавал им все, что получал. Иногда ночью выносил в лес или на проезжую дорогу блюда с пищею, плодами, медом, на деревьях развешивал холсты, платье и обувь.

Деньги принимал редко, а если принимал, то передавал в приходскую церковь.

Насколько Иоанн был добр к людям, настолько строг к себе. Он изнурял себя веригами весом в восемнадцать фунтов, железными башмаками, обтянутыми сукном, и чугунными четками. Впоследствии вериги он снял и велел из них сделать себе посох, хранящийся и теперь в монастыре. Под конец Иоанн даже как бы сделался столпником. Произошло это следующим образом. Полиция, для которой затворник был всего лишь беглым дворовым, не оставляла его в покое. Тогда за Иоанна вступился некто помещик Звягин. Он выкупил его у Кузьмина и приписал к определенному обществу. Вместе с тем Звягин построил Иоанну близ церкви каменную двухэтажную келью, в виде столба. В новой своей келье под полом затворник велел сделать склеп. «Где мой дом, — сказал он, — там мой гроб».

Как человек простой, непосредственный, Иоанн имел и идеал, присущий всем простым и верующим людям, несложный и вместе высокий, — построить храм, основать монастырь. Он видел в этом источник ближайшего общения народа с Богом. Нередко он иносказательно говорил о своем желании близким к нему людям. Так, однажды, гуляя около своей кельи с одним крестьянином, он сказал ему:

— Знаешь ли, что будет здесь? Тут выстроится колокольня, и здешний колокол будет слышен по всей России.

— Едва ли, батюшка, — заметил простодушный крестьянин, — здесь не слышать даже московских колоколов, а они известны всюду по величине и по звону.

— Маловер ты, — отвечал затворник.

Дойдя до того места, где устроена теперь трапезная, Иоанн приказал вбить кол, сказав: «Тут будет наша граница, и это будет наша земля». В это время над ними поднялась стая галок.

— Скоро здесь будет столько галок, что не сочтешь, — заметил затворник.

В 1838 году началась исполняться заветная мечта Иоанна: было получено разрешение на основание монастыря. 8 сентября 1838 года подвижник заложил в Сезенове новый семипрестольный каменный храм, начертал на земле своим 18-ти-фунтовым посохом место для ограды, а на местах, где должны быть престолы, поставил деревянные кресты. Дело строения пошло очень успешно. Привлеченные обаятельною личностью затворника и его безукоризненной жизнью, в Сезенове поселились несколько женщин, больше стариц. И вот они принялись за исполнение заветной мечты Иоанна. Пошли по сбору, исполняли работы при постройке. Особенно энергичной исполнительницей предначертаний затворника явилась старица Дария, которая, как мы упоминали, привела Иоанна из Задонска. Ей на помощь, уже по смерти затворника, явилась девица Евфимия, впоследствии игуменья Серафима.

Самому Иоанну не удалось видеть окончания постройки храма. 14 декабря 1839 года он тихо скончался, имея 48 лет от роду.

Затворник редко кому показывал свое лицо, тем не менее до нас дошли описания и изображения его наружности. Очевидцы так описывают внешность Иоанна: лицо его было смугло, волосы длинные, редкие, черного цвета, бороды почти не было; роста он был высокого, немного сутуловат; глаза прищуренные. Теперь затворника изображают, обыкновенно, гуляющим по своему садику около кельи.

По смерти Иоанна, благодаря Дарии и Евфимии, строение монастыря быстро подвигалось вперед. Евфимия жила исключительно к Петербургу и присылала оттуда щедрые дары. Между прочим, иконы для строящегося храма ею были заказаны столичным художникам. 20 октября 1849 г. храм, с главным престолом в честь Казанской иконы Божией Матери, был освящен. Торжество освящения было тем радостно, что за двадцать дней до него, 1 октября, состоялось Высочайшее соизволение на открытие «Сезеновской Иоанновской женской общины». Когда при этом известии возник вопрос о первой начальнице общины, то таковой всеми единогласно была избрана старица Дария.

Дело строения продолжалось с усиленной энергией. Обитель была обнесена каменной стеною, заложен был новый теплый, с хорами, храм в честь Рождества Христова, законченный только в 1863 году. Далее из кельи Иоанна был сооружен еще один храм, во имя Преображения Господня.

В 1873 году, по ходатайству Евфимии, Сезеновскую общину переименовали в заштатный третьеклассный монастырь, под названием «Иоанно-Казанский». Игуменией была избрана Евфимия, с именем Серафимы.

Серафима продолжала обстраивать монастырь. Она расширила ограду, отнеся ее по восточной стороне далее; при этом она не разобрала стены, построенной Дарией, так что теперь эта стена проходит среди монастыря. Серафима воздвигла в 1864–1865 гг. лучший храм обители, в честь Св. Троицы, на том месте, где была каменная келья затворника. Последняя, к сожалению, была разобрана, и все вещи покойного перенесены в баню, в которой когда-то жил затворник. Неутомимая игумения построила также две гостиницы, большую каменную мельницу, и пр. Земельные богатства монастыря возросли при ней до семисот десятин Помня завет затворника, она работала до самой смерти (1877 г.) не покладая рук.

Перейдем теперь к более подробному описанию внутреннего вида монастыря.

Центральную часть его занимают три храма: в честь Казанской иконы Божией Матери, Рождества Христова и Св. Троицы. Наибольший по величине — Казанский, с колокольной и колоннами. Самый красивый — Троицкий. Недавно окрашенный в небесный цвет, он производит чарующее впечатление. Внутри храма много света и воздуха. Очень хорошая живопись. Риз на иконах нет. Иконостас хорошей резной работы. В алтаре художественная

картина Св. Троицы, подаренная монастырю императрицей Марией Александровной.

Под храмом Св. Троицы находится пещерный храм Рождества Богородицы. Здесь покоятся затворник Иоанн, старица Дария и Серафима. Под левым же алтарем храма Св. Троицы, у подошвы горы, на которой он стоит, находится колодец, над ним устроены своды с арками, на которых изображены с левой стороны беседа Иисуса Христа с самарянкой, с правой — исцеление водою расслабленного; в середине надпись:

«В 1854 году вырыт сей колодец благословением затворника Иоанна, трудами старицы Дарии и по предсказанию затворника Иоанна, что «сей целебный». И действительно, оказалось проречение его так».

Глубина колодца очень внушительная: около двадцати четырех сажен. Вода замечательно вкусная. Против колодца монастырский сад.

Если подниматься от колодца вверх, то по правую сторону находится небольшая древняя хижина — это баня, в которой когда-то жил затворник. Здесь теперь размещено все, что осталось после Иоанна: вериги, восемнадцатифунтовый посох, иконы, кастрюльки, ряса, туфли, четки, скуфья. Все это хранится с любовью и благоговением.

Близ «бани-кельи» расположен живописный корпус. Дело иконописи поставлено в обители очень хорошо, благодаря главной руководительнице П. П. Милютиной и ее помощнице, монахини Ефросиний. Занимаются этим пятнадцать человек. Работают красками и тушью. Занимаются не

одним только писанием икон, пишут и портреты, а также несложные пейзажи красками. Благодаря этому и в написании икон заметна жизнь при полном отсутствии заученности. За последнее время некоторые монахини изучили также золочение, и все церковные главы позлащены уже своим трудом.

В монастыре есть для сирот женское учебное заведение, с прогимназическим курсом. Большое внимание здесь обращено на рукоделие. Девочки живут на полном содержании монастыря. По окончании они или уходят «в мир», или остаются в монастыре, пополняя число послушниц, а затем и инокинь.

Впрочем, монастырь и без того не малолюдный. Число монахинь в нем колеблется от пятисот до шестисот. Живут они по своим кельям. Маленькие, хорошенькие домики, с маленькими садиками и полисадниками, расположены кольцом около храма вдоль стены. От обители инокини получают только пищу. Все же остальное, необходимое им для прожития, они должны добывать себе сами. Поэтому в монастыре много работают. Одни занимаются рукоделием, другие отдают свои силы довольно большой монастырской экономии, в которой особенно хорошо поставлено молочное хозяйство.

Среди монахинь есть много почтенных личностей. Некоторые из них приняты в обитель еще Дарьей. Светлые личности этих инокинь и, в особенности, великий, неумирающий в сознании народа образ Иоанна-затворника привлекают всегда в его

Сезеновскую обитель многочисленные толпы народа, в особенности 24 июня, в день памяти затворника. Количество богомольцев в монастыре бывает тем многочисленнее, что одна из церквей обители — Казанская — считается вместе с тем приходской для села Сезенова и многих других окрестных деревень.

(«Русский Паломник», 1906 г., № 33–34).

БЛАЖЕННЫЙ

Мы переносимся мысленно более чем за полвека назад, именно к 1849 году, когда на Руси появилась кара небесная и люди, как мухи на морозе, почти в каждом доме, в каждой избе и во всякой хижине падали целыми семьями, целыми родами и почти полдеревнями сразу, от свирепой язвы — холеры.

В эти-то самые дни тяжелой години на Руси, именно 9 мая, когда православная Церковь празднует день перенесения мощей святителя Николая Чудотворца, мы находились в селе Промзине, Симбирской губернии, среди многочисленной толпы народа, ежегодно в этот день паломничающего сюда со всех окрестностей.

Чудная весенняя погода благотворно сопутствовала этому духовному торжеству. Море обнаженных голов паломников, точно стихия под дуновением легкого ветерка, благоговейно склонялось перед храмом Божиим, когда люди осеняли свое чело крестным знаменем. В храме совершал утреннее бдение о. благочинный в сослужении местного церковного причта.

Вот богослужение закончилось, и многотысячная толпа паломников опустилась на площади на землю, чтобы облегчить свои утомленные ноги. Через несколько минут звон церковного колокола возвестил о начале Литургии. Толпа вновь заколыхалась и поднялась на ноги.

— Яша идет!.. Яша идет!.. — кто-то восторженно проговорил из толпы, и та устремила свой взор за реку Суру, из-за которой появилась, как привидение, во всем белом, мирно, но быстро двигавшаяся вперед рослая и мощная фигура блаженного с открытой головой и с длинным посохом в руках, на босую ногу, как он всегда ходил и зимой, и летом.

Еще минута — и Яша уже появился среди толпы паломников, благоговейно склонившей перед ним свою голову в знак почитания его «святой жизни».

— Я к угоднику... к угоднику... к Николе... к нему, — торопливо проговорил Яша, как бы в ответ на поклон толпы, и быстро устремился к церкви...

— Помолись за нас, грешных, перед угодником Божиим, чтоб Господь Бог избавил нас от кары небесной... — завопила толпа паломников вслед Яше и потянулась к нему со своими трепетными руками, говоря: «Возьми это, родименький, на свечку угоднику Божию...»

И тот, принимая трудовые, слезами и горем облитые и от чистого сердца подаваемые медные копейки, стремился в храм Божий.

— Тебе самой нужно... Тебе самой нужно... У тебя у самой скоро будут гореть свечи в ногах, — торопливо проговорил блаженный одной ветхой

старушке, так же, как и все другие, ставшей класть в руку Яши свою медную копейку, и, высыпав ей на голову все те гроши, которые у него находились в руке, проговорил при этом: «Вот тебе и свечи... вот тебе и свечи...» А сам между тем все продолжал бежать к церкви.

— Батюшка ты наш... Предвестник ты святой... Человек ты Божий!.. — завопила старуха и повалилась ему челом в землю. — Вишь ты что он... вишь ты что сказал... все это на свечи дал... кончина моя настает...

Яша, между тем, уже входил на паперть церкви. Толпа молящихся здесь людей очищала ему путь в храм Божий, подаваясь в сторону. Блаженный, пройдя через всю церковь, подошел к образу святителя Николая Чудотворца и упал пред ним на колени. Все молящиеся в храме последовали его примеру.

Но вот обедня уже кончилась, а Яша все еще продолжал молиться перед чудотворным образом святителя. Продолжал он свое моление и в то время, когда у лика Мирликийского Чудотворца уже начались общие молебны. Масса паломников, видя перед собой живой пример «человека Божия», прониклась чувством глубокого умиления пред Господом. Как свет солнца оживляет всю жизнь природы при своем появлении над землею, так и присутствие блаженного в церкви окрыляло двух молящихся для полета к Богу.

Яша, наконец, поднялся, и толпа молящихся отхлынула на паперть.

Вышедший из храма блаженный торопливо направился к берегу реки Суры.

— Мне надо к ней... к ней... — говорил он про себя вслух. — Я видел ее в церкви... в церкви... Она приходила молиться... Она молилась за всех... со мной вместе... Господь так велел ей... Его святая воля на то... Его воля... Мы к ней... теперь к ней.

И толпа удалилась за Яшей. Он, точно ведомый невидимой душевной силой к берегу Суры, прямо направился к тому именно месту, где уже давно остывший лежал труп той старушки, голову которой блаженный посыпал мирскими грошами. Она, утомленная порою жаркого дня и той внутренней жаждой, которая терзала ее от далекого изнурительного перехода сюда от своей родной деревни, пришла на реку напиться воды и тут же, на берегу Суры, пала беззащитной жертвой свирепствовавшей страшной, чудовищной холеры.

— Помолитесь о спасении души... помолитесь, — сказал Яша и с этими словами упал перед трупом старушки на колени, лицом к церкви.

Толпа последовала его примеру.

— У нее душа была добрая, — продолжал Яша, — она никому зла не творила... не творила... А когда человек не творит зла, он воздает добро... добро он воздает людям... Она водицы много попила... Не пейте много... Все лишнее вредно... Богу противно... Жажду в душе оставляйте... Господь любит жажду... Молитесь Ему за нее... Все нам от Бога... все... И благо на земле все от Него... От Него все...

И с этими словами Яша, закончив свою молитву над трупом старушки, удалился по большой доро-

ге, ведущей к городу Алатырю, Симбирской губернии, и скоро скрылся из глаз сопровождавшей его толпы паломников, за дальним горизонтом небес...

— Такая чистая душа в нем... Такое святое чувство, — говорили в толпе о Яше, — он даже кончину ей предсказал... Какое Божие, создание в нем живет... какая благодать Господня царствует при нем!... Вот воистину человек он Божий... Ни греха за ним нет, ни сует мирских не существует... Весь он тут, «Божий человек»...

С тех пор нам больше не случалось видеть блаженного. Слышно было, однако, что он постоянно, несколько лет кряду, проживал в городе Алатыре у каких-то добрых людей и пользовался их кровом; каждое воскресенье и вообще в праздничные дни всегда ходил в село Промзино к обедне, совершая в день шестьдесят верст пути в оба конца, и все церковное бдение стоял на своих ногах, не принимая в это время никакой пищи. Да и вообще, говорили, что люди не знали и не видели его, чтобы он пил или ел. Приносились ему и подаяния, он никогда их не удерживал при себе, а всегда отдавал первому встречному, по его внутреннему убеждению — нуждавшемуся в посторонней помощи. Вообще, в то время в Симбирской, Пензенской и Нижегородской губерниях не было человека, кто бы не знал блаженного Яшу, пребывавшего в городе Алатыре. Никто, однако, не знал того, кто он был родом и племенем и откуда и когда появился в этом округе.

Но вот в народе пронесся слух, что Яша куда-то исчез. И людская молва утверждала, что местная администрация побудила власть города Алатыря произвести у Яши в каморке, где он жил, тщательный обыск. Ничего подозрительного не нашли, кроме пустых досчатых стен чулана, в котором он пребывал. Предчувствуя эту людскую грозу над собой, «Божий человек» поспешил оставить город Алатырь и больше в нем уже никогда не появлялся...

Добрая память о «человеке Божиим» и до сих пор все еще живет в благодарном народе.

(С. Глебов. «Русский Паломник»,
1903 г., № 43).

АНДРЕЙ, ЮРОДСТВОВАВШИЙ В ГОРОДЕ МЕЩОВСКЕ

Юродивый Андрей родился в 1744 г. в деревне Овсянниковой, в приходе села Клетина, Мещовского уезда, в благочестивой семье. Отец его умер рано, и он жил с матерью и отчимом. Он с детства был сосредоточен в себе и очень любил уединение.

Придя в возраст, Андрей начал ходить почти голый, с кнутиком и топориком, который он носил на левом плече, держа рукоятку правою рукою.

Одежду, которую на него одевали, он рвал. Разговаривая о чем-нибудь хорошем, Андрей приятно улыбался, а при бранных словах уходил. Он большею частью сидел или лежал на печи, самой горячей, без постилки, и под голову всегда клал свой топорик.

Много он молился, особенно ночью. Летом, когда после работ все ложились, он потихоньку пробирался в сад и звал Бога, осеняя себя крестным знаменiem. Слова его молитвы были немногосложны. Смотри на небо, подняв вверх руки, он произносил только: «Господи!».

Когда Андрей ходил по деревням, его обижали крестьяне и дети. Ребятишки толпою гнались за ним с криком: «Андрей топора!», швыряли в него камни, которые иногда ранили ему голову. Но он все терпел спокойно.

Иногда Андрей ударял себя сильно в грудь или бился затылком о стену так, что удары слышны были на улице, но этим он не делал себе вреда.

Пока одни смеялись над ним, другие стали уважать его, замечая в нем прозорливость.

Пришел как-то Андрей в соседнюю деревню Староселье, во время посева ржи. Один мужик, издеваясь над ним, просил его посеять ему ржи. Бросая семена, Андрей произносил: «Пропало, замерло!»

На этом поле не выросло ни одного колоса. А когда Андрей обсеял поле другому крестьянину, который верил, что Андрей угоден Богу — у него уродился никогда им не виданный урожай.

Когда Андрею исполнилось тридцать пять лет, он захотел жить в Мещовске и, указывая в сторону города, говорил: «Отвезите меня туда!»

Когда его привезли в город, он подошел к дому мещанской вдовы Суховей и остановился тут, приложившись к стене и как бы задумавшись. Мать

этой вдовы позвала его к себе, уложила ночевать, и Андрей стал постоянно жить у нее.

В городе Андрей продолжал ходить не одетым и с топориком. Сколько ни жертвовали ему рубашек, он отдавал их нищим. Летом и зимой он на несколько часов уходил из города. Снег и мороз ему не вредили.

Однажды в сильный холод один человек отказал Андрею в ночлеге, но потом пожалел его и вышел его искать. Он нашел Андрея лежащим на снегу, из которого выходили сильные пары, и, когда он позвал его, юродивый куда-то ушел.

Молясь за городом, он прекращал молитву, когда его замечали. Дома он молился за хозяев: «Помяни, Господи, подай здоровье дядюшке и тетушке!» В праздники, которые он очень чтил, он ходил в церковь, где стоял с благоговением. В дни Рождества и Пасхи он полон был величайшей духовной радости и все восклицал: «Христос рождается!», в Пасху: «Христос воскрес!»

На рынке замечено было, что у кого Андрей брал что-нибудь, тот бойко торговал, и потому торговцы наперерыв старались ему вручить подаяние.

Он раздавал все нищим, а когда их не попадалось, клал деньги в щели домов, чтобы нищие их брали оттуда.

Особенно жалел Андрей солдат и заключенных в тюрьме. Когда шла речь о солдатах, он с тяжелым вздохом говорил: «Бедные солдаты!»

В Мещовском тюремном замке не было для арестантов готовой пищи. Они содержались подаяниями, и для сбора их водили под конвоем по городу.

Андрей тогда кричал им из окна: «Братие нищие, идите к нам!» — и с радостью отдавал им все, что для них приберег.

В 1812 году, во время вторжения Наполеона в Россию, Андрей, указывая в ту сторону, с которой приближался Наполеон, говорил: «Идут с горы! Очень много! Боюсь; уйду в Калугу».

Хозяин стал допрашивать его, а он, ударяясь все головой о стену, повторял: «Ах, идут! Очень много! Но пропадут, исчезнут!» — Тогда не было еще вести о Наполеоне, и, только побывав в Смоленске, хозяин узнал о вступлении его армии в Россию.

Это был один из множества случаев проявления у Андрея дара прозорливости. Об этом даре его знали все в Мещовске.

Когда люди недостойно издевались над младенчески-незлобивым Андреем, Сам Бог вступался за него.

Один мещовский помещик, равнодушный к вере и самодовольный, возвращался со псовой охоты, и, встретив Андрея, начал травить его собаками. Собаки искушали ему ноги, а он с терпением смотрел на свои раны и, придя домой, весело попросил тертой редьки, чтобы приложить ее к ранам.

— Да редька не залечит их, — сказала хозяйка, — а растравит их.

Но Андрей сделал по своему, и раны зажили. А у помещика внезапно заболели и умерли два сына.

Почувствовав близость смерти, Андрей в Мещовском монастыре выбрал себе место для погребения.

Предсмертная болезнь его длилась более полугода и была мучительна, так как он лежал за печью все на одном боку.

28 июня 1812 года, за несколько дней до того приобщившись и особоровавшись, Андрей тихо почил.

Множество народу, как мещовских, так и пришедших, по случаю Петровской ярмарки, — собралось поклониться усопшему, все жертвовали на погребение, и оно было совершено с большою торжественностью. При перенесении тела в монастырь панихид служили так много, что шествие продолжалось три часа. Народ шел с зажженными свечами.

С тех пор прошло около века, а память об этой искренней душе, которая так властно распяла в себе земного человека, с такою силою избрала путь тяготы, унижения и нищеты, — не прекратилась в Мещовске и его округе.

Старики передавали молодым рассказы о том, как он жил, как терпел свою трудную долю и как жалел народ. И вера в то, что эта отреченная жизнь была угодна Богу, и что сильна пред Богом молитва юродивого Андрея — никогда не иссякала в народе.

Издалека приходят к его могиле служить панихиды, обливают висящий у его могилы топорик водою, пьют ее и умываются, берут с могилы землю

и посыпают ею больные места, получая по вере исцеление.

Доселе крестьяне Клетинской волости живут сытно, и в голодный даже 1840 год у них был урожай. Они веруют, что Бог посылает им по молитвам юродивого Андрея.

2 октября 1853 г. тяжело больная двенадцатилетняя дочь Александра мешовского купца Кобелева видела во сне, что икона Божией Матери приказывает ей съездить в Мещовский монастырь и отслужить панихиду по юродивом Андрее. Отец ее не решился вывезти опасно больную, но сам съездил в монастырь и привез воды, спущенной с топорика, которой она напилась, помочила руки и ноги. Она почувствовала внезапное облегчение и стала здорова.

Незадолго до того получил исцеление после панихиды, отслуженной над гробом Андрея, и от воды, спущенной с его топорика, мешовский мещанин Василий Костин.

Внешность Андрея была такова. Средний рост, небольшая лысая голова, продолговатое лицо, довольно большие глаза, длинный нос, редкая с проседью борода.

Он скончался 68 лет от роду и погребен в средней монастырской башне.

(Е. Поселянин. «Русские подвижники XIX в.»).

РАБА БОЖИЯ КСЕНИЯ

Среди всех лиц, погребенных на Смоленском кладбище, есть много замечательных, о которых

память сохранилась в народе. Например, описателю ее жития случалось несколько раз бывать на этом кладбище и всегда видел у одной маленькой часовни много народу. Воображая сначала, что эта часовня предназначена специально для панихид по усопшим, он не обращал особенного внимания, но как-то раз пришлось ему услышать от одной престарелой женщины рассказ о петербургской жительнице, Ксении Григорьевой, юродствовавшей чуть ли не весь век и похороненной на Смоленском кладбище. Поинтересовавшись ее рассказом, из которого он узнал, что именно по ней служатся панихиды и с этою целью устроена часовенка, он специально отправился туда проверить слышанное. Обратив внимание на подпись, приведенную в заголовке этого очерка, он начал расспрашивать о ней лиц, молившихся над ее могилой, думая, что они ее родственники или знакомые. Но отнюдь не бывало: это были люди, которые много слышали о ней, но сами ровно ничего не знали. Некоторые из них, однако, говорили многое, чему поверить трудно, и он решился обратиться к более сведущим людям, которые указали ему на источник некоторых сведений, помещенных в «Русской Старине» и в «Историко-статистическом описании Петербургской епархии». С этими сведениями он и счел полезным познакомить читателей, интересующихся этой личностью.

Вот как описывает ее отец Стефан (Опатович):

«Происхождение Ксении Григорьевой никому не известно, тем не менее знают, что она была замужем за придворным певчим, Андреем Федоро-

вым, состоящим в чине полковника. Но смерть рано разлучила ее с мужем, и она осталась двадцати шести лет вдовою. Погоревав по нем, она раздала все свое имущество бедным и, надев на себя платье мужа, щеголяла в нем под его именем в течение сорока пяти лет по Петербургу, не имея нигде постоянного пристанища.

Однако, главным ее местопребыванием была Петербургская сторона, и преимущественно приход св. апостола Матфея. Ее именем долго называлась даже одна улица. Она пользовалась большим уважением среди тамошних жителей, в особенности у извозчиков, которые, завидя ее издали на улице, обгоняли друг друга и наперерыв предлагали ей свои услуги, будучи вполне убеждены, что кому удастся хоть сколько-нибудь провезти ее, то весь день будет счастье и он поедет домой с хорошим заработком.

И она удостаивала многих этим счастьем.

Говорят, что 24-го декабря 1761 года Ксения Григорьевна ходила по улицам Петербургской стороны и говорила тамошним жителям: «Пеките блины, пеките блины... Вся Россия будет печь блины».

Слышавшие это говорили, что этими словами она предсказывала смерть императрицы Елисаветы Петровны, которая умерла на другой день после ее предсказания.

Год смерти Ксении неизвестен, но, как надо предполагать, она умерла или в конце прошлого столетия, или в начале настоящего; конечно, приблизительно.

В двадцатых годах на ее могилу начал толпами стекаться народ, который, по горсточке, разобрал всю насыпь на могиле, ввиду чего сделали другую, но и ту разнесли. Пришлось положить плиту, которую, однако, разбили и по кусочкам снесли по домам. Но, разбирая землю и ломая плиты, посетители оставляли на могиле денежные пожертвования, которыми и пользовались нищие.

Вследствие этого могилу обнесли оградой, а к ограде прикрепили кружку для сбора пожертвований, а потом на собранную таким образом сумму поставили памятник в виде часовни из серой отесанной скалы с железною крышей, двумя оконцами по бокам и железною дверью посередине, над которою и существует надпись *Раба Божия Ксения*.

Здесь же находится и кружка для сбора пожертвований. Половина собираемой суммы поступает и теперь в пользу попечительства о бедных духовного звания, а другая идет в церковь на неугасимую лампаду на гроб рабы Божией Ксении... *Кто меня знал, да помянет мою душу для спасения своей души*.

Такую надпись положил кто-то на могиле Ксении, но кто именно — неизвестно.

И нигде, как я уже сказал, не служит столько панихид, сколько на ее могиле. Побуждением к этому, как видно, служат рассказы о чудесах, совершившихся по молитвам Ксении для тех, кто с верою помолился на ее могиле.... Эти рассказы ходят по всему Петербургу, завозятся приезжими

в провинцию и привлекают массу посетителей на Смоленское кладбище...

Некоторые из этих рассказов приводятся отцом Стефаном (Опатовичем) так:

«Однажды к одной помещице, фамилия мне неизвестна, приехала гостить ее близкая родственница, жившая в Петербурге и много слышавшая про Ксению. Вечером гостя долго про нее рассказывала, что слышала от других.

Хозяйка, ложась спать, помолилась за усопшую рабу Ксению и заснула. Но вдруг она видит во сне, что Ксения ходит вокруг ее дома и поливает его водою. Встав поутру, она рассказала свой сон родственнице, которая приписала этот сон впечатлению ее рассказа.

В тот же день утром, вскоре после их разговора, в двадцати саженьях от дома загорелся сарай, в котором находилось около четырех тысяч пудов сена. Дому, конечно, угрожала большая опасность, однако же он остался цел и невредим».

Второй рассказ того же отца Стефана:

«Одна немка-лютеранка страдала сильною мигренью. Ее соседка по комнатам, православная, пошла на кладбище, принесла оттуда земли, взятой на могиле Ксении, и посоветовала ей положить на больное место. Больная послушалась, приложила, и боль живо затихла. Когда боль успокоилась, немка отняла землю и положила в шкаф. Это было вечером. Через несколько минут она заметила, что вокруг земли появился какой-то странный свет, а в тоже время шкаф как будто начал дрожать. Испугавшись, немка переложила землю на комод,

и на нем повторилось тоже самое. Она еще больше испугалась и позвала свою соседку: эта последняя, узнав в чем дело, поставила в углу ее комнаты икону, положила подле нее землю и зажгла лампадку. Тогда свет исчез и все успокоилось».

Рассказ этот сообщен отцу Стефану самой немкой, которая свято уверовала всему случившемуся, и достаточно силен для поддержания в народе уважения к могиле Ксении.

Третий рассказ мы слышали от одного военного старичка, ныне уже в отставке, который, выйдя из часовенки и услышав наш разговор с кладбищенским сторожем, у которого мы спрашивали, кто и когда построил эту часовенку, подошел к нам и сказал:

— Часовенка эта, насколько мне известно, построена одним из старост, кажется, Марковым или Макаровым, на средства, пожертвованные народом. А что касается Ксении, то я могу вам рассказать маленький случай из моей жизни... Лет пятнадцать тому назад, когда я был помоложе — теперь мне около шестидесяти, — я вознамерился определить своего единственного сына в одно из учебных заведений на казенный счет и для этой цели, с разрешения начальства, приехал из Западного края в Петербург. Подав прошение в несколько учреждений, я, к величайшему моему огорчению, отовсюду получил отказ. Горе меня обуяло, что постигла такая неудача, и в отчаянии я уже хотел уехать домой. Расплатившись в номере, где я остановился, я, сетуя на неудачу, рассказал о том хозяйке меблированных комнат, которая как-то вечером

рассказала мне о Ксении. Женщина она была простая и поэтому попросту и отвечала.

— Эх, ваше благородие, да вы бы поехали отслужить панихиду на могилке рабы Божьей Ксении. Авось она и замолвит за вас словечко у Всевышнего.

Я ничего не ответил ей и, решившись остаться еще на одни сутки в Петербурге, на следующее утро отправился с сыном на Смоленское кладбище и пригласил священника отслужить панихиду. Затем, помолившись и подав нищим, потихоньку поплелся домой... Но каково было мое удивление, когда, вернувшись домой около обеда, я застал в своем номере на столе казенный пакет. Схватив его дрожащими руками, я уж не помню, как вскрыл и прочел бумагу, что мой сын принят в одно из учебных заведений, начальство которого сначала решительно отказало в моей просьбе.

Чему приписать это чудо: случайности ли или какому совпадению, не берусь решить, но на следующий день я, в благодарность за это, отслужил вторую панихиду и с тех пор служу каждый год».

А вот еще один рассказ, переданный нам одним из очередных кладбищенских священников, к которому мы обратились с просьбой рассказать нам что-нибудь о Ксении.

«Однажды, — сказал он, — я был тоже очередным и ко мне подошли три дамы в траурных платьях; одна из них была постарше, а две помоложе, как видно — ее дочери. Это было 13-го сентября. Они пригласили меня отслужить панихиду на могиле Ксении. Я немедленно исполнил их просьбу,

за что и получил довольно щедрое вознаграждение. После этого раза они аккуратно являлись каждый месяц, именно 13-го числа, и каждый раз я служил панихиду. Всегда они приходили втроем и я хорошо заметил, что они не только приходили в это число, но даже в один час».

Из всего этого только видно, что о Ксении знают все петербуржцы, но как, почему и что — никому неведомо. Одно достоверно, что на ее могиле служатся панихиды, что к ней приезжают с отдаленных окраин России и что ее могилу почитает народ.

В ее маленькой часовне находится в изголовье прекрасная икона распятия Спасителя на кресте, а вверху кругом стен иконы в киотах, пожертвованные разными лицами по тому или другому случаю. Между ними есть серебряные, золоченые, но большею частью металлические; некоторые с венчальными свечами.

Налево от входа — два серебряных образа в киоте, пожертвованные князем Масальским перед отъездом на войну с турками в 1877–1878 годах.

Говорят, что он вернулся цел и невредим, но вскоре заболел и умер.

Раз нам пришлось присутствовать на одной из многих панихид, и наше внимание было обращено на старушку лет пятидесяти пяти—семи и молодого человека с девочкой лет двенадцати: она пригласила священника отслужить панихиду и, во время служения, сильно плакала, стоя на коленях у могилы; молодой человек стоял позади тоже не без слез; девочка поникла головой и с грустью смотре-

ла то на молодого мужчину, вероятно брата, то на старушку, по-видимому бабушку.

После панихиды, когда священник ушел, она набожно перекрестилась на образа и громко произнесла:

— Господи! Упокой рабу Ксению и услышь мою молитву.

Смотря на нее, и нам сделалось грустно. Видно, какое-нибудь семейное горе заставило ее обратиться к Ксении и просить ее заступничества.

Мы осмелились обратиться к молодому человеку с вопросом; (тот смутился, но все-таки ответил:

— Семейное горе, даже несчастье, о котором людям посторонним неудобно сообщать...

— Ну, Вася, — отозвалась старуха к молодому человеку, — пойдем, и Господь нам поможет...

И они ушли, оставив нас в неом предположении, что с ними случилось, видно, что-нибудь необыкновенное.

Часовня открыта каждый день во время обедни, а в хорошую летнюю погоду и по праздничным дням — целый день. По желанию посетителей, она открывается и в неуказанное время, то есть тогда, когда она по обыкновению заперта.

Мир праху ее!

ДОБРЫЕ ПОДВИГИ

Среди тех странников, которые из году в год в студеную зиму и летнюю жару ходят по святым местам Русской земли, попадаетса немало замечательных людей. Часто они ведут сокровенную в Боге истинно духовную жизнь, полную подвигов.

Сталкиваясь с множеством людей, многое они слышат, многое узнают, и часто рассказы их чрезвычайно назидательны. Сейчас и будет передано несколько повествований одного благочестивого странника.

Родился этот странник в деревне Орловской губ., и рано, по третьему году, остался круглым сиротою со своим десятилетним братом. Сирот взял к себе их дедушка, набожный и зажиточный человек. Он держал на большой дороге постоялый двор и, по его доброте, у него любили останавливаться. Старший брат был резв и неусидчив, все бегал по деревне, а младший сидел больше с дедушкой, по праздникам ходил с ним в церковь, а дома дедушка читал внуку Библию, которую тот впоследствии хранил всю жизнь, как святыню. Выросши, старший брат принялся пить. Однажды под пьяную руку он так толкнул младшего брата, что тот, падая, повредил себе руку, которая стала у него сохнуть, и осталась такой на всю его жизнь. Видя, что внук его будет непригоден по убожеству своему к сельским работам, дед стал учить его грамоте по той самой Библии, которую раньше читал вслух, а от сельского писаря мальчик научился письму. «Бог открыл тебе грамоту, будешь человек, — говорил дед внуку. — Чаше ходи теперь в церковь, да благодари Бога за Его милость». И внук с дедом не опускали ни одной службы; много маливались и дома. Заставят дедушка и бабушка внука молитвы читать, псалом «*Помилуй мя, Боже*», а сами поклоны кладут. Когда бабушка умерла, дед стал уговаривать внука жениться и выбрал ему степен-

ную и добрую девушку. Через год дедушка почувствовал приближение смерти и сказал внуку: «Вот тебе дом мой и все наследство. Живи по совести, никого не обманывай, да молись больше всего Богу: все от Него. Ни на что не надейся, кроме Бога; ходи в церковь, читай Библию, да нас со старухой поминай». Старик передал внуку тысячу рублей. По смерти деда старший брат стал завидовать, что младшему достались и дом, и имение. В одну ночь, когда все спали, он подломал чулан, вытащил из стоявшего там сундука деньги и зажег чулан. А огонь перешел на всю усадьбу, хозяева еле успели выскочить в чем спали. Но спасли лежавшую у них в головах Библию.

И стали жить они бедно. В долг поставили маленькую хижину. Жена хорошо знала рукодельную работу, ткала, пряла, шила: тем и мужа кормила, трудясь день и ночь. А он, сердечный, по убожеству своему и делать ничего не мог, сидит, знай, около жены, да Библию ей вслух читает. Она слушает, слушает, да вдруг слезами и зальется. — «О чем ты плачешь? — спросит муж. — Ведь, слава Богу живем». А она ответит: «Умилительно мне, как это в Библии все хорошо написали». Много супруги постились, читали всякое утро акафист Божией Матери и на ночь оба клали по тысяче поклонов. Так прошло два года. Жена заболела и умерла горячкою. Страшно тяжело было молодому вдовцу. Кормиться ему было нечем. Да и жены жаль: очень он с нею сжился. Как, бывало, войдет в хатку да увидит ее какую вещь или платок, так взвост до того, что без памяти упадет. И решил он тогда сде-

лать то, что делают в подобных обстоятельствах многие люди на Руси: начать странническую жизнь. Продал он за двадцать рублей свою избушку, одежду — и женину, и свою всю раздал нищим, взял вечный увольнительный паспорт и пошел молиться в Киев, а там побрел по просторной Руси — от теплых рек Юга до студеной Сибири...

Однажды приняли нашего странника в семействе, в котором такие люди находили всегда радушный прием, и пришлось ему от хозяина дома услышать очень поучительный рассказ.

Видишь, говорит ему хозяин, пришел к нам один нищий с паспортом отставного солдата, старый, дряхлый и такой бедный, что почти и наг, и бос, говорил с нами так просто, как бы степной мужик. Мы взяли его в нашу нищеприемницу. Дней через пять он сильно захворал, а потому мы перенесли его в эту беседку и стали с женою ходить за ним. Он, видимо, приближался к смерти. Мы его приготавливали к концу, пригласили священника. Он исповедовался, приобщился и особоровался. Накануне смерти своей он встал, потребовал у меня лист бумаги и перо; потом попросил меня запечатать двери и никого к нему не пускать, пока она не напишет письмо к своему сыну. Он объяснил, что в письме этом заключается его завещание, и просил по его смерти переслать письмо в Петербург. И он стал писать не только красивым почерком тонко воспитанного человека, но и правильными мыслями, верными и изящными оборотами речи.

Тайна его жизни заключалась в следующем, как он мне открылся.

«Я был князь, — говорил он, — имевший богатое состояние и ведущий роскошную и рассеянную жизнь. Жена умерла, и я жил с сыном, служившим офицером в гвардии. Однажды, собираясь на бал, я был очень рассержен своим камердинером и в сердцах сильно ударил его в голову и приказал сослать в деревню. На следующее утро этот человек умер от воспаления в голове. Пожалел я тогда о своей неосторожности, но продолжал жить спокойно.

Прошло шесть недель, и этот камердинер стал мне являться. Сперва я видел его во сне, и он мне повторял: «Бессовестный, ты мой убийца!» Потом я начал видеть его и в бодрственном состоянии, наяву. Все чаще и чаще он меня беспокоил, и мне не стало от него покоя. Затем вместе с ним я стал видеть и других умерших: мужчин, которых я жестоко обидел, и женщин, которых соблазнил. Они все меня укоряли, не давали мне покоя, так что я не мог ни спать, ни есть, ни заняться чем-нибудь. Врачи не могли помочь мне и защитить меня от преследования мертвецов. Я поехал лечиться в чужие края, пролечился полгода, не получил облегчения и все сильнее страдал от мучительных видений. Я испытывал в полной мере ужасы адских мучений души прежде отделения ее от тела. Тогда я уверился, что есть ад, и узнал, что он значит.

Одно, что мне оставалось делать, это искать утешения у единственного верного Утешителя — Христа.

Я сознавал все свои преступления, говел, и, общаясь, отпустил на свободу всех своих слуг; за-

тем дал клятву всю жизнь провести в унижении, скрылся под видом нищего, чтоб страданьем искупить все прошлое мое зло. И только что я принял твердое к тому решение, я почувствовал облегчение совести. Сладость примирения с Богом была невыразима. Я узнал, что такое рай и как отверзаются двери Царствия Божия. Я совершенно выздоровел, достал себе паспорт отставного солдата и тайно покинул столицу. Вот уже пятнадцать лет, как я скитаюсь по всей Сибири. Иногда нанимался у мужиков на посильные работы, иногда прокармливаю себя именем Христовым. И при этих лишениях какое я испытывал блаженство, счастье и спокойствие совести».

И после рассказа этого покаявшийся грешник почил безмятежною кончиною. Завещание его к сыну было следующее:

«Любезнейший сын мой, уже пятнадцать лет, как ты не видишь твоего отца, но он в безызвестности своей, изредка уведомляясь о тебе, питал к тебе отеческую любовь, которая заставляет послать к тебе и предсмертные строки сии, да будут они тебе уроком в жизни. Тебе известно, как я страдал за мою неосторожность и невнимательную жизнь. Но ты не знаешь, как я блаженствовал, наслаждаясь плодами покаяния. Оставляя тебе мое родительское благословение, заклиная тебя помнить Бога, хранить совесть, быть осторожным, обращаться с подчиненными людьми как можно благосклоннее, любезнее, призирать нищих и странных. Помни, что и умирающий отец

твой в нищенстве и странничестве только обрел покойствие и мир мучившейся душе своей.

Призывая на тебя благодать Божию, я спокойно закрываю глаза мои во уповании жизни вечной, по милосердию Ходатая человеков, Господа Иисуса Христа».

Прибавлять к этому рассказу нечего, и лишь уста невольно шепчут: «Боже, милостив буди к нам грешным».

(Е. Поселянин. «Кормчий»,
1905 г., № 8).

В СВЯТУЮ НОЧЬ

Тихая весенняя ночь спустилась над пробудившейся от зимнего сна землей и величественно раскинула свой таинственный звездный покров.... В густом лесу пахнет молодою, свежеею листвою и радостно разносится в чистом ночном воздухе звон монастырского колокола, призывающего народ к светлой заутрене в эту великую, святую ночь Воскресения Христова.

Небольшая, бедная обитель почти совершенно затерялась в чаще старых деревьев, плотною стеною придвинувшихся к монастырским стенам со святыми воротами, над которыми виднеется икона Нерукотворенного Спаса с теплющейся перед нею неугасимой лампадой. Все иноки уже давно в храме, хотя служба еще не началась, и только отец Онисифор остался в своей келье, так как злая горячка уже давно приковала его к постели и его шестидесятилетний организм едва борется с упорным недугом...

Врач-монах, отец Исидор, с часа на час ожидает кризиса и даже не советует больному отпустить от себя к заутрене келейника Евгения. Но разве можно в эту святую ночь лишать человека высшего духовного утешения? Отец Онисифор сам настойчиво потребовал, чтобы юноша пошел к заутрене. А приказывать и требовать беспрекословного исполнения своих приказаний отец Онисифор научился еще тогда, когда служил в военной службе.

Впрочем, как все это было дивно!

Уже более четверти века, как отставной полковник Михаил Иванович Однобоков бросил блестящую военную карьеру и удалился в эту тихую обитель, которая запечатлелась в его памяти еще со времен юности.

Вот как это случилось.

Михаил Иванович всего только год как был произведен в офицеры в Н-ский гусарский полк, квартировавший в это время на юге России в Заднепровье. В августе месяце того года были назначены большие кавалерийские сборы в окрестностях местечка М., и полк, в котором служил молодой корнет Однобоков, двинулся туда походным порядком.

Путь был не ближний: верст около двухсот, и с дневками на это потребовалось целых восемь дней, но походная жизнь очень понравилась Михаилу Ивановичу. Постоянная перемена лиц, впечатлений и дивные картины нашего благодатного юга, потонувшие в вишневых рощах беленькие хатки, пирамидальные тополи, белые акации, могучие каштаны...

Особенно врезался в память Михаила Ивановича один вечер, ясный и тихий, когда его полк, торопясь поскорее добраться до ночлега, вступил в вековой дубовый лес.

Солнце быстро опускалось к закату, и в налитом лесными испарениями воздухе чувствовалось приближение ночи. Перед эскадронами весело заливались песенники и глухо звякали сабли, и на душе у Михаила Ивановича было легко. Сам он был такой счастливый, жизнерадостный. И вдруг глазам его представилась тихая обитель, совсем затерявшаяся в глухой чаще леса.

Игумен с братией вышел навстречу христороубивому воинству с крестом и святою водою, причем офицеры слезали с коней и подходили под благословение убеленного сединами старца, солдаты же на ходу набожно осеняли себя крестным знаменем.

И тогда уже на чуткую душу Михаила Ивановича произвел сильное впечатление контраст между богато расшитыми гусарскими мундирами и скромною одеждою иноков, между бесшабашностью его товарищей и смиренным видом людей, затворившихся от мира...

Отец Онисифор лежит и, внимая торжественным звукам пасхальных колоколов, вспоминает такую же святую ночь много лет тому назад в родовом однобоковском имении «Коровий Овраг». Еще дня за два до праздника все в доме чистилось и перемывалось, а в самую страстную субботу снимались чехлы с мебели и кисея с фамильных порт-

ретов, из старинных рам весело глядели целые поколения Однобоковых.

Едва только оканчивалась эта уборка, как наступало время отправляться в сельскую церковь к заутрене. Отец его надевал тогда свой отставной мундир с орденами, а он, маленький Миша, завитой, в белом костюмчике, прыгал от радости, что ему, как большому, позволяли не спать после десяти часов.

Отстояв обедню, вся семья на длинной долгуше возвращалась домой, где под наблюдением дворецкого Игнатича приготавливался роскошный пасхальный стол с массою всевозможных копчений, солений, домашних наливок, запеканок, пасок, куличей...

«Христос воскрес!» — «Воистину воскрес!» — раздавались радостные голоса, и слышались братские лобзания.

«Христос воскрес!» — донесся и теперь до отца Онисифора знакомый и дорогой ему голос покойной матери, но так явственно, что больной даже встрепенулся.

Затем он снова закрыл глаза, и новый рой воспоминаний пронесется в его разгоряченном мозгу, но все это происходит гораздо быстрее, чем один удар колокола следует за другим.

Он вспоминает первый неожиданный удар судьбы — утрату отца, а затем вскоре и матери. Перед смертью родители успокаивали себя тем, что их Миша окончил академию генерального штаба и, таким образом, будущее свою обеспечил. На самом деле уже тогда этому блестящему офицеру

приходили мысли о пустоте мирской жизни и об исключительном служении Богу. Все суета-сует и всяческая суета! — решил молодой капитан, но вопрос о поступлении в монастырь был отложен на неопределенное время, так как ему встретилась на жизненном пути скромная девушка, которую он полюбил всею душою!.. Полюбил и... женился.

Как они были счастливы, как светло казалось им все впереди, но вот опять неумолимая смерть отняла у него все, что только привязывало его к жизни, отняла его любимую Таню.

Это несчастье постигло его как раз перед русско-турецкой войной, и хотя он из самолюбия не мог просить об отставке, но мысль удалиться от мира овладела всем его существом. После же войны Михаил Иванович оставил службу в чине полковника, привел в порядок все свои дела и навсегда поселился в той самой обители, где он больной встречал теперь светлый праздник. Отец Онисифор хочет открыть глаза, но чувствует, что веки его отяжелели и, что это с ним происходит? Сон или бред?

Отец Онисифор видит себя в своем настоящем виде, то есть в черной монашеской рясе и клобуке, но каким образом попал он на эту снежную равнину, и что это за горы вырисовываются в туманной дали? Впрочем, он скоро припоминает: это шоссе от Филип-пополя на Андрианополь... Вон брошенные в стороне от дороги повозки, наполненные скарбом турецких беглецов, и сами эти несчаст-

ные беглецы, коченеющие от холода, замерзающие...

Русский солдат не будет трогать безоружного врага, но паника охватила все окрестное население, тем более что следующие за нашими войсками болгары имеют с турками свои счета!

Отец Онисифор обращает особенное внимание на старого турка с повязкою на голове, через которую сочится кровь. Он не может идти далее и сидит при дороге, бросая взгляды то на лежащий рядом с ним труп мальчика, вероятнее всего своего внука, то апатично следя за двигающимися по шоссе колоннами... Всмотревшись пристальнее, отец Онисифор узнал этого турка: ему он спас жизнь много лет тому назад, не заслужив, впрочем, благодарности от сурового поклонника корана.

Неужели он и теперь нуждается в помощи?

Он направляется к нему, поминутно проваливаясь в глубоком снегу, натываясь на отставших раненых и замерзающих, но силы ему изменяют, и он падает в изнеможении в нескольких шагах от старика. «Помогите!» — обращается он к проходящим солдатам, но они в стройном порядке движутся дальше, и он остается один среди снежной равнины, превратившейся в долину смерти.

Но, нет, он не один! Близ него с невыразимой скорбью в лице проходит Тот, Кто исцеляет все людские немощи, Кто ободряет и дает надежду умирающим. На руках Его и ногах еще видны следы гвоздей, на бедре зияет свежая рана!

С надеждою на спасение устремляет отец Онисифор свой взор на Спасителя всего мира, но Он

Сам заметил его, простирает к нему Свои руки и, приподнимая его с земли, властно произносит:

— Верь, раб Мой Онисифор, верь и надейся! С чувством глубокого облегчения больной открывает свои глаза и убеждается, что он по-прежнему находится в своей келье, но пред ним стоят уже вернувшиеся от заутрени отец Исидор и келейник Евгений.

— Христос воскрес! — говорит монастырский врач.

— Воистину воскрес! — радостно отвечает отец Онисифор и сам удивляется наплыву новых сил.

Затем он обменивается таким же радостным приветствием со своим келейником.

— Слава Богу! Кризис, которого я ожидал сегодня, благополучно миновал, — продолжает отец Исидор.

— Да... мне лучше...

— Теперь ты скоро совсем поправишься.

— Конечно, если Он Сам приказал мне верить и надеяться, — убежденно произнес отец Онисифор, набожно осеняя себя крестным знамением...

(М. Караулов. «Русский Паломник», 1907 г, № 17).

ГДЕ БОГ ДА ЛЮБОВЬ — ТАМ И СИЛА

Три года назад под гостеприимным кровом одного старичка-диакона, Тимофея Петровича Тимофеевского, в захолустном селе Ваганове Владимирской губ., из отдаленных уголков матушки Руси собрались почитатели местного старца. Собрались они на 50-летие трудовой жизни простеца диакона.

«Господу было угодно, — писал пред этим о. диакон своим почитателям, — продлить мою жизнь до того счастливого дня, когда исполнилось 50 лет со дня моего служения Церкви Божией и посильной просветительной деятельности в качестве народного учителя. Вознамерившись возблагодарить прежде всего Создателя всяческих за Его милости ко мне, выразившиеся в успехе моих трудов, и предполагая приложиться к отцам и братьям нашим, приглашаю и смиренно молю вас прибыть в село Ваганово для совместного вознесения молитв Господу Богу, помогающему в добрых делах».

Многие откликнулись на этот простосердечный призыв. И этот отклик показал, как властно, неотразимо влечет к себе людские сердца подвижническая жизнь бескорыстных трудников, полною горстью, не щадя сил и здоровья, сеющих семена христианской мудрости. А Тимофей Петрович и был таковым трудником — трудником у престола Божия и на широкой ниве детских сердец.

И чем реже встречаешь этих почтенных деятелей доброго старого времени, тем понятнее желание запечатлеть их общий духовно-нравственный облик, тем настойчивее потребность вскрыть светлые странички их незаметной трудовой жизни. А их много в жизни о. Тимофея.

Сын старорусского простеца-дьячка, учившего многочисленную семью на медные деньги, Тимоны, как звали о. диакона в детстве, 8 лет провел во Владимирском духовном училище, откуда не раз пешком приходил он за 60 верст под родительский кров, на свой любимый Тимофеевский погост, что-

бы отдохнуть здесь, на приволье, за крестьянской работой от скучной школьной жизни.

Жажда живой деятельности и скудость отцовских средств заставили Тимоню покинуть школу.

И вот однажды он является к ректору школы с прошением уволить его по недостатку средств у отца к содержанию в школе.

Прочитал прошение ректор и, добродушно улыбнувшись, спросил: «Какое же свидетельство дать-то тебе, черное или белое?»

— Как видите, я сам черноволосый да грязненький, дайте же мне свидетельство белое, а не черное, — просто ответил Тимоня.

И ректор дал ему свидетельство белое с очень удовлетворительными отметками по успехам и поведению.

И все это проделал малец потихоньку от брата Ивана, который учился с ним вместе в одном и том же училище.

Скрылся Тимоня из Владимира. Брату его, узнавшему о внезапном исчезновении своего любимого Тимони, снились иногда страшные сны: он видел его то утонувшим в волнах реки, то съеденным волками, то погибшим под развалинами горевшего дома.

А Тимоня не тонул и не горел. С благословения архиерея и своего отца он временно вступил в Суздальский монастырь, где стал готовиться в дьячки, и, в девятнадцать лет женившись, он занял давно желанное место дьячка в беднейшем селе Жерехове.

Унаследовав вместе с женой тещу-вдову, троих ее братьев да сестру, дьячок Тимофей всех их вывел в люди.

Быть может, в другом тяжелая дьячковская доля пришибла бы все добрые порывы молодой души. Но не таков был жереховский дьячок. Дьячковство было для него завидной долей, потому что он понял, чем может скраситься его трудовая доля. В сердце его загорался светлый порыв к просветительской деятельности в темной крестьянской среде, который ярко потом и теплился в нем до конца его трудовой жизни.

Тимофей Петрович с самого же вступления задумал обучать крестьянских детей грамоте, письму и «цифири» за небольшую плату. И дело пошло в ход; желающих было много. Точно улей оживилась тесная избушка дьячка, переполненная малышами, которых набивалось до пятнадцати человек. Тесно было Тимофею Петровичу, а желающих учиться все более и более приходило к нему. И вот на скудные средства кое-как соорудил он большую избу. Хотя и в большой тесноте, но все же в ней стало уместиться до сорока человек. Ширилась просветительная деятельность молодого трудника, особенно привлекавшего учеников в свою школу тем, что он, не в пример другим, как-то быстро умел обучать детей грамоте — в одну зиму, чего не умели делать другие современные ему учителя.

Отдавшись всею душою делу обучения грамоте, жереховский дьячок задумал и еще одно диковинное дело. Он надумал построить... храм.

И вот что побудило его к этому, казалось бы, невозможному для дьячка, при его скудных средствах, великому делу.

«Со мною приключилась болезнь, не знаю какая, — так рассказывал сам Тимофей Петрович о построении храма. — Болезнь была столь жестокая, что жизнь моя висела на волоске. Меня приобщили Святых Тайн, особоровали и уже готовили к смерти. А я, между тем, в сонном видении видел двоих монахов, которые сказали мне: «У тебя нет иконы Божией Матери, именуемой «Боголюбовою». Обещайся иметь ее, и ты подымешься от болезни». Сказали и стали невидимы. Я сказал об этом жене своей, и мы положили купить икону, только бы мне оправиться от болезни».

Через несколько дней Тимофей Петрович выздоровел и, сходяв с женою в Боголюбовский монастырь, приобрел святую икону, которую и пожертвовал в церковь. Священник с благодарностью принял эту посильную жертву и пожалел, что у них нет теплого храма. Эти слова священника и залегли в душу исцеленного дьячка.

И, видно, искра Божия запала в сердце его, что он подвигся на великое, неслыханное для такого бедняка дело.

И вот как, по его же словам, принялся он за него.

«Что ни делаю, — рассказывает Тимофей Петрович о сооружении храма, — а душа не оставляет меня: как бы построить теплый храм на месте часовни? Но, думаю, с чего начать? И решил — лучше всего с приготовления кирпичей.

Помолясь пред святою иконою в храме и не сказав никому ни слова, даже жене своей, я начал делать свои кирпичи, с мыслью: если не пригодятся для церкви, то пригодятся для дома.

Десять лет приготовлял я кирпичи и наделал их тысяч до сорока. Спросив добрых людей, как надо их обжигать, я сделал запас, потребный для этого, дров и обжег мои кирпичи. «Начало сделано, слава Богу, — думаю про себя, — теперь полцеркви готово! Нужно заготовить известки».

В Москве продал я за сто двадцать рублей доморощенную лошадку да пчел сорок ульев, и на эти деньги купил пудов двести извести и изготовил местные иконы для иконостаса будущего храма.

Теперь весь народ узнал, что я затеваю. Судят всяк по-своему. Кто хвалит меня, кто бранит, кто смеется надо мною, кто считает богачом. Говорили, что я клад нашел, поживился чужим добром и за это Бог не потерпит мне. Но я свое дело делал: случатся деньжонки (доходу ли церковного придет на мою дьячковскую долю, овсеца ли продам), куплю то досок, то бревен для храма. Таким образом исподволь, понемногу, не сгоряча, по цене самой умеренной, я все заготовлял. Настала пора приниматься и за работу.

Помолясь с особенным усердием Божией Матери, я написал Его Преосвященству такое прошение:

«Божиим внушением давно родилась у меня мысль построить в селе нашем поместительный теплый храм, на рубеже церковной ограды, где теперь находится часовня. Хотя и есть у нас церковь

для богослужения зимой, но она тесна, имеет свод высоко поднятый и потому холодна. К такому трудному для моих средств и высокому для моего звания предприятию приготавлился я с давнего времени. По соображению моему, материалов для построения храма имеется в настоящее время в готовности довольно. Прошу, высокопреосвященнейший, благословить начать построение храма по представленному при сем фасаду, составленному г. архитектором».

Таким образом Тимофеем Петровичем был сделан решительный шаг. Преосвященный, после сношения с благочинным, разрешил ему сооружение храма. Торжествующий строитель храма назначил, было, и день закладки храма на 18 мая, но, к великому огорчению для него, указ из консистории к этому дню не пришел. А между тем, на 18 мая к предполагаемому месту постройки храма собралось народу «многое множество». Многие пришли с деньгами, чтобы сделать пожертвование на богоугодное дело, так что старостою собрано было рублей до пятидесяти. Прибыл и благочинный, думавший, что дьячок-строитель давно уже заручился указом, а Тимофей Петрович, полагая, что он отслан уже к благочинному, и не беспокоился о нем... Что было делать?.. Приступить к делу, для которого было собрание, без указа было нельзя и пред народом было неловко.

«Градом покатились из глаз моих слезы, — добродушно повествует об этом же жереховский дьячок, — и, зная, Бог услышал мой вопль и избавил от нужд душу мою путями неисповедимыми. Один

крестьянин начал ошибкою копать ров не там, где следовало, и, ступив как-то неосторожно в немного углубленное место, проворно вынул ногу из провала и увидал на дырявом своем лапте золотистый, значительной величины, ключ.

Собравшиеся на закладку храма столпились и с любопытством смотрели на находку. Подошли и мы с о. благочинным. Он сказал, что это ключ не простой, а какой-то камергерский и толковал народу что-то мудрено, трудно понять. Держа в уме одну думу: как бы найти случай распутить народ и не подать повода к нареканию, о. благочинный воспользовался находкой ключа и сказал:

«Православные! Честь вам делает великую то, что вы собрались сюда во множестве, для присутствия при начатии, с молением Господу Богу, построения дома Божия. Но непосетуйте, если я объявляю вам, что моление при начинании храма и самое начало работ непременно должны быть отложены до другого времени. Вы сами видите: найдена здесь, при копании стены для будущего храма, вещь дорогая. Мы не знаем цены этого ключа. Может быть, это древность какая, указывающая на особенное значение самого места, где находился доселе этот ключ. Нужно довести до сведения начальства о находке, прежде чем начнем копать рвы и положим начало работам. Этим мы оградим себя от всяких, могущих встретить нас, обвинений в уничтожении истинной или мнимой старины. Я постараюсь, чтобы только несколько дней прошло и начались наши работы по построению храма Божия. Итак, прошу вас всех, православные, разой-

тись по домам своим для своих дел». Начали расходиться, и скоро все разошлись до нового приглашения.

Этим обстоятельством, совершенно неожиданным, Бог вывел меня из затруднения, в какое поставили люди добрые невысылкой указа».

Но вот скоро состоялась и закладка храма. По сделанным изысканиям на месте постройки будущего храма других древностей не нашлось, почему владимирская управа, возвратив найденный ключ для хранения при церковной ризнице, не препятствовала с своей стороны сооружению храма Божия. И лишь только сделана была закладка его, как явились и сотрудники у Тимофея Петровича. Один столяр взялся безвозмездно сделать иконостас. За ним нашлись и другие. Многие мастера работали лишь из-за хлеба. За взрослыми потянулись и дети, которые, точно муравьи, таскали песок вместе с взрослыми и кирпичи, так что каменщики едва успевали класть их.

«Веселое, золотое было времечко это для моего безденежья», — говаривал после Тимофей Петрович о начале строительных работ.

Но вот начали выводиться стены. И опять беда для усердного храмоздателя. Известка почти вся вышла. Где взять? Пудов пятьдесят дал какой-то благодетель, но дал то, что у самого, как говорится, с рук не шло. Тимофей Петрович и этому был рад. Скоро в селе Картмазове, где вынимается из земли известковый камень и пережигается в известь, ему удалось недорого купить извести пудов семьдесят пять. Но ее стало ненадолго, а денег нет.

Останавливать работу не хотелось. Думает и ничего не придумает безденежный пономарь. Ночи не спятся ему. И вот он — с усердной молитвой к Богу. И Он услышал молитву его. Нужно было сделать творило для смачивания извести. Выбрав новое место, стали копать, сняли верхний пласт земли, и что же оказалось?! Попали на какое-то творило с известью, неизвестно кем и когда заготовленное, сажени три в длину, две в ширину и в аршин глубиной. Известь — первый сорт! Не Божия ли это милость?! Не явное ли чудо?! Известь кем-то была куплена, привезена сюда, растворена, но не употреблена в дело и засыпана землею, как ненужная; никто об ней не знал, а Тимофей Петрович попал на нее совершенно случайно и ни прежде, ни после, а именно тогда, когда крайне в ней нуждался, попал после усердной молитвы Господу Богу и Пресвятой Богородице.

Но вот видит Тимофей Петрович, что и кирпичиков-то осталось немного клеточек; а дельца каменного еще довольно. Денег для кирпича нет. Просить займы ему не хотелось, да и не у кого. Но вдруг и здесь опять помощь, откуда и не ожидал храмоздатель.

Незадолго пред этим упал от ветхости каменный барский сарай. Он — к управляющему, и купил весь сарай почти даром. Очистить кирпич ничего не стоило: сделали это усердствующие. Теперь, по милости Божией, кирпича и известки стало опять в изобилии. Мало того, в стенах развалившегося сарая, купленного Тимофеем Петровичем, нашлось и железа в достаточном количестве на все

потребности. Скоро каменная постройка закончилась...

Оставалось теперь рассчитаться с рабочими, но чем рассчитаться? Денег не было ни копейки. Продать Тимофею Петровичу было нечего: коровы и овечки давно со двора спущены за денежки. Вся надежда была на осень, когда можно было продать хлеба, овса и разжиться деньгами. Но рабочие не ждут ни дня, ни часа. И вот бедняк-псаломщик идет просить в заем. Нужда загнала его к человеку богатому. Стал просить он у него денег для разделки с каменщиками — не дает; он просит всего на неделю — не дает; просит на четыре дня... «А тогда еще возьмешь?» — говорит богач. «Это дело не твое, Бог подаст!» — отвечал Тимофей Петрович. «А как не подаст?» — говорит первый. «Я тебе говорю — подаст!» — «Хорошо, до воскресенья подожду. Дай расписку в том, что я, такой-то, взял денег у такого-то на четыре дня, не более». Дал ему расписку Тимофей Петрович, хотя сам и плохо надеялся в такой короткий срок уплатить деньги и разделаться с рабочими.

Но вот и воскресенье наступило — срок для отдачи денег. Литургия к концу, и кредитор пришел помолиться, что редко прежде делывал. Увидал его Тимофей Петрович, и сердце его обмерло, слезы навернулись на глазах. Стоит он в алтаре, как истукан. Вдруг к северной двери подходит старушка и говорит: «Петрович! Петрович! Тебе вот писулька». — «От кого?» — «Увидишь!» Снимает он печать с конверта и... Боже милосердый! — деньги при записке. Что за деньги и от кого — не стал и чи-

тать он: от радости положил только три земных поклона пред святым престолом, отыскал своего заимодавца в церкви и отдал ему с благодарностью долг. Не явная ли это милость Божия!

После оказалось, что деньги эти прислал купец Н. А. Еще когда копали для фундамента рвы, найден был золотой с распятием крестик. Тимофей Петрович, не оглашая о находке, послал этот крестик к Н., так как он был человек набожный и не бедный: он-то и вздумал за эту святыню прислать при письме деньги на построение храма (15 р.). Какое стечение обстоятельств! Деньги получены в то самое время, когда была в них самая крайняя нужда.

Оставалось для Тимофея Петровича еще последняя трудность, — покрыть новое строение железом. В свободное от полевых работ время Тимофей Петрович сам начал готовить лес и изготовил решетник под кровлю. Один недорогой столяр принялся за постройку оконных рам, а староста, хороший плотник, начал настилать, в свободное от полевых работ время, пол в новом храме.

Настала осень. Не без туги сердечной обошлось для жереховского дьячка покрытие церкви железной кровлею: и хлеб, и овес продал он, а денег все мало было для покупки железа. Однако и на этот раз нашелся добрый человек, который, принеся деньги к Тимофею Петровичу, сказал ему: «Отдашь деньги — возьму, а не отдашь — не потребую. Знаю, что деньги мои пойдут на храм Божий. Грешно будет нуждать тебя». Чуть не в ноги поклонился доброму жертвователю обрадованный дьячок и при

его помощи покрыл, таким образом, церковь хорошей кровлей. Крест Господень воссиял на главе ее.

А скоро прошла и зима, наступила весна, а тем временем дьячок-строитель тихо, понемногу, не торопясь, своими руками то разбирал леса, то кружала выбивал из-под сводов, то мусор выкидывал. Староста настилал полы, а столяр делал уже зимние рамы. Но вот и иконостас установили. День за день — и храм готов к освящению...

Помощник архитектора осмотрел работу и одобрил ее. И, к удивлению поселян, скоро своды новоосвященного храма огласились церковною службою. Так трудами и слезной мольбой жереховский дьячок воздвиг храм Господень.

Но недолго пробыл храмоздатель в селе Жерехове, в котором, при создании храма и во время обучения детей, положил немало своих молодых сил.

В 1874 году он был переведен диаконом в село Ваганово, Владимирского уезда, за семь верст от Жерехова.

С грустью и плачем проводили жереховцы своего дьячка. За 22 года Тимофей Петрович так сжился с своими прихожанами, что стал для них самым близким им человеком, который не только служил Церкви и учил детей, но и лечил поселян, собирая для этого разные травы; особенно же в этом отношении незаменим он был в холерный 1872 год, когда, при отсутствии медицинской помощи, народ в страшной панике бежал от больных. Безбоязненно тогда переходил Тимофей Петрович из избы в избу, помогая несчастным боль-

ным... Будучи пчеловодом, он охотно раздавал крестьянам свои колодки пчел и давал им советы по пчеловодству. Постоянно соприкасаясь с поселянами, Тимофей Петрович знал каждого жителя с. Жерехова и окрестных деревень; всякий нуждающийся находил в нем если не прямого помощника в своей беде, так доброго советчика. И любили же поселяне избушку жереховского дьячка; в его тесной избенке длинными зимними вечерами собирались односельчане, а он читал им Евангелие и жития святых. Те же односельчане нередко направляли к нему и прохожих странников, не знавших, где приютиться, и эти последние всегда находили в его доме и приют, и гостеприимство. Так широко и плодотворно было влияние доброго Тимофея Петровича на своих поселян. И понятно, почему плакали жереховцы, провожая своего дьячка...

За любовь любовью провожали жереховцы Тимофея Петровича, любовью встретили его и в соседнем Ваганове, так как и в Ваганово Тимофей Петрович, как и в Жерехово, шел с той же любовью к дорогим ему поселянам.

Учитель по призванию, он и в новом поселке к трудам диаконства присоединил и труд по учительству.

И вот первым делом его на новом месте было озаботиться приисканием помещения для школы. В долг, во имя святости своего труда, приобретает оно в соседнем помещичьем имении сруб и немедленно переносит его в Ваганово. И к весне того же 74 года он начал уже и занятия в новой школе. Учи-

лищный совет определил его учителем в новую школу и, вполне полагаясь на опыт диакона, не назначил туда особого законоучителя.

Зацвела новая школа на славу, несмотря на то, что о. диакон занят был еще и воспитанием своих детей и родственников.

Но живая, подвижная и любвеобильная натура Тимофея Петровича не была еще надломлена недавним трудом по храмоздательству... Учительство для него было не столько бременем, сколько делом любви и призвания, доставляющим духовную усладу. А он еще любил и подвиги ради блага ближних. И он постоянно искал их...

И одним из таких подвигов была посильная борьба его во время новой холерной эпидемии в 1891 году. Вот что писал он в свое время своему старшему сыну по поводу своих врачебных приемов:

«Я летошний год записался в санитарные сотрудники, владею казенной аптечкой с медикаментами. Я с холерой боролся, здорово помогал добрым людям: ходил к больным, нисколько не стесняясь, лечил, как умел, а именно мой рецепт против холеры был таков: как бывает удар в голову, то лью горячей воды, кто как может терпеть, потом, когда бывают судороги, то растирал крапивой, окунув в вино или керосин или в деревянное масло, под спину на голое тело клал крапивы, потом заставлял обернуть ноги в крапиву же, обуть валеные сапоги, на живот класть золы в мешках, по девяносто капель Иноземцева принимать на

три приема. Было случаев до тридцати — на третий день шли на работу».

Кончилась холера, и отзывчивая душа Тимофея Петровича запросила нового подвига — нового доброго дела... И он скоро надумал его.

Купленное им старое школьное здание приходило в ветхость, годы его уже были преклонны, а ему захотелось, чтобы школа цвела и после кончины его. От доброй мысли до дела у Тимофея Петровича всегда бывал только один шаг. И он задумал построить каменную школу. Дело для него знакомое.

Как и для церкви, тридцать лет назад, начал он исподволь готовить материалы для школы, ведя в то же время переговоры с крестьянами об уступке ему земли для постройки.

Прослышав о желании Тимофея Петровича, его старые знакомые жереховцы немедленно предложили ему десятину земли и свой безвозмездный труд. Были у него и враги, тормозившие дело постройки школы, но он говаривал о них: «Дай Бог им здоровья, силком тащат в Царствие небесное».

Как бы то ни было, но скоро началась постройка школы. Собственными руками выделявал Тимофей Петрович каждый кирпич для огромного здания. Были приглашены каменщики — и работа закипела. В 1895 году здание приближалось уже к концу. Были выведены своды, надо было вышибать из-под них кружала. Тимофей Петрович принялся за это дело и однажды был погребен под обрушившимися сводами своей постройки.

Два часа пробыл он под камнями, пока заметили беду и откопали его.

Впрочем, происшествие это мало отозвалось на его здоровье, а еще избавило его от инфлуэнцы. Вот как записал он это событие.

«Как Господь спас — и сам не знаю. Будучи внутри здания во время падения сводов, весь был я в крови, ссадил кожу во многих местах на голове и на левой руке, выбиваясь, дабы подать голос, что я жив. По Божьей помощи встал из огромной массы кирпича ни в чем невредим, даже от испуга и излишнего воодушевления, что я остался жив, остатки инфлуэнцы тут же от меня отошли. Был страшный кашель с мокротой сильной, головная боль, опухоль ног — все миновалось, содранная кожа зажила скорехонько. Случилось это 16 мая в два часа пополудни».

Новая школа была уже третьей, построенной руками Тимофея Петровича. Но сначала это была одноэтажная школа. Чрез два года по сооружении ее, пережив одно тяжелое семейное горе — схоронив свою супругу, он в 1898 году начал строить второй этаж для своего училища. Оставшись теперь один, он не нуждался более в своем старом доме и, разобрав его, весь материал употребил на постройку школы, а старое деревянное училище пошло на обжигание кирпича. Старая усадьба была разрушена; Тимофей Петрович с этой поры стал ютиться в комнатах нового училища, предназначенных для ночлега учеников.

К весне 1902 года здание было совершенно готово. Это было на пятидесятом году церковно-общественного служения Тимофея Петровича. И как

же радовался Тимофей Петрович, глядя на свое любимое создание.

«Приезжаю как-то я, — пишет по этому поводу директор народных училищ. — Идут занятия. Школа переполнена детьми. О. диакон, скромно одетый, встречает меня. Дети приветствуют меня пением, ответы их бойки, они веселы, живы, смыслены, не забиты, очевидно, что они пришли сюда, как в свой дом, здесь их родное место. К учителю обращаются они как к родному отцу. О. диакон занимается и ведет свое дело с увлечением! Я бы сказал, с восторгом... Затем повел он меня осматривать еще недостроенное тогда здание школы. Бойко вбегают по лестницам, точно юноша, этот 70-летний старец, чтобы показать свое любимое детище — создаваемую им школу.

Посещение мое было коротко, но воспоминание о нем не изгладилось и не изгладится никогда; такие картины не забываются, — они слишком редки.

Да, видно было, что школа Тимофея Петровича была плотью от плоти его, кость от костей его. В ней была его жизнь».

Надо было только дивиться, какая мощь и бодрость духа крылась в этом престарелом, но еще сравнительно крепком организме! Только очевидец может вполне представить себе ту захватывающую, полную интереса картину, как этот старичок-учитель, в диаконском сане, в день выпускного экзамена, наравне с другими своими товарищами по учебной деятельности — двадцатилетними юношами и девицами, трудится, например, над составле-

нием экзаменационного списка, раздает учебные принадлежности привезенным на экзамен своим питомцам-ученикам, с известным напряжением ждет на экзамен членов испытательной комиссии и живет тут вполне жизнью своих учеников, радуется вместе с радующимися и печалится вместе со скорбящими. И это так целые полвека!

«В праздник он служит в церкви, в будни — в школе, зимой он сеет семя слова Божия в сердца своих юных питомцев, а летом у него хватает рвения и сил сравнительно умело заняться по домашнему хозяйству. Последняя работа является для него достаточным отдохновением, после которого он с свежим запасом сил проводит новую, глубоко режущую колею учебного года на весьма обширном поле учебной деятельности».

Но окончилась 50-летняя трудовая деятельность Тимофея Петровича для родных ему сел Жерехова и Ваганова. Он теперь отдыхает под кровом старшего сына в слободе Беловодской, Харьковской губ. И посмотрите, каков его отдых. Вот отрывок из письма с места отдыха Тимофея Петровича.

«Теперь дед открыл школу грамоты в Беловодске, где у него уже до пятидесяти учеников, и работает, как юноша, с восторгом. Теснота в школе невероятная — дышать нечем. Но говорит: «Не изжени вон приходящего ко мне», — и все принимает учеников и учениц. Должно быть, скоро будет учить в окошко с улицы; большого помещения не нашлось в нашем крае, Вечером плетет сеть для ловли рыбы, а пока тепло было, рыл ямы под виноградник, который хочет развести у нас...»

Всяк по-своему понимает отдых...

Сравниваешь эту многотрудную бескорыстную деятельность и воочию убеждаешься, чего недостает современным трудникам школ.

Конечно, мы больше знаем, наши методы лучше, мы учим лучше. Но это — не все... Метод еще не самое главное, важна цель, любовь к этой цели, вера в нее, потому что любовь и вера — это самые могущественные, созидающие силы. Дело не столько в богатстве, сколько в вере в Бога и в любви к труду и людям.

Это, по крайней мере, в ряду многих незаметных тружеников, целою жизнью своей и показал добрый труженник — протестант-диакон. Он, как золотая пчелка, вечно в трудах, на счастье ближним жил, добивался, терпел и побеждал. А жить и побеждать во имя лучших стремлений, при постоянной любви к православной вере, к чести и долгу гражданскому, к малым сим, и с ними и в них к родине — великое дело...

(«Воскресный день», 1906 г., № 39-42).

ПОРАЗИТЕЛЬНЫЙ ПРИМЕР ВЕРНОСТИ

Весной 1707 года царь Петр Алексеевич во время своего пребывания в Москве поручил князю Феодору Юрьевичу Ромодановскому заняться благоустройством «острожного» дела. И вот отправился Ромодановский осматривать застенки и тюрьмы московские. Прибыв в колодную тюрьму, он в сопровождении смотрителя и стражи прошел по всем коридорам ее, заглядывая в камеры и расспрашивая о преступниках.

Вдруг один из колодников говорит ему:

— Светлейший князь! Знаем мы, что ты человек набожный и богобоязненный, почитаешь память святых угодников, наипаче же чтишь святителя нашего Николая Чудотворца. Так вот, ради него-то, милосердного, окажи свою милость щедрую, отпусти меня домой на побывку — всего лишь на два дня.

— Что?! — изумленно воскликнул Ромодановский. — Да в уме ли ты, что решаешься просить об этом?

— Я в полном уме и памяти, — продолжал колодник. — Скажу лишь, что на моей родине очень почитают праздник вешнего Николая. Там в сельском храме есть престол угоднику. К тому же стосковался я по молодой жене и деткам малым. Обнять и расцеловать хочу их. Отпусти меня...

— Что за человек? — спросил князь.

— Убийца царского воина, — отвечал тот. — Какого?

— Убил преображенца, — пояснил смотритель. — Правда, совершил преступление в запальчивости...

Тем временем колодник продолжал:

— Милосердый князь! Действительно, я преступник большой. Каюсь в том пред людьми и Богом. А все-таки хотелось бы побывать на родине. Прощусь всего только на два дня, и будь уверен, что на третий день сам вернусь сюда.

Понравилась столь открытая речь арестанта князю, и спросил он его:

— А кто поручится в этом за тебя?

— Святой Николай Чудотворец, — отвечал заключенный. — Он, угодник Божий, будет порукою мне на случай соблазна.

Взглянул тут Ромодановский прямо в глаза арестанту, и что-то умильно-хорошее шевельнулось в его душе.

— Расковать и пустить его на два дня! — приказал он, махнув рукою в сторону колодника.

— Ваша светлость, — проговорил смотритель, — осмелюсь доложить... обманет он вас. Ему бы только из тюрьмы выбраться, а там поминай, как звали. Ведь для этих колодников нет ничего святого в мире. Краснобаить же они мастера. Задумался тут Ромодановский.

— В самом деле, — размышлял он. — Раз только уйдет арестант из острога, где его искать потом?.. Может, и совсем не на родину просится, а так себе, на волю-вольную... Эх, видно, погорячился я не в меру да приказ необдуманный изрек. Впрочем, что раз сказал, того уже не след ворочать, потому что Ромодановские своих слов назад не берут...

Еще раз взглянул тут князь в открытое лицо колодника и опять повторил:

— Освободить его из острога на два дня! Верю, что придет он назад к условленному дню. Святой поручитель не допустит обмана. Колодник бросился к ногам доброго князя, а смотритель, угрюмый и мрачный, приказал страже расковать преступника.

В двадцати верстах от Москвы, в селе Никольском праздник 9 мая в полном разгаре. По окончании обедни народ высыпал из храма на базарную

площадь. Там пестрой картиной расположилась уж ярмарка. Среди толпы, довольный и радостный, идет временно освобожденный арестант. На руках держит он красивого ребенка, крепко ухватившегося пухлыми ручонками за шею отца. А рядом идет статная молодлица, ведя за руку шустрого мальчугана.

— Муженек мой горемычный, — говорит женщина, — не оставляй нас, сиротинок. Смотри, как хорошо и привольно на свободе... А там... тюрьма, неволя... Правда, ты убил солдата царского. Но ведь сделал ты это без злого умысла, ненароком и нечаянно. Зачем же мучиться тебе в заточении вечном и губить несчастную семью!..

— Нельзя, родная! — отвечает арестант. — Я обещал...

— Мало ли что обещал ты в неволе острожной, — продолжала жена. — Если не вернешься к ним, то никто не сможет сделать ничего. Немедля убежим отсюда, уйдем на вольный Дон. Там заживем мы жизнью свободной. Сыны же наши поделаются казаками удалыми и за тебя царю-батюшке отслужат.

И задумался арестант под соблазнительные речи жены.

— Уйти на Дон... зажить вольготно... Но так ли? И будет ли действительно хорошо там? А совесть?.. Тот святой поручитель, что сильнее всякой тюрьмы и каторги земной?.. Что стану я делать, обманув его память святую? Все отыметсся тогда. Не станет ни удачи, ни радости, ни счастья. Иссохну и сгину я хуже раба подневольного. Недаром же

князь сказал: «Святой поручитель не допустит обмана...»

Затем снова под утешением любимой женщины начинал колебаться несчастный, и уже был близок момент, когда полная решимость бежать с семьей из родимого села овладевала им. Но... там, в глубине души, что-то властно-мощное останавливало его, направляя разум к истине и правде.... И, прислушиваясь к нему, молвил арестант:

— Нет, Святитель Николай не допустит! Я должен поступить по правде и совести.

И на другой день, прощаясь с семьей, сказал:

— Хотя тяжело мне расставаться с вами, зато чувствую, что совесть моя спокойна. Верю, что мой великий поручитель спасет меня от дальнейших бед и несчастий.

Через два дня он уже снова был в Москве и пришел в тюрьму за час до того момента, когда к ней подъехал Ромодановский.

— А я, — сказал князь встретившему его смотрителю, — ехал мимо тюрьмы и вспомнил про колодника, что призывал порукою угодника Николая. Срок данной ему отлучки окончился. Вернулся ли он?

— Да, ваша светлость, — отвечал смотритель, — поразительный пример. Он вернулся в срок и снова в тюрьме.

— Похвально! — воскликнул князь. — Сегодня же увижу царя и расскажу ему об этом редком случае.

На другой день колодную тюрьму неожиданно облетела весть, что поутру приезжал царский посланец и увез арестанта во дворец.

А когда тот возвратился, все с нетерпением спрашивали, что говорил ему царь-батюшка.

— Наш государь, — отвечал арестант, — сам пожелал узнать о моем поступке, за который я заточен. Потом, милостиво выслушав мое признание, сказал, что сокращает мое заточение до меньших размеров.

Тут арестант перекрестился и с чувством добавил:

— Слава чудотворцу Николаю, который в трудную минуту помог мне побороть мое искушение.

И в скором времени арестант получил свободу.

(И. Бабанин. «Русский Паломник», 1907 г., № 33).

СТАРЕЦ ДАНИИЛ

Старец Даниил Корнилиев *Делиенко* из малороссов, был сын жителя м. Ковые-Сенжары, Кобелякского уезда, Полтавской губернии, Корнилия и жены его Дарий Деменковых; родился 12 декабря 1784 года, в приходе Успенской церкви. В малолетстве жил, как все вообще дети жили, и был нрава смирного, непамятозлобив; грамоте не учился. Даниил был холост; в январе 1807 г. был взят в военную службу, в ратники, а затем был через два года определен в артиллерию. Он судился за принятое намерение удалиться вовсе от службы для пустынножительства и выключен из воинского звания, и назначен в ссылку в Нерчинск на работы в рудниках тамошних горных заводов, куда и был отправлен из Воронежского губернского правления.

По прибытии в Сибирь, в Нерчинские заводы, куда он следовал вместе с другими преступниками

в кандалах, он был определен в Томскую губернию, в Боготольский винокуренный завод на вечную работу. В этом заводе Делиенко находился несколько лет под начальством пристава Егора Петрова Афанасьева, от которого он претерпел много гонений и даже мучений. Пристав называл его святошею и употреблял на самые тяжкие работы, но Даниил все работы исправлял без упущения и все ночи ставил на молитве.

Пищи вкушал очень мало, да и то только хлеб с водою; среди дня, когда отдыхали, он удалялся на молитву в уединенное место, где бы его никто не видал. Пристав Афанасьев на него сердился и насмехался, говоря ему: «Ну-ка, святоша, спасайся на каторге!» Однажды, в зимнее время, посадив его, обнаженного, на крышу своего дома, велел поливать его водой из машин и в насмешку кричал ему: «Спасайся, Даниил — ты святой!» Он ничего не отвечал, а молился только о нем же Богу, чтобы не поставил ему во грех сего. Но Богу угодно было наказать жестокого пристава: у Афанасьева вдруг повернуло голову на сторону, так что лицо его было уже назад. Жена стала укорять его за неповинного старца.

Тогда он приказал позвать к себе Даниила и просил у него прощения — и после того Афанасьев стал здоров и начал уважать старца. А когда, ехавши в г. Ачинск, Афанасьев с кучером сбились с дороги и попали под буран, то пристав опять заочно просил прощения у старца, обещая, по благополучном возвращении, отпустить его — и они вдруг очутились близ дороги и селения и были спасены.

Возвратившись в завод, Афанасьев немедленно донес губернатору, что Даниил Делиенко не способен к работе, и отпустил его на волю, на пропитание. Старец переселился в г. Ачинск и построил себе келию самую маленькую, потом перешел в дом купца Хворостова, где также поставил маленькую келию и жил в ней несколько лет — в этой келии двоим нельзя было поместиться. Он трудился: по ночам копал в огородах, чтобы его не видали за делом, косил и жал в поле до совершенного изнеможения, потом немного отдыхал и вкушал пищу, которая всегда состояла из хлеба с водою или картофеля. Перед вкушением пищи он под пояс забивал деревянный клин, чтобы меньше есть. В последние годы он жил в деревне Зерцалах у крестьянина, и здесь келия его была совершенным гробом, в которой он пребывал, оставляя верхнее платье в сенцах, ибо в келии мог поместиться только стоя на коленях для молитвы. Окно у него было с медный гривенник. Эта келия и поныне, говорят, сохранилась. Даниил более двадцати лет носил тяжелые железные вериги и берестовый пояс, который уже врос в тело его, с которым и похоронили его. Еще он носил на теле железный обруч. Вериги Даниил незадолго до смерти снял с себя, сказав, просившему его о причине снятия их: «Любезный брат, потому я снял с себя вериги, что они уже не стали приносить мне пользы: тело мое так к ним привыкло, что отнюдь не чувствует тяжести». Тело его было как восковое, лицо приятное и веселое, с малым румянцем. Он постился по целым седми-

цам и более, исповедовался и причащался Святых Тайн весьма часто.

Даниил крайне был нестяжателен и никогда ни от кого не принимал денег. Преосвященный Михаил Иркутский, зная это, но желая передать ему какую-нибудь сумму, когда еще он жил в г. Ачинске, посетил Даниила и просил проводить его, и когда они вошли на паром, то Преосвященный вручил старцу просфору. Тот же, не принимая просфоры из рук Владыки, отломил с нее верхнюю часть и сказал: «Владыко святой, мы ее с тобою разделим пополам: верхнюю часть мне, а нижнюю тебе». Владыка удивился прозорливости Даниила и, поклонясь ему почти до земли, сказал: «Прости меня, брат Даниил!» В нижней части просфоры владыка искусно положил пятирублевую асигнацию, что, однако, не скрылось от старца. Много известно о прозорливости старца Даниила: когда он прибыл в 1827 году в Ачинск, случайно познакомился с одною семьею, где говорил хозяйке, что ей уготовано черное покрывало, что у нее будет монастырь и церковь богатая... Муж этой особы умер, и она решила, о чем никогда не думала, идти в монастырь и спросила — в какой монастырь идти: Иркутский или Енисейский? — «Поезжай в Иркутский, будешь и в Енисейском». И действительно, поступив в Иркутский монастырь, она была назначена игуменio в Енисейский монастырь. Вот эта-то игумения Евгения и пригласила старца Даниила в свой монастырь, где он и предал Богу душу 15 апреля 1843 г. в четверток на Пасхе, имея от роду

шестьдесят лет, прогостив в монастыре всего три месяца.

(«Кормчий», 1906 г., № 50).

ПРИЗНАНИЕ РАЗБОЙНИКА

Года два прошло с тех пор, как я слышал этот рассказ, глубоко запавший мне в душу. И кому ни приходилось передавать его своими словами, у всех невольно наворачивались слезы на глаза, слушая мою неумелую передачу этого трогательного случая из жизни государственного деятеля, занятого массой всевозможных дел и работ.

Лет пять, шесть тому назад, как передавали мне люди, близко знавшие этого сановника, он получил письмо, без подписи, приблизительно такого содержания:

«Не старайтесь узнать, кто я, — этого Вы никогда не узнаете, — я преступник и убийца; говорю это по совести, так как и у меня, преступника, все же есть хоть капля совести... Да и где Вы будете искать меня, — когда и сам не знаю, на что я решусь — пойду ли в дальний монастырь замаливать свои грехи, или же, если совесть будет слишком мучить, — может, и отдамся в руки правосудия... Но прежде, чем умереть в том и другом случае, я хочу побеседовать с Вами... Повторяю, вы меня не знаете, я же слишком хорошо знаю вас.

Вы знаете, сколько раз вы должны были быть убитыми... Теперь мне все равно: я хочу сказать, что я был одним из тех, которые должны были на Вас наложить руку. Но Господь не попустил мне. Не попустил Он мне и совершить еще более тяже-

лого преступления — убить и детей беззащитных... Поймете ли вы меня — не знаю, — но человеческая душа, эта искра Божия, у каждого разбойника где-то глубоко, глубоко в самом уголке прячется — и иногда совершенно неожиданно вдруг вылезает наружу... Как? Почему именно в данную минуту? Судить не нам. На все и всегда воля Божия.

Теперь позвольте мне рассказать вам, что я пережил в качестве убийцы, которым я не сделался на этот раз только по воле Божией. Иначе этого объяснить ни себе, ни Вам не могу.

Летом прошлого года без билета прибыл я на пароходе в г. К.; там в это время бывает много богомольцев и нашего брата, «проходимца», тоже достаточно... В монастыре накормят даром, а переночевать летом везде можно, да и поживиться тоже.

Вот иду я с пристани в гору, прохожу мимо калитки, на дверях написано: «Судебный следователь такой-то», — вот и отлично — зайдём к судебному следователю, если попадется кто — скажу по делу, — не попадется, значит судьба.

Встречи никакой не было, и я свободно спрятался за вешалку с платьем, осмотрев предварительно окно, в которое и рассчитывал удрать.

Стою я, завешанный платьем, для предосторожности платок большой, что тут же висел, на перекладину вешалки бросил, чтобы ног моих не видно было, и думаю, что кроме всего прочего, а уж одежда-то вся мне достанется... В это время из другой комнаты, через переднюю, прошла молодая маленькая и худенькая женщина с ребенком на руках,

вошла в зальцу, посадила ребенка на пол, зажгла лампу.

Вижу — сама хозяйка; соображаю: достатки, мол, плохи, если и прислуги не держат... Зло меня разобрало — из-за этих пустяков, из-за одежды этой — не стоило бы и руки пачкать, а все стою, двинуться боюсь, дверь в зальцу она открытою оставила, так что в передней светло.

Вот зажгла она лампу и остальных детей позвала, — пора, мол, уроки готовить. С одним прочла, другому продиктовала, потом, уложив младшего спать, принесла работу и давай на машине шить. Спросила уроки, перекрестила детей и отпустила их спать, только старшему сказала: мы еще с тобой задачи не кончили, принеси книжку, она у папы в кабинете на столе лежит.

Вышел сын ее, мальчик лет десяти, в переднюю; шевельнулся ли я, или так уже ангел Божий ему шепнул, — только он бегом вернулся в зальцу, прижался к матери и говорит: «Мама, мне страшно! Там кто-то есть!»

«Кто там может быть», — спокойно сказала она; однако, встала и сама принесла книжку, пройдя мимо меня, и начала объяснять мальчугану, что бояться надо дурно поступать, то есть бояться греха, а когда греха нет на душе, — то и страха быть не может.

«А если там разбойник? Настоящий разбойник, который так и родился разбойником?»

Она серьезно, как с большим, стала говорить, что разбойников таких, как он говорит, настоящих нет — Господь их не создавал, а если есть дур-

ные люди, то в этом не их вина, а вина тех, кто их воспитал такими, а если бы, прибавила она, этим людям, когда они были детьми, объяснили бы, что дурно, что хорошо, — верь мне, они никогда бы не были дурными...

Эти именно ее слова были мне больше всего... Вспомнилось мое заброшенное детство, вспомнилось все прошлое, пережитое, когда я никогда и ни от кого не слышал не только слова прощения чужих грехов, но и слова любви и ласки...

Смешно сказать — но заплакал я тут от ее слов.

Ушел спать и старший мальчик. Ну, думаю, сейчас конец; ляжет и она скоро, — тогда и я уйду, не замеченный никем.

Но не тут-то было: она еще очень долго шила на машине, наверно чужую работу, чтобы заработать хотя бы лишний грош для своей семьи.

Начало светать, когда, потушив лампу, она вошла в переднюю, потрогала двери и перекрестила комнату; наконец затихло все.

Мог бы я, кажется, не убивая никого, взять все, что было на вешалке, и уйти, но какая-то великая сила — сила любви матери к детям, для которых трудится эта мать, еще уча их, что люди становятся дурными и злыми не сами по себе, а в силу обстоятельств, заставила меня потихоньку уйти, ничего не тронув в этом доме...

Прошло несколько месяцев. Меня, как убийцу, потянуло еще раз взглянуть на тех, кого я мог убить — и не убил. Теперь уже днем захожу в знакомый дворик. На дворе ни души (значит, и подозре-

ния не было, если так беспечно относятся, промелькнуло у меня в голове).

Подхожу оборванный с котомкой за плечами; у открытого окна сидит моя барыня со знакомой и кофей пьют.

Знакомая и говорит: «Смотрите, какой-то бродяга по двору у вас идет, смотрите, чтобы не украл чего!»

— Что у нас красть? — и выглянув в окно, спросила: — Что тебе, голубчик?

Так меня это слово «голубчик» словно обухом по голове ударило...

Шел я, поистине говоря, как убийца, посмотреть на место, где по своей воле не совершил преступление — и вдруг «голубчик». «Водицы, — говорю, — испить захотелось».

— На тебе молочка и хлеба кусочек, — и подает мне кружку молока и кусок хлеба белого, — сядь тут, на крылечке, отдохни... Денег у меня нет, так хоть кусок подать, — сказала она знакомой.

Сел я, шапку снял, пью молоко и глаз с нее не спускаю, а она продолжает со вздохом:

— Вот болезнь мужа одна сколько денег стоила.

— Что, он теперь совсем поправился?

— Какое, — говорит, — поправился, больной совсем на следствие поехал... Просил было председателя, чтобы назначил другого — только покричал на него, говорит: не желаете служить, никто Вас не держит, — вы и то два месяца ничего не делали, а за вас другие работали... А какое? Точно он, бедный, виноват, что схватил воспаление легкого и пролежал больной...

— Как же теперь его здоровье? Что говорит доктор?

— Да что! Говорит, беречься надо, не простужаться, куда-нибудь на Кавказ перевестись бы следовало...

Она заплакала и говорит: «Чахотка скоротечная грозит — он и то уже кровью харкает... Что я буду делать с детьми, если он умрет! Ведь и теперь, с жалованьем его — и то приходится все самой делать, прислугу я не держу — не из чего, да по целым ночам чужую работу шью, чтобы гроши заработать.

Задумались обе, а у той, что я убить и ограбить хотел, так слезы и текут, — а она их словно и не замечает.

— Вы бы попробовали попросить о переводе его куда-нибудь на юг.

— Кого просить-то? Кто у нас хлопотать будет? Ведь просить можно, когда есть связи, а какие у нас связи... ведь не его же просить, — кивнула она на меня головой. Нет, уж видно так и пропадет он, бедный...

Простилась с ней ее знакомая, поблагодарил и я ее и пошел, — а слезы бедной барыни не дают мне покою — ни днем, ни ночью. Вот и подумал я, дай попробую сделать попытку помочь ей, и решился написать Вам всю правду. Может, и слово разбойника дойдет до Вашего доброго, честного сердца... Справьтесь, вызовите эту барыню, допросите ее; пусть она подтвердит, говорила ли она то, что я слышал, стоя за вешалкой в ее квартире ночью, и увидите тогда, что я только правду написал Вам и что хочется мне вместо сильных хлопотать

о переводе на Кавказ больного мужа этой бедной женщины».

Письмо было без подписи. Но адрес, имя и фамилия судебного следователя были подробно написаны.

Другой на месте сановника бросил бы это письмо. Не так поступил он — все подробно рассказал Государю, который дал несколько сотен рублей, столько же прибавил от себя сановник и переслал все председателю окружного суда, прося его вызвать эту даму и рассказать ей содержание письма.

Когда дошло до того места, где сын этой барыни сказал ей: «Мама, я боюсь туда идти, — тут кто-то есть», и потом признание автора письма, что он ждал только, чтобы все заснули, чтобы зарезать ее и детей... с барыней сделалось дурно и она упала в обморок.

Придя в себя, она поехала отслужить молебен за чудесное избавление ее и детей от насильственной смерти.

Узнав обо всем этом от председателя, сановник выхлопотал место следователю на Кавказе, где он и сейчас служит, а жена его недавно приезжала поблагодарить сановника, но он ее не принял, говоря, что это не он, а тот разбойник ей все устроил.

История эта не вымышленная и, думается, что если ее прочитает тот, кто знает действующих лиц этого рассказа, то только подтвердит мои слова.

(«Кормчий», 1906 г., № 15).

ДЕД ЛУКА

В большом торговом селе К. ежегодно устраивалось катанье на масленице. К этому времени привозили туда карусели, балаган с петрушкой, шарманку и другие увеселительные предметы. На это гулянье съезжались люди из разных деревень и сел, щеголяя друг перед дружкой расписными санными, лошадьми, их упряжью и своими нарядами. И странно было слышать одновременно с шарманкой и бряцаньем бубенцов лихо мчавшихся троек, монотонный звон небольшого колокола, призывающего в храм на покаянную молитву с земными поклонами.

— Эй, берегись! — кричал охрипшим голосом заломивший набекрень шапку полупьяный ямщик на пешеходов, снующих под морды лошадей. Все спешат, как будто по важно-экстренному делу, на помощь ближнему в несчастии и дорожат каждой минутой, боясь опоздать. Всех манит разгул, захватывающий своей разнузданностью, и все спешат. Куда? Да прибавить грехов ко грехам. Мотя, пятнадцатилетний сын сельского учителя, по случаю простуды не мог отправиться на гулянье вместе с товарищами и принужден был сидеть дома. Родители его отправились к старосте на блины, а с ним оставался дед Лука, живший на покое у сына. Оба они сидели под окном, выходящим на улицу, по которой клубами вздымалась снежная пыль от быстрой езды катающихся. Мотя дышал на стекло и по запотевшему стеклу писал пальцем: скучно, скучно, скучно. Дед Лука прочел и ответил.

— Это потому, что тебе нездоровится, а то чего бы скучать в твои годы.

Мотя, не ожидавший, что дед наблюдает его и читает его писанье на стекле, оживился и спросил его:

— А скажи мне, дедушка, почему человек старый не может быть весел? Он всегда сокрушенно вздыхает о чем-то, всегда как будто недоволен собою.

— Так оно и есть, милый.

— Неужели старость так портит человека, что он становится гадов и противен себе?

— Нет. Старость, напротив, украшает человека мудростью или, проще сказать, опытностью и сединами, что внушает каждому невольное уважение к старости.

— Отчего же эти постоянные вздохи и недовольства собою?

— А вот отчего: человек всю жизнь стремится к достижению чего-либо, кажущегося ему нужным и необходимым. Для достижения намеченных целей он торопится действовать, не останавливаясь подумать о средствах, какими достигает своих целей. И вот, когда долгий жизненный путь пройдет, он чувствует себя усталым, энергия пропадает, тянет на отдых; тогда он, как всякий путник, оглядывается назад и на самого себя. И что ж видит?.. Погоня за призрачным счастьем только утомила его и забрызгала грязью не только тело, но и душу. Никакие богатейшие одежды и украшения не могут скрыть этой нравственной грязи от его собственной совести, и он осуждает себя, но сделанного не вернешь. Вот причина старческой печали.

— Но почему же он всю жизнь делал только то, в чем должен раскаиваться в старости?

— А вот для этого следует разобраться в прошлом, как разбирается коробейник в своем коробе, выкладывая весь товар до дна, чтобы показать его покупателям. Положим, я коробейник, опрокинувший свой короб; начинаю показывать все со дна, то есть с самого детства. Помню себя с трех лет. Меня учили вежливости: кланяться и подавать руку. Учили наряжаться, т. е. хвалили на мне все новое и модное, даже заставляли глядеться в зеркало, учили плясать, петь песни, чтобы похвастаться моим искусством перед гостями. Учили и молиться Богу, но как?.. За вежливость платили ласками и поцелуями, за щегольство похвалой, за песни и пляску аплодисментами, а за молитву только выговорами, что не так складываю пальцы, не так кланяюсь. Мне часто рассказывали сказки, занимательные сказки; я их помню и до сих пор, такое сильное впечатление производили они на меня в детстве. Но почему-то ничего не рассказывали о Боге, о Его безграничной любви к людям, в особенности к детям, ничего такого, что бы заставило так восторженно трепетать детское сердце, как от сказки. Когда заставляли молиться Богу, то говорили так: «Молись хорошенько, а то Бог убьет камешком». Такое наставление представляло ребенку Бога как существо в высшей степени строгое, которого нужно бояться, потому что почти каждый ребенок знает, что такое камешек, если им побьют. Но так как Бог камешком ни разу никого не побил, то и этот ложный страх прекратился со временем.

Потом учили и закону Божию, но как? В зубрячку. Хорошо вызубрил урок, получай хорошую отметку и беги, гуляй. Любить Бога не учили. А ведь мы только того и не оскорбляем, кого любим. Только тому и повинемся охотно, кого любим. Результат такого воспитания: холодность к Богу и всему святому и стремление ко всякому суетному, что не только бесполезно для человека, но и вредно.

— А ведь короб-то еще не весь, — с улыбкой заметил мальчик, когда дед его замолчал.

— В коробе еще много, — ответил дед Лука, — но каждому покупателю показывается тот товар, который ему требуется, а ненужный откладывается в сторону. Вот и я указал тебе только на то, что тебе можно знать. Ты учишься, но скажи мне, Мотя, думаешь ли ты когда-нибудь над тем, что учишь из закона Божия?

— Нет, — откровенно ответил мальчик.

— Вот, всеобщая детская болезнь и всеобщее опущение родителей, учителей и воспитателей. Учат детей думать над арифметическими задачами, над сочинениями, а закон Божий на последнем плане. Видишь, как все веселятся на улице. У всех нарядные одежды, веселые лица, а что за праздник? Святая Церковь учит посвящать *эту* неделю приготовлению к Великому посту, т. е. постепенно приучать себя к воздержанию, к усиленной молитве с земными поклонами, к покаянию в грехах, а что мы делаем? Я говорю «мы» потому, что не могу исключить ни тебя, ни себя. Если мы с тобой не участвуем в этой пошлой сутолоке, так только потому, что ты болен, а я стар.

— Но ведь все так справляют масленицу, — возразил мальчик.

— Большинство, а не все. Да если бы и все, разве это оправдание перед Богом? Не следует ссылаться на всех уже потому, что каждый из нас даст ответ Богу за себя; в своих делах должен всякий отдать отчет за всю жизнь. Вот, вспомни когда-нибудь после деда Луку, а я тебе вот что скажу: сидишь ты теперь хотя и по болезни, а не по доброй воле, тихо, смирно и слушаешь старого деда, который желает тебе всяких благ земных и небесных. И в этом ты никогда не раскаешься. А если бы ты проводил время в увеселениях вместе со всеми, то на совести твоей залегла бы тяжесть, пока бессознательная, а все-таки залегла бы. Подумай же теперь, когда пройдет вся жизнь, сколько накопится разной тяжести на душе твоей, если беззаботно будешь предаваться всем порокам и беззакониям, ссылаясь на то, что все так живут? Я жил тоже, как «все» живут, а когда прошла моя жизнь, мне стало страшно за себя. Является настойчивый вопрос: с чем явлюсь пред лицом Судии своего? Чувствую угрызение совести, чувствую, что надо умиловать прогневанного Бога, а чем? Для телесных подвигов не стало сил; молиться, спина болит, колени не гнутся; рад бы плакать, слезы в глазах высохли. Вот от чего невеселы старые люди. Весел может быть в старости только тот, кто всю жизнь старался угодить Богу, а не греховным привычкам. Таким людям и надо подражать, а не «всем», которые живут, не думая о душе своей.

Простая беседа старого деда Луки произвела на мальчика сильное впечатление. Через два дня он совершенно выздоровел, но на масленичный разгул смотрел уже иначе. С этого времени между дедом и внуком завязалась особенно тесная дружба. Мотя часто просил деда показать ему еще что-нибудь из своего «короба», и дед не отказывал ему. Он показывал внуку картинки из своей жизни настолько поучительные, что мальчик о многом стал думать серьезно и научился предвидеть последствия каждого своего поступка, а действовать согласно со своей совестью стало его правилом даже в мелочах. Однажды сын трактирщика, товарищ Моти по училищу, предложил ему хорошенький перочинный ножичек за цветной карандаш, он отказался, хотя размен мелкими вещами сильно был развит между всеми учащимися мальчиками. — Почему ж ты не хочешь меняться? Ведь мой ножик стоит тридцать копеек, а твой карандаш гривенник, — говорил сын трактирщика.

— Потому и не хочу, что твоя вещь дороже.

— Чудно... — удивился мальчик...

А Мотя, может быть, и поменялся бы, если бы не помнил рассказ деда из его жизни о какой-то выгодной сделке, которая осталась на его совести на всю жизнь.

Дед Лука был самый обыкновенный человек, но заслуга его в том, что он воспитал в своем внуке честного и религиозного человека простыми дружескими беседами.

(А. Боткина. «Кормчий», 1903 г., № 7).

СВЕТЛАЯ КОНЧИНА

Священники, при напутствовании в загробную жизнь, могут быть и, конечно, бывают иногда свидетелями — очевидцами необыкновенных чудесных явлений. Всякий согласится, что они много обязали бы читающий люд и доставили бы народу прекрасное поучение и назидание, если бы путем печати оглашали эти явления...

В «Руководстве для сельских пастырей» сообщается свящ. Аркадием Левашевым об одном, выдающемся из ряда обыкновенных, явлении. Об этом явлении отец Аркадий сообщает со слов своего отца диакона.

Жена этого диакона была добрая, простая, чрезвычайно трудолюбивая женщина: такова память о ней в погосте и приходе! И эта память о ней сохраняется до сего дня!.. Бывало, говорят, прихожанин ли какой зайдет к отцу диакону, — диаконица непременно чем-нибудь да попотчивает его: стыдно, говорит, отпустить доброго человека из пустой избы. Бедный ли и нищий стукнутся к о. диакону — диаконица с радостным видом первая спешит на голос бедного, щедро наделяет его и не отпустит от себя без слова участия и сочувствия к чужому горю... Но, снискивая простотой своей и добротой любовь и почтение в одних, в то же самое время этой простотой и добротой она наживала себе врагов: у скардных, злых и завистливых людей она была, как говорят, «на смеху», в поношении. И вообще, говорят, она много, много потерпела на сво-

ем веку: доля ее была очень и очень незавидна... Последний час ее жизни раскрыл очи слепых.

Дьяконица вообще не пользовалась хорошим здоровьем, часто кашляла и принадлежала к числу людей чахоточных. Но вот она слегла наконец на ложе болезни, терпеливо переносила свои немаловременные страдания; напутствована святыми таинствами. Спустя несколько дней после этого напутствования, она крайне изнемогла и дала понять своему мужу, что жизнь ее догорает... Отец диакон идет к священнику и просит его прочесть умирающей «отходную»... Священник является, но в больной почти незаметно уже было признаков жизни: она лежала неподвижно, с поднятыми вверх, изумленными, как бы смотрящими на что-то глазами, дыхание в ней замерло; и только едва приметное колебание груди давало знать, что жизнь в ней еще не совсем угасла. Священник прочитал отходную и остался в доме диакона ожидать, вместе с другими, развязки жизненной драмы... Такое ожидание продолжалось полтора часа.

— Ах! Как я хорошо спала! — заговорила наконец жена диакона. — Я слышала все, что вы говорили, и что читали отходную...

— Что же с тобой сделалось? — спросил священник. — Мы думали, ты умерла.

— Нет, — ответила умиравшая, — за мной приходили две сестры, взяли меня одна под руку, другая под другую и повели из дому; привели в монастырь — на кладбище, привели к яме и свели туда по лестнице, потом повели темным, тесным местом и привели к месту светлому; я увидела тут как бы

церковь с запертыми дверями, около дверей стоял какой-то диакон в белых ризах, с ключами в руках... «Пропусти нас», — сказали сестры. Диакон отпер двери, отворил их и пропустил нас. Мы вошли в церковь, хорошо в ней! В церкви мы нашли еще двух сестер, они сидели около стола, потом встали и сказали нам: «Пойдемте с нами!» Мы пошли за ними и вышли из церкви в другие уже двери прямо в сад, в саду так светло, такие красивые деревья и цветы, так хорошо поют птички, такой запах, что не вышла бы!.. Кверху-то, на дерева-то, я все и глядела...

— Что, сестра, хорошо ли здесь? — спросили меня сестры.

— Больно хорошо! — говорю.

— Вот это место тебе! — сказали две сестры, которых мы нашли в церкви, и давали мне по цветку, таких цветков я сроду не видывала нигде: — На, сестра, тебе, — говорили.

— Нет, — говорю я, — надо мной смеяться станут...

— Ну, опять придешь к нам, так мы тебе отдадим, а теперь прости, — и простились со мной. Они остались тут в саду, а прежние две сестры повели меня опять в церковь, опять подвели к тем же дверям, тот же диакон выпустил нас, и мы пошли прежним темным, тесным местом, из той же могилы опять вышли на кладбище, сестры проводили меня до дому, и на мосту в сенях простились со мной: «Прости, сестра, — сказали, — через три дня мы опять придем за тобою... все рассказывай, а трех слов... не сказывай», поцеловали они меня:

одна в голову, а другая в плечо, и пропали... Как пропали... так я и пробудилась...

Священник и все бывшие тут старались допытываться от нее, какие именно три слова ей не велено было сказывать?

— Нет, батюшка, не скажу, о. А., — не велели, если я скажу, то меня на здешнем свете съедят черви...

Так и не сказала... А через три дня она скончалась, скончалась тихонько без всяких видимых страданий.

Замечательны были последние часы ее жизни: она, как передавал мне о. диакон, безграмотная, говорила как ученая; целые ночи шептала молитвы, целый час перед смертью проговорила с мужем и семьей — научала их как жить, чтобы спастись: «Не забывайте Бога, нищих не оставляйте, живите со всеми мирно, тяжел конец грешников!» Это были последние предсмертные ее слова... На лице ее, которое она сама, в последнее мгновение своей жизни, оградила крестным знаменем, изобразилось после смерти небесное спокойствие...

(«Душеполезный собеседник».
Январь, 1905 г.).

СЛЕПАЯ ПАЛОМНИЦА

Уже три года проживала слепая Агафья на «Русской постройке» Палестинского общества, когда я приехала в Иерусалим.

Это была деревенская женщина сорока лет, гладко выстриженная под гребенку, с добродушным кругловатым лицом, одна из тех духовно-жи-

вучих простых натур, которых горе может прижать, но не может сломать.

Вся нравственная сила таких набожных душ основана на их мирозерцании, прочно построена на воле Божией, без которой «ни один волос не упадет с головы человека».

Людям, принимавшим участие, она охотно рассказывала, со всеми подробностями, свою ужасную историю следующего содержания. Начну вступлением.

Известно, как тяготеет русский народ к палестинским святыням, но более значительные из последних не всегда бывают доступны паломникам. Причины тому разные: кратковременное пребывание в Иерусалиме; дальность расстояния, несостоятельность отдельных лиц и проч. К подобным отдаленным и трудно доступным местам принадлежит Иордан.

Организуя поездки паломников на эту священную реку, под прикрытием вооруженного конвоя, русское консульство запрещает, во избежание несчастных случаев, ходить к Иордану пешком, небольшими группами; это вполне основательное запрещение иногда нарушается богомольцами, не имеющими средств нести расходы, неизбежные при общих отправлениях большими партиями.

И вот, несмотря на десятки верст трудного пути по горам иудейским, русские паломники тайно собираются небольшими группами и бесстрашно пускаются в путь пешком, рискуя столкновением с полудикими племенами кочевых бедуинов. Проводником по едва заметным горным тропинкам

служит им обыкновенно знакомый с местностью туземец.

Ночь застигает их среди диких гор, которым нигде не видно границ, среди безмолвной тишины, от которой делается так жутко в ночное время.

К какой-то группе мужчин примкнула и наша Агафья, не хотевшая вернуться в Россию, не очистив «грешного тела» в святых водах Иордана.

Благополучно совершив свой четырехдневный путь, усталые, но довольные достигнутой целью, возвращались наши странники домой, в гостеприимный приют Палестинского общества.

Вот уже и осталось-то всего семь верст до Иерусалима. Спеша укрыться от убийственных лучей полуденного солнца, богомольцы торопили свою отстававшую спутницу. Но Агафье необходим был отдых: ее окровавленные ноги, избитые о твердые уступы горных скал, стали изменять ей, и она присела на камень «передохнуть».

Ее спутники удалились. Вот их посохи и котомки мелькнули в последний раз на гребне соседней вершины и скрылись за ее склоном.

«Пускай их! — подумала паломница. — Недалече теперь: дойду помаленьку...»

Она оглянулась кругом. Дикие, угрюмые горы остались далеко позади, уступив место горным возвышенностям незначительной высоты и крайне однообразной формы.

Словно застывшие волны, кружили ее эти волнистые ряды каменных гигантов. Дико, глухо, пустынно кругом, среди голых, бестелесных скал, среди безлюдных, выжженных зноем долин.

Утренний лучезарный свет солнца должен был вскоре смениться жгучими лучами дня, и их неизбежное появление грозило испепелить все живое, случайно попавшееся под их стрелы.

Недолго пришлось страннице наслаждаться отдыхом: молодые пастухи бедуины, издали приковывавшие с своими стадами в долину, заметили с ближайшей вершины сидевшую фигуру, напали на бедную женщину и начали избивать ее.

Изувечив паломницу до полусмерти, пастухи бросили свою жертву на произвол судьбы, среди диких скал, под убийственными лучами наступившего дня.

Но не судьба была умереть несчастной без погребения: она очнулась и, разбитая, еле живая, кое-как поползла к вечеру до Русской постройки, где и была немедленно положена в русскую больницу.

Хороший уход возвратил ей жизнь и она выписалась, но не крепкой, здоровой женщиной, какою она была до происшествия, а болезненной, убогой, хворой старухой. Бесчеловечные удары мучителей в голову лишили ее зрения и возможности вернуться на родину.

Больная, в виду своего исключительного положения, получила, по выздоровлении, пожизненную койку на Русской постройке, где и жила постоянно, пользуясь общим вниманием русских приезжих паломников.

Турецкие власти хотели замять зверский поступок магометан, но русский консул возбудил дело, и разысканные преступники были подвергнуты не

менее зверскому наказанию мусульманских законов.

Впоследствии Агафья свыклась с своим тяжелым положением; огорчало ее только одно: с потерей зрения она лишилась возможности пользоваться тем, что ей было дороже всего на свете — Библией, с которой она никогда не расставалась.

Эта толстая книга в старинном кожаном переплете, полу источенном червями, была ее единственным ценным имуществом, но теперь была недоступна для ее померкших глаз. Впрочем, паломница так часто заглядывала раньше в пожелтевшие от времени священные страницы, что многое уже успела заучить и читала эти вытверженные места почти без ошибки.

Жалкая беспомощная фигура слепой с черными, коротко остриженными волосами, потухшими глазами и выражением полной покорности на безжизненном бледном лице вызывала невольную жалость тем более, что, как и все слепые среди зрячих, она страдала полным одиночеством.

Одно время ее горькое положение улучшилось: она приобрела себе друга в лице одной шестидесятилетней паломницы, такой же, как она, бездомной, такой же хворой и сиротливой.

В послеобеденные часы, когда дневной зной уступал место ласкающим лучам вечернего солнца, обе одинокие женщины садились на одном из крылечков русского странноприимного дома. В то время, как слепая, благоговейно раскрыв тяжелую Библию и устремив тусклый взор в пространство, громко и медленно читала на память целые главы,

ее старая подруга в точности повторяла за ней все, до последнего слова.

Такой бесполезный самообман имел глубокий смысл для двух бедных старух, слепой и безграмотной: одна наивно воображала себя учительницей, другая — усердной ученицей. Отними у них эти дружеские отношения, лиши их теплого участия взаимопомощи, и безотрадная жизнь потеряла бы для них всякую цену, покрылась бы беспросветным мраком вечной ночи.

Любопытно было видеть этих двух незлобивых наивных «младенцев», когда они, опираясь на свои посохи, тихо плелись в храмы, монастыри и святыни Иерусалима. Здесь черпали они верную опору для своих скорбей; здесь обильно черпали все нужные силы для своей печальной жизни.

Через несколько месяцев Агафья лишилась своей подруги, которая выжила срок своего палестинского вида и возвратилась в Россию. По отъезде своего старого друга, слепая слегла в больницу и более оттуда не возвращалась.

(М. Великолепная. «Русский Паломник», 1903 г., № 20).

ОТЕЦ МАРК

Много-много воды утекло с тех пор, как произошло мое знакомство с о. Марком, а кажется, что оно случилось очень недавно... Все подробности этого события, сыгравшего важную роль в моей жизни, несмотря на время, сохранились в моей памяти, а фигура о. Марка, как живая, стоит пред гла-

зами; так и ждешь, что вот-вот заставит тебя встретиться его знакомый голос...

Я, тогда девятилетний ученик N-ского духовного училища, круглый, бесприютный сирота, чтобы не нарушать спокойствия начальства, «ссылался», как мы выражались, вместе с другими подобными мне бездомниками в K-ий монастырь на все летние каникулы. Жилось нам здесь более чем отлично.

Излюбленным местом у нас был огромный монастырский огород. Не проходило дня, чтобы мы всею ватагою не совершали сюда опустошительного нашествия.

О. Марк заведовал монастырским огородом, а потому был вместе и нашим врагом. При встрече с ним мы почтительно сворачивали с дороги. «Ужо попадетесь!» — ворчал он тогда.

Появление о. Марка в огороде доставляло нам величайшее удовольствие.

— О. Марк идет, — проносилось между нами. Мы настораживаемся, но остаемся в прежнем положении, как будто ничего не замечаем.

— Это что такое? Опять здесь! — грозно обращается он, направляясь в нашу сторону.

Близко подпустив его к себе, мы стремительно вскакиваем и — врассыпную. О. Марк за нами.

— К о. игумену, право, пойду. Ишь, пострелы, вольница! — задыхаясь, произносил он после бесплодной беготни за нами.

Мы начинаем подбегать к о. Марку, теревить за полы подрясника и всячески стараемся вызвать его на повторение погони. Но он знает, в чем дело, бессильно махнет рукою, скажет: «Э — вас!» — и уй-

дет, а мы снова при нем же располагаемся между грядами...

Как ни бдительны и зорки были мы ко всякому появлению о. Марка, но как-то просмотрели...

— Попались-таки голубчики! — торжественно провозгласил он, незаметно подкравшись к нам: — Теперь я вас!..

Собеседники мои, не потеряв присутствия духа, пустились, по обыкновению, во все стороны, а я стоял, испуганно поглядывая на о. Марка.

— Давно добираюсь, давно, — протянул он руку к моим вихрям.

Я прибегнул к единственному средству, в пригодности которого убеждался в подобных случаях неоднократно: пустился в слезы...

О. Марк, должно быть не ожидавший ничего подобного, остановился.

— Как тебя зовут? — растерянно спросил он.

— Палей-ей...

— Родители-то есть у тебя?

— Нету-у...

О. Марк еще более растерялся.

— Так что же ты раньше-то не сказал? А!.. Пойдем ко мне! — неожиданно переменял он тон, взяв меня за руку.

В келье у о. Марка причудливо распевал кипевший самовар.

— Садись! Чаю попьем! — ласково обратился ко мне о. Марк.

Я, закрыв рукою глаза, уселся.

О. Марк налил чашку и положил предо мною кусок сахара.

— Пей!..

Я нет-нет да и всхлипывал.

— Эк ведь разошелся! Больно тебе, что ли? — взглянул он на пострадавшее место моей головы.

— Нет, да так.... — нехотя процедил я.

— Ведь сам же, чудак ты эдакий, виноват... Сорванцы, прости Господи! — с сердцем проговорил он. — Ведь, думаешь, не жалко вас, — сироты вы бедные...

— Спасибо! — смотря куда-то в сторону, поблагодарил я о. Марка, когда выпил стакан чаю.

— С Богом!.. — отвечал он. — Да постой-ка, вот тебе еще! — сунул он ломотик булки. — Завтра приходи опять!

Я полетел, радуясь неожиданному исходу...

С этого дня началась моя дружба с о. Марком, не прекращавшаяся до его смерти.

Келья о. Марка стала постоянным моим местопребыванием. С утра забирался я туда без всякого приглашения, садился за чай, на обед... Неизменно сопровождал о. Марку во всех его прогулках, болтая ему все, что приходило на мысли.

— Эх ты, егоза, егоза! — промолвит иногда он. — А умеешь ты по-славянски читать? — однажды как-то неожиданно спросил о. Марк.

— Еще бы! — с достоинством ответил я.

— Ну, так дай-ка прочтем повечерие, да акафист Сладчайшему!

Мы становимся перед иконами — я с книгами впереди, а о. Марк сзади — и начинали повечерие. «Господи, Господи, не отвержи мене, помилуй мене грешного», — сокрушенно вздыхал он, слушая

мое звонкое чтение. Во время акафиста о. Марк опускался на колени и горячо молился за меня: «Господи, Иисусе Христе, помилуй раба Твоего, сираго отрока Павла! Спаси его, Матерь Божия! Сохрани его под кровом Своим! Дай ему разум, пособи ему в учении!» — слышал я простые, искренние молитвенные слова о. Марка и, охваченный молитвенным настроением, опускался на колени...

— Молись, молись, Павлик, Господь не оставит! Он сира и вдову приемлет, — обращался обыкновенно после этого о. Марк.

Я полюбил чтение повечерий, утрень и т. д. и иногда сам заявляю:

— О. Марк, будем сегодня читать?

— Как же, как же, — радостно соглашался он.

Иногда вместо чтения мы пели — чаще всего или «Помощник и Покровитель», или же «Волною морскою» — любимые песнопения о. Марка...

Лето незаметно подошло к концу. Нам пора было отправляться в училище. Радостно настроенный предстоящею встречей с своими товарищами, я сияющий влетел в келью о. Марка.

— О. Марк! Я сегодня еду, пришел проститься.

— А, сегодня, ну? — как бы испуганно переспросил он, отвертываясь к столу.

Губы о. Марка как-то особенно дрогнули, ресницы усиленно задвигались.

— Прощайте, о. Марк! — произнес я храбро, направляясь к двери.

Мне вдруг стало невыносимо больно смотреть на о. Марка. Слезы начинали подступать к горлу...

— Постой, постой! Простимся как следует! — слышал я дрожащий его голос.

Я остановился и зарыдал.

— Спасибо вам, о. Марк, спасибо... — с трудом выговаривал я.

— Ну... ну... полно, что ты!.. — захлебывался слезами о. Марк.

Мы молча опустили на стулья, понутив головы, стараясь не встретиться взорами.

— Ну, помолимся!.. — положил он конец тягостному молчанию, поднимаясь с места. — Смотри же, не забывай Бога, молись каждый день, учись хорошенько, не шали, — настаивал он. — Ну, Господь благословит...

Наша бричка уже выехала за монастырские ворота. Я начинал успокаиваться, как вдруг показался о. Марк с развевающимися волосами, в одном подряснике, с узелком в руке.

— На тебе на дорогу! — поравнявшись с возком, подал он узелок.

— А это на гостинцы, — сунул он в руку кредитку. — Прощай, Господь не оставит! Не скучай, — отрывисто проговорил о. Марк, круто направляясь обратно...

Во все время пребывания в училище я проводил лето в К-м монастыре. О. Марк всегда встречал меня с распростертыми объятиями.

— А, приехал, приехал! — едва выговаривал он от радости, — Пойдем, пойдем скорее ко мне.

Келья у него оказывалась в том же самом виде, в каком и оставалась, — точно прошел не год с моего отъезда, а день.

— Ну, ну, рассказывай, как там жил? Что у тебя нового? — закидывал он меня вопросами.

И я без утайки выкладывал о. Марку мою жизнь за время разлуки. Малейший успех с моей стороны вызывал в нем неподдельную радость.

— Вот спасибо! Утешил, ай, молодец, ай да ты!.. — восклицал он.

О. Марк, участливо и бескорыстно вникая во все мои нужды, заменял мне и отца, и мать. Благодаря его бесконечной доброте, мне не пришлось испытать всей тяжести суровой сиротской доли.

— Пиши, как деньги понадобятся, пришлю! — неизменно слышал я от него при каждом отъезде...

В последующее время, когда мне уж не было необходимости проводить вакации в монастыре, я считал своим долгом навещать о. Марка, чем доставлял ему величайшее удовольствие.

— Ну, спасибо, спасибо, не забываешь старика, — оживлялся он.

Погостив недельки две, я, обновленный бесхитростными и теплыми беседами о. Марка, с запасом новых сил уезжал из монастыря...

Время брало свое — годы заметно отражались на о. Марке, — он весь поседел, сгорбился и частенько жаловался на свое здоровье.

— Эх, Павлик, старею, шибко старею. Глаза плоховаты что-то, да и кости при погоде — ой как ноют. Видно, помирать пора! Что же, будет с меня, — пожил и довольно, и честь надо знать, — говаривал он при наших свиданиях.

Сердце у меня болезненно сжималось при виде старческой фигуры о. Марка, слезы невольно навертывались при этих словах.

— Помру, скоро помру, — повторял о. Марк при последнем свидании. — А вот что, Паля, дай-ка я тебя благословлю. Господь знает, придется ли свидеться, а так все же лучше, ведь тебя некому и благословить-то...

Он благословил меня иконою Богородицы. Прощание наше на этот раз вышло особенно трогательно: обнявшись, положив головы друг другу на плечи, мы горько рыдали.

О. Марк вышел на крыльцо и, приложив руку к своему заплаканному лицу, стоял до тех пор, пока не скрылся от его взоров увозивший меня тарантас.

Больше мне не пришлось свидеться с дорогим и добрейшим о. Марком... Его предчувствие смерти оправдалось скоро. Возвратившись от службы, о. Марк почувствовал себя неловко. Едва успели его исповедать и приобщить Св. Тайн, как он скончался...

Я люблю просиживать на могиле о. Марка и переноситься в прошлое. Слезы невольно навертываются, когда восстает в моей памяти образ добрейшего инокa, заменявшего для меня отца и мать. Ему я обязан многими беспечальными днями детства и юности.

(М. Спасский. «Русский Паломник», 1903 г., № 30).

СВЯТОЕ ДИТЯ

(ОЧЕРК-БЫЛЬ)

Дни праздника Рождества Христова миновали, не слышится более в церквах торжествующих и умиленных песнопений в честь Младенца Христа, но отголоски их еще долго будут звучать в сердцах людей и будить в них добрые благоговейные чувства... В те дни, когда христианская церковь вспоминает радостное благовестие небожителей — и в самом воздухе точно чувствуется веяние их крыльев, и очень может быть, что и действительно в эти святые дни они невидимо приближаются к земле и в особенности ко всем тем чистым любящим душам, которые можно уподобить яслям, готовым принять в себя дивного Младенца...

Между этими витающими обликами в рождественские дни перед моими духовными очами часто является одно ангельское личико, а за ним сонмы ангелов, которые простирают над ним свои крылышки.

Это личико одной прелестной девочки, которая еще так недавно жила между нами на земле, а теперь, наверное, порхает около Божьего престола и ангельским гласом славословит Сидящего на нем.

Маруся Ж. была единственная дочь богатых и благочестивых родителей. О ее жизни я скажу только несколько слов: мне хочется, главным образом, указать на удивительные события, которые сопровождали ее переход в ту жизнь и которые могут служить доказательством того, что небесные

ангелы сообщаются иногда с земными ангелами и помогают им, так сказать, выпорхнуть из своей земной оболочки и вознестись к Божьему престолу.

Маруся умерла одиннадцати лет и всю свою недолгую жизнь постоянно хворала: в ней гнезился какой-то недуг, не поддававшийся никакому лечению, и часто подолгу приковывал ее к постели.

Постоянно страждущая, она была всегда весела, ясна и — удивительное дело! — не выносила бездельности: ее слабые ручки всегда что-нибудь работали. Доктора, лечившие ее, говорили, что ее страдания часто были невыносимы, но из любви к родителям она редко выказывала нетерпение.

— Подымите меня, посадите в подушки, чтобы папа *не подумал*, что мне худо, — говорила она иногда, когда отец ее, возвращаясь из должности, спешил к своей любимице.

Если же в минуты сильнейших страданий ей и случалось иногда выказать, раздражение относительно ухаживающих за ней лиц, она сейчас же с трогательною любовью просила у них прощения.

Невозможно было смотреть без волнения на это дивное дитя: столько кротости и ангельской покорности на этом милом страждущем личике!..

Какая же сила была в этом ребенке? Кто ее поддерживал и помогал переносить страдания? Что делало ее такой покорной, кроткой и даже радостной? Помогала ей ее вера и пламенная любовь к Богу. Она любила Его восторженно, нежно, так сказать осязательно. Она чувствовала присутствие Бога, часто и подолгу Ему молилась. Иногда в бес-

сонные ночи, втайне от людей, подобно тому, как Святая Дева беседовала с Господом в Святой Святых Иерусалимского храма, готовя Себя к своему великому служению, и этот кроткий, страждущий, чистый ребенок беседовал с Господом в ночной тиши, готовя себя к своему будущему ангельскому служению... Любящие ее люди не раз подсматривали, как она, думая, что никто за ней не наблюдает, прижимала к груди икону и с взором, устремленным кверху, шептала святыя слова молитвы. К принятию св. Тайн она приступала очень часто последнее время — каждое воскресенье, и очень любила, чтобы к ней поднимали какую-нибудь чудотворную икону и служили перед ней молебен. Тогда она просила ее приподнять и молилась так усердно и умиленно, что личико ее точно светлело в эти минуты.

Все обстоятельства, сопровождавшие переход этой отроковицы в ту жизнь, полны умиления и таинственности... Она, видимо, сознавала приближение рокового часа и точно еще здесь, *явственно* для всех, ее дух стал отделяться от своей земной оболочки.

Страдания уменьшились, явились силы, и она, давно не встававшая с постели, просила ее одеть, поднялась, стала ходить и так смотреть и говорить, что ее мать писала мне в этот день: «С Марусей происходит что-то необычное... она ходит, говорит, но она уже не наша, она уходит от нас к Богу...»

Какие дивные слова от матери, теряющей своего ребенка! Так может говорить только мать-христианка, которая до того любит Спасителя, что,

когда она видит Его приближающимся к ее возлюбленному ребенку, не плачет, а говорит: «Она уже не моя, Господи, она идет к Тебе!»

Все, что говорила и делала Маруся в этот день, было исполнено какой-то таинственности.

— Завтра, — сказала она, — вы будете иметь большую радость.

О какой радости она говорила, никто не осмелился спросить ее. Затем, обращаясь к матери, она спросила:

— Ты, мамашенька, догадалась? Да? Догадалась?

— Догадалась, милая! — ответила трепещущая мать.

— Ну, я знала, что ты догадаешься, — улыбнулось св. дитя. Затем она попросила принести ей маленький складной образок с изображением Рождества Христова, кусок бумаги, карандаш и голубую ленточку. Написала что-то на этой бумажке, тщательно ее свернула, привязала ленточкой к образку и просила повесить его у ее кровати.

— Только никто, *никто* не читайте, что там написано! — сказала она...

В записке оказалось всего несколько слов, но сколько глубокого и таинственного заключалось в них!

«Завтра встану и три поклона Богу».

Может быть, она поступила так потому, что представление об отлучении тела от души она соединяла с представлением о возношении к престолу Божию.

Последние ее минуты были тихи, почти без страданий. Она как бы уснула на руках безутешных

родителей в то самое время, когда во всех церквях раздавалось радостное пасхальное пение: «Христос воскрес!» Она скончалась на Святой неделе.

Такова была эта прелестная девочка. Недолга была ее жизнь, по она оставила после себя точно светлый луч воспоминаний... Думы о ней навевают благоговейные чувства. Милый облик ее точно окружен ореолом небожителей: ангелы охраняли ее при жизни, навевали на нее святые думы; ангелы сопровождали ее при переходе в ту жизнь, а теперь они вместе с нею поют у Божьего престола: Слава в вышних Богу и на земле мир, в человецех благоволение!»

(Е. Воронова. «Русский Паламник», 1903 г., № 2).

ИЗ РАССКАЗОВ ИВАНА ПЕТРОВИЧА

Мне было тогда не более семи-восьми лет. Батюшка мой, как известно, был сельским священником. За нашим селом почти сейчас же начинается огромный старый бор.

Жил у нас на селе один благочестивый мещанин Егорыч. Он очень любил меня за то, что я постоянно рассказывал ему все, что учил из Священной истории и слышал из житий святых.

Помню я, летом была засуха, и грибов и ягод уродилось очень мало. Но Егорыч думал, что в самой глубине нашего бора должны все-таки уродиться грибы; и раз как-то рано утром он зашел за мной, чтобы вместе идти по грибы. Шли мы очень долго с Егорычем и зашли наконец в такую чащу, где, оказалось, никогда и не ступала человеческая

нога. И точно, показались там грузди. Стали мы их собирать и разошлись немного. Оглядываюсь я — нет Егорыча. Я уже испугался, вдруг слышу: «Ау!» Я побежал на голос и вижу: стоит Егорыч и манит меня рукой.

Подошел я к нему, вижу: стоит он на краю глубокого оврага, показывает мне рукой вниз да говорит шепотом: «Смотри, да молчи!» На дне оврага струился ручей, а на берегу виднелся пригорок, а в нем землянка. Я сначала очень испугался, — думал, что там живут разбойники, которые вот-вот придут и убьют нас. Но Егорыч меня успокоил; мы сели под нависшими над нами ветвями старых елок и стали ждать...

Вдруг открылась дверь землянки, и вышел из нее человек лет тридцати, в черной власянице, в скуфейке на голове и с кувшином в руках. Он подошел к ручью, снял скуфью и, перекрестившись несколько раз, зачерпнул воды, и пошел обратно в землянку.

— Это человек Божий! — сказал Егорыч. — Пойдем к нему.

Мы опустились в овраг и, перескочив ручей, подошли к землянке и, постучав в дверь, вошли в нее. В углу, перед иконами Спасителя, Божией Матери и преподобного Сергия, теплилась лампада и лежала книга на обрубке дерева. В другом углу изомха была устроена постель; налево стояла самодельная лавочка, на которую усадил нас пустынник. Он угостил нас сухарями в деревянной чашечке с холодной водой, и это простое угощение показалось мне тогда очень вкусным. Потом он спро-

сил — как, кто мы и откуда, и узнав, что я сын священника, как-то особенно ласково взглянул на меня.

Егорыч и его спросил, кто он, — и пустынник назвал себя отцом Макарием, и сказал, что живет здесь ради спасения своей души и по благословению старца Самуила из Голутвиного монастыря. Он проводил нас версты две и на прощанье просил нас никому не рассказывать о нем и не открывать никому его пустынного убежища. Я твердо исполнял до поры до времени свое обещание и никому, даже матушке, не сказал о пустыннике.

Тем же летом спросил я как-то Егорыча наедине, был ли он у о. Макария. Он сказал, что был, но землянка пуста и дверь снята с петель. «Вероятно, он вернулся в свой монастырь», — добавил Егорыч.

Осенью отвез меня батюшка в училище, и я забыл об отце Макарии. Летом, вернувшись домой и повидав Егорыча, вспомнил я о пустыннике. Егорыч рассказал мне, что видится часто с о. Макарием, который строит себе деревянную келью поверх земли, и даже помогает ему в постройке, что место, где он строится, такое глухое, что днем не так темно, как вечером, что строится он сравнительно близко от нас, всего в трех верстах от села, чтобы быть ближе от церкви, и что хочет он познакомиться с батюшкой и иметь его своим духовным отцом.

Тогда я счел себя вправе передать все это своему отцу... Послали Егорыча за о. Макарием, и он привел его к нам в дом. Меня допустили до этой бесе-

ды, и помню я хорошо, с каким одушевлением говорил он о преподобных отцах фиваидских и палестинских и прочих пустынножителях. Он говорил батюшке, что иногда ему становится жутко в вечном одиночестве, но что молитва удивительно его подкрепляет, а кроме молитвы — благовест церковный.

Но враг нашего спасения, завидуя подвигам пустытника, стал наводить на него страхи. О. Макарий упал духом и решил уйти в один отдаленный скит. Он пришел прощаться к нам с котомкой за плечами. Он затворился с батюшкой в комнате, и я не был допущен на этот раз к их беседе.

Когда вышел он от батюшки, лицо его светилось радостью. «Я остаюсь! — сказал он мне, — Приходи ко мне в келью с батюшкой или с Егорычем».

И часто видался я с ним тем летом и близко узнал его строго-подвижническую жизнь. Могу сказать теперь, когда я ближе познал мир и живущих в нем, и прожито много, уже большая половина жизни, скажу теперь, что с тех пор лично мне не приходилось видеть человека более строгой жизни. Молитвословия 1, 3, 6, 9 часа он совершал своевременно, полночь всегда заставляла его на молитве, и он пел: «Се Жених грядет в полунощи...» Молоко, которое приносил ему Егорыч, он вкушал по большим праздникам, питаясь в остальные дни сухоядением.

После того лета я поступил в семинарию за сто верст от родного села и редко с тех пор виделся с о. Макарием. Но одно из этих свиданий особенно запечатлелось в моей памяти. Приехал я как-то на

Страстной неделе домой, и в среду встретил Егорыча у нашего дома. «А я иду за о. Макарием! — сказал он мне. — Он хочет завтра слышать в нашей церкви Евангелие о страстях Господних и просил зайти за ним, а то с непривычки трудно по такой распутице идти одному теперь по лесу». Я упросил Егорыча взять меня с собой, и мы пошли с ним после вечерни, делая на деревьях заметки.

Лишь поздно вечером добрались мы до кельи о. Макария, который, как всегда, очень приветливо встретил меня. Потом он пошел молиться, и я молился с ним часа два, но устал и пошел к Егорычу. Он сидел у открытого окна в глубокой задумчивости...

— А о. Макарий все молится... — сказал я ему.

— Все здесь хвалит Бога... — отвечал он мне. — Слышишь?

Я стал прислушиваться. И слушал я то, что никогда больше в жизни не слышал или, слыша, не понимал уже больше... Но тогда я понял эту весеннюю ночь, понял, что вся природа — и деревья этого темного, глухого бора, и птицы, населяющие его, и свежий весенний предрассветный ветерок, — все сливалось в одну мощную песнь — в гимн Богу, Творцу вселенной...

И вдруг услышал я вой волков около самой кельи. В ужасе побежал я к о. Макарию, забыв, что он молится. «Чего ты боишься? — спокойно сказал он. — Ведь они благодетели наши. Они должны напоминать нам о других хищных зверях, которые внутри нас и гораздо опаснее внешних зверей».

Когда мы вышли из кельи, направляясь к заутрени, ни один волк не попался нам навстречу. На востоке алела заря, и весь лес, казалось мне, продолжал славословить Творца. О. Макарий, проливая обильные слезы, простоял все двенадцать Евангелий на коленях...

Прошло с тех пор немало лет, я сам, как вы видите, уже не первой молодости, уже давно диаконствую, но далеко от родины, и лишь мой младший брат имел счастье получить недавно приход батюшки и переехать в этот уютный домик, где когда-то так беспечно и радостно текло наше золотое детство. Среди своих занятий я едва нашел теперь время съездить на родину, поклониться могиле нашего отца, посмотреть на житье-бытье брата.

И вот от него услышал я об о. Макарии, что он чуть живой лежит в К-ой больнице. Я сейчас же поехал к нему и едва его узнал: он лежал весь израненный, избитый, похудевший. Он же, узнав меня, обрадовался мне так, что тронул меня до слез.

— Батюшка! Что это с вами? — спросил я.

И он рассказал мне, что прошлым летом недалеко от его кельи крестьяне одной отдаленной деревни снимали покос и часто приходили к нему, прося у него то хлеба, то соли. О. Макарии давал им и сухарей, и крупы, когда она была у него. Крестьяне, редко видя отказ в своих просьбах, вообразили, что пустынник богат и решили убить его и завладеть его деньгами. Но почему-то год почти обдумывали свое злодейство. И лишь этой весной, ночью, подъехали они к его келье.

С о. Макарием за последнее время жил послушник. Он вышел навстречу к приехавшим, но они его связали и оставили в сенях. Войдя к пустыннику, они стали требовать денег. Он отдал им с радостью свой единственный рубль, но они не поверили, что у него не было больше денег, и стали пытаться его огнем. О. Макарий говорил мне, что думал тогда, что настал его последний час... Но вдруг раздался церковный благовест. Злодеи бросились в сени и увидав, что послушника там больше нет, поняли, что он освободился из пут и побежал за помощью. Они бросили пустынника и поспешили скрыться.

Отец Макарий, придя в себя и увидав, что он один, а кругом него разбросаны дымящиеся головни и тлеющее сено, собрал свои последние силы и потушил все руками и рясой. А скоро вернулся послушник с народом, и о. Макария увезли в город, в больницу, где я его и увидел. Он знает всех злодеев, но просил не преследовать их. Но их поймали и предали в руки правосудия.

— Доктор надеется на ваше выздоровление, — сказал я о. Макарию. — Тогда вернетесь ли вы на прежнее место в свою пустынную келью?

— Хотел бы, — отвечал он мне слабым и дрожащим голосом. — Но знаете: дух бодр, плоть же — немощна!.. Нет! довольно понес я трудов пустынножительных; если Господь продлит мою жизнь, надо мне понести труды общежития. Пойду тогда в монастырь, ближе к Божьему храму... Ведь нет на земле более надежного и безопасного пристанища, как храм Божий...

На этом мы и расстались.

Так, быть может, теперь уже и догорела жизнь этого безвестного подвижника, — задумчиво заканчивал о. диакон свой рассказ.

...После того свиданья я вернулся к брату, еще неделю прогостил у него, обошел все места, где я был так счастлив ребенком, оживил все воспоминания... но не выходит из моей головы о. Макарий. Как живой он перед моими глазами: бледный, изнуренный... и вся его жизнь, некоторые известные мне подробности которой я рассказал вам, вся оживает в моей памяти...

И вот почему я не мог не рассказать вам все, что знаю я о жизни и подвигах о. Макария...

(«Русский Паломник», 1903 г., № 23).

ЧЕСТНЫЙ ИЗВОЗЧИК

Весна в тот год была ранняя. Была еще первая половина поста, а санный путь уже совершенно испортился. Старик-извозчик, Яков, выехал в последний раз на санях, потому что в пролетке еще кое-что не поправили. Яков уже выездил порядочно, когда ему пришлось остановиться у банка. Не постоял он и пяти минут, как из банка вышел солидный купец и подрядил его. Цена была хорошая — и Яков с почтением усадил купца. Они поплелись. Дорога была ужасная — лошаденка Якова уже поприустила и тащилась черепашьям шагом.

Купец вступил с извозчиком в разговор.

— Что, брат, отъездили, должно быть, на саночках-то? — спросил он.

— Да, ваше степенство, — и ноне хотел было я выехать в пролетке, да маленечко мастер задержал, что-то там неготово, — к вечеру хотел справиться. Да и какая ноне зима, какая езда на санках, — продолжал Яков, — не успеет выпасть снежок, как половину его сметут дворники, а там, глядишь, наступит оттепель — живо размесят снег, и опять поезжай хоть на колесах. Так всю зиму и маемся.

Седок спросил извозчика и про деревню, и про семью, и про заработки. Наконец, они добрались до цели. Купец прибавил старику против условной цены на чай — и Яков довольный, так как ему уже нужно было кончать езду, шажком поплелся домой.

Приехав домой, купец поговорил с женой, напился чаю, и только когда хотел переменить сюртук на халат, он вдруг хватился бумажника: в нем было несколько тысяч, полученных из банка... Где он мог обронить его?.. Он вспомнил, что во время езды на извозчике он вынимал бумажник, чтобы посмотреть, захватил ли он с собою из лавки нужный ему на завтра счет... Значит, в это время, разговаривая с извозчиком, он и сунул бумажник мимо кармана. Бумажник должен быть в санях извозчика, но где искать этого извозчика?

Что же делать? Сделать публикацию с обещанием большой награды? Но кто же ныне так глуп, что понесет по публикации бумажник, в котором находится несколько тысяч кредитными билетами! Заявить полиции? Но как заявить? Пойдут вопросы, где утеряны, когда утеряны деньги, как человек трезвый, везя деньги домой, мог потерять их и те-

перь просить помощи полиции в их отыскании? Не басня ли эта пропажа? Не хочет ли человек коммерческий устроить какую-нибудь уловку?! Купец был человек неглупый. Подумал и решил махнуть рукой на это дело. А так как он был очень богат и эти несколько потерянных тысяч не могли отразиться на его делах, то он не долго и тужил о них — и успокоился.

Между тем прошла весна, прошло лето, прошла и гнилая осень — выпал первый настоящий снежок. Наш знакомец, старый извозчик Яков, стал перепрягать свою лошадку из пролетки в сани. Стал очищать сани и на дне их нашел бумажник. Развернул его — бумажник оказался полон денег... Яков остолбенел... Но не от радости, что нашел много денег... Нет, ему прежде всего пришло в голову: «Кто же это оставил в его санях деньги, — что перенес человек за это время из-за этих денег? Может быть, вез какой-нибудь несчастный чужие деньги, потерял — ему не поверили, обвинили в присвоении, и он теперь невинно страдает? А может быть...» Но тут Яков отчетливо вспомнил свою последнюю поездку на санях с купцом из банка — вспомнил разговоры с ним и прибавку к хорошей плате на чай. Вспомнил Яков и дом, куда привез он тогда купца. И Яков стал весело запрягать свою лошадку в сани.

Купец В. только что накушался чаю и хотел собираться в город, как горничная доложила ему, что его спрашивает какой-то извозчик.

— Что ты мелешь? Какой извозчик?

— Право, извозчик. Его Никита привел. Подъехал, говорит, к воротам, позвонил ко мне да и давай спрашивать: «А кто, — говорит, — живет в этом доме?». Я говорю: «Купец В.» — «А что, — спрашивает, — он богатый?» — «Богатый», — говорю... «А в банк, — говорит, — он у вас часто ездит?..» — «А этого, — говорю, — не знаю... В город, — говорю, — он ездит, потому у него там торговля...» — «И все на извозчике ездит?» — «Да, — говорю, — милый человек, извозчики у нас постоянно стоят и все нашего барина знают — и он их всех знает — с ними и ездит, а с чужим не поедет».

Никита-то думал, что он насчет езды... А он и говорит: «Мне твоего барина повидать нужно, у меня дело до него есть», — да так это смело... слез с козел и идет... Никита-то его одного побоялся впустить, привел сам, велел доложить вашей милости и сам там дожидается на всякий случай.

— Что за чудо? — подумал купец и пошел в кухню. Навстречу ему поднялся старина извозчик.

— Вы, ваше степенство, не теряли денег? — спросил извозчик. Купец сначала не понял его.

— Не теряли, говорю, ваше степенство, денег? — повторил извозчик.

Купец пришел в себя.

— Потерял прошлым постом, да теперь об них и думать забыл — уж их, небось, и след простыл. Потерял, и все кредитными... — печально проговорил купец, вспомнив о деньгах.

— А это не ваш бумажник? — спросил извозчик, вытаскивая бумажник из пазухи халата.

Купец развернул бумажник — и глазам своим не верит: все деньги и все документы в целости...

— Где же ты нашел его? — спросил он.

Извозчик рассказал, как он, привезя купца из банка, приехал домой, убрал сани — и как сегодня, собираясь выехать на санях, нашел бумажник, вспомнил, кого он вез в последний раз, и приехал к нему.

— Вот что, братец, ты должен получить третью часть этих денег — и я тебе сейчас их отдам, — сказал купец.

— И, что вы, ваше степенство, разве я затем привез вам деньги, чтобы получить что с вас?.. — заметил извозчик.

Купец настаивал, чтобы извозчик взял пятьсот рублей, — триста, двести, — наконец, хоть сто рублей.

Извозчик уперся на своем.

— Вот что, ваше степенство, — сказал он наконец, — если ваша милость будет, пожалуйста мне три рублика на чаек, а я за вас Богу помолюсь!

Редкая такая честность, особенно в наше время!!!

(Петр. Смирнов. «Кормчий», 1905 г., № 4).

РАССКАЗ РУДОКОПА

В бытность мою в Швейцарии мне удалось побывать в домике одного рудокопа. Подойдя к дому, мы увидели сидящего на лавочке, у входной двери, старичка. Его прекрасная голова была покрыта густыми прядями волос, черты его лица имели какое-то особое выражение. В них было что-то крот-

кое и вместе с тем серьезное и возвышенное. В глазах же его светились мир, любовь и истинное счастье.

При виде нас он с трудом встал со скамейки, снял шапку и спросил, чем может служить.

Был жаркий день. Мы попросили воды.

Пока старик ходил за водой, мы стали осматривать дом. Все здесь было в большом порядке и чистоте. На перегородке комнаты, в которую нас ввел хозяин, висела рамка, а в ней под стеклом, на изящной бумаге, украшенной виньетками, была красиво написанная «Молитва Господня». На стене висел прекрасный набор инструментов рудокопа. На двух столиках были разложены в большом порядке кристаллы и камни, найденные в недрах земли. Но больше всего нас заинтересовало то, что над входной дверью, в коридоре и самой комнате стояло изречение пророка Захарии: *Не головня ли он, исторгнутая из огня* (3, 2).

Наше любопытство было сильно возбуждено, и, когда старик вернулся с кувшином воды, мы спросили, — не может ли он объяснить, почему изречение пророка повторяется у него так часто.

С большою мягкостью в голосе он отвечал:

— Охотно скажу, но это очень трогательный рассказ, и не покажется ли он слишком длинным?

— О, нет! — мы очень рады, — сказали мы в один голос.

Старик попросил нас под ореховое дерево. Заходящее солнце освещало нас своими теплыми лучами. Старый рудокоп вновь сел на свою скамеечку.

«Родители мои, как и предки, — начал свой рассказ рудокоп, — все жили в этом доме, который сохранился совершенно в прежнем своем виде. Один только орешник очень вырос с тех пор. Родители мои были бедны. Зарабатывали они немного, а детей было семеро: четыре дочери и три сына. Для сведения концов с концами им нужно было много работать, быть очень расчетливыми. Тем не менее все шло на лад, так как отец с матерью были во всем согласны и усердно трудились. Отец мой был рудокопом...

Мало-помалу одна или две из моих сестер могли получить заработок, поступив в услужение, а старшие два брата уже в состоянии ходить с отцом на работу в рудник. Никому из нас и в голову не приходило искать другого ремесла. Хотя труд рудокопа тяжел и опасен, но зато имеет и свою прелесть: есть нечто величественное — скрываться в недрах земли.

Когда мы все, дети, могли уже зарабатывать, то явилось и довольство. Долги наши были уплачены, что не мешало, однако ж, родителям нашим оставаться в прежней простоте и скромности. Таким образом, жили мы счастливо. Наконец и я, младший, пользовавшийся всегда особой заботой, достиг также возраста, когда мог спуститься в рудник, и как радовался и гордился тем мой отец, что все три сына, пользовавшиеся хорошим здоровьем, работали вместе с ним.

В одно прекрасное летнее утро, когда мы, по обыкновению, все четверо собрались идти на работу, мать наша, вся в слезах, умоляла нас пропу-

стить сегодняшний рабочий день, говоря, что она ночью слышала глухой и ужасный гул под землею. Бесспорно, это был только сон, но тем не менее она была твердо убеждена, что Господь, в Своей благости, ниспосылал ей предостережение об опасности. Мы были в нерешительности и недоверчиво отнеслись к ее страху. Тогда она, опустившись перед отцом на колени, снова упрашивала не спускаться сегодня в рудники, говоря, что она ясно видела во сне, что нас мертвыми принесли из копей. Отец стал серьезным, но не уступил ей в своем решении, ссылаясь на разумную администрацию копей, благодаря которой уже не было несчастий. Наконец, несмотря на жалобные слезы матери, не желавшей нас отпускать, мы все-таки же с ней расстались.

Дорогою до рудника отец наш все время хранил молчание. Когда же мы все были в сборе с другими рудокопами и перед спуском в шахту, по обыкновению, творили молитву, в это время к нам подошла одна несчастная женщина, слышавшая в околотке безумной, и с кривляньями и смехом стала покрикивать: «А гора-то обрушится, гора разрушится».

Некоторые рудокопы подняли ее на смех, другие побледнели. Отец мой, подошедши к надсмотрщику копей, счел нужным сообщить ему о тревожном и вместе с тем угрожающем сне своей жены, просившей его не спускаться в рудник. Надсмотрщик, выслушавши его серьезно, послал сведущих людей произвести тщательный осмотр рудника. Последние, вернувшись часа два спустя, заявили, что ничего тревожного в нем не нашли. По-

сле такого успокоительного сообщения, все мы спустились уверенными и довольными. Вскоре все четверо были за работой. По причине большой отдаленности нашей части рудника мы спустились одними из первых. Внезапно отец, обратившись к нам, сказал:

— Дети, что это такое?

Кровь застыла в наших жилах: нам казалось, что гора колеблется.

— Надо спасаться, — сказал отец.

Но было уже поздно. Мы слышали страшный гул, и в эту самую минуту в двадцати шагах от места, где мы находились, произошел обвал горы. Мы были заживо погребены. От давления воздуха лампы наши потухли. С большим трудом зажгли мы одну из них, довольствуясь только одной, чтобы возможно долее иметь хотя немного света. От дурного запаха и эта лампа еле-еле горела, и мы сами почти задохнулись и не могли соображать, как бы нам открыть себе дорогу из нашей могилы. Смертельный ужас и испорченный воздух окончательно расслабляли нас.

В страшную минуту катастрофы мы все в один голос воскликнули: «О, мать, о дорогая! Твое предсказание сбылось». Отец наш стал молиться, и, несмотря на мое легкомыслие, его трогательная молитва проникала мне прямо в душу. «Товарищи наши, — говорил он, — сделают все возможное, чтобы выручить нас, но я уже живым не увижу солнечного света. Быть может, кому-нибудь из вас придется его еще увидеть, в таком случае должны мне обещать нежно пещись о вашей матери».

Часы наши, которые мы имели обыкновение заводить перед уходом из дому, остановились на 6 утра. С тех пор, как мы покинули наше жилище, прошло 24 часа, а далее мы не могли дать себе отчета во времени. Вы не можете себе представить, что испытываешь в подобном положении! Несмотря на принятые нами меры предосторожности, запас пищи истощался, и голод стал нас мучить. Лампы также зажгли мы четвертую, то есть последнюю. Мой милый отец просил меня положить свою голову на мои колени, и при этом я заметил, что его черные волосы стали белыми. У него начались бред и видения, и он говорил, находясь как будто уже на небесах, встречаясь с матерью нашей. Содрогающе действовало оно на меня. Затем он стал говорить:

— А вот грядет и Господь, чтобы стереть слезы из глаз наших!

Затем, цепenea уже сном смерти, он стал снова молиться за каждого из нас, и в особенности за меня. Обращаясь с мольбой к Спасителю, он произносил: «О Милосердый Христос! Обрати моего младшего сына, вырви его из религиозного равнодушия: он так далек, так далек от Тебя! Исторгни его, как головню из огня! О, содейлай это в Своей неизреченной любви и милости, мой Спаситель, мой Господь!..»

Глубоко проникала в душу мою эта молитва. Я знал, почему отец молился особенно за меня: в то время я так мало заботился о спасении своей души. Однако ж, в эту Божественную минуту я в глубине души своей дал себе обет предаться совершенно

Господу, если только выйду живым из этого ужасного положения.

Затем отец мой, испустив последний вздох, почил в Господе. Мы все горько плакали, в особенности вспоминая нашу бедную мать. В скором времени потухла наша последняя лампа. Оба мои брата умерли один за другим, но не знаю когда, так как я не имел уже более понятия о времени. До меня не долетало ни малейшего шума, и я пришел тогда к грустному заключению, что я остался один.

После неотступной и усиленной молитвы, когда я размышлял о словах отца: «Исторгни его, как головню, из огня», — мне как будто послышались удары кирки. Начавши прислушиваться, я убедился, что не ошибся. Собравши последние оставшиеся силы, я взял свой лом и хотел употребить его в дело, но оказался, однако ж, слишком слабым. В эту минуту мелькнул мне слабый свет. Я крикнул свое имя и услышал в ответ голоса, говорившие:

— Благодарение Богу, слава Богу! Ура!

За работу взялись бодро и с энергией. Вскоре рудокопы достигли до меня, и, когда они дали мне вина для подкрепления, я впал в глубокий обморок.

Когда я пришел в себя, то оказался в постели. Моя добрая мать держала меня за руку и в то время, когда я открыл глаза, она громко благословляла Бога за мое спасение. Я ничего не мог припомнить о случившемся. Воздух оглашался похоронным колокольным звоном.

— Что это за звон? — спросил я.

С большою осторожностью, проливая обильные слезы, мать стала мне припоминать происшед-

шее, говоря, что звонят в колокола по случаю похорон моего отца и братьев.

— О, мать моя! — возразил я ей. — Я как головня, исторгнутая из огня.

Она поняла меня только тогда, когда я ей сообщил о последних минутах жизни моего отца. С этой поры я делал все возможное, чтобы быть для нее хорошим, преданным и благодарным сыном.

После перенесенных потерь и горя у матери моей сделалась болезнь сердца, сведшая ее через несколько лет в могилу. Хотя она и жалела оставлять меня одного, но, тем не менее, с радостью покидала этот земной мир.

Две недели спустя после нашей ужасной катастрофы я спустился вновь в рудник, так как я никогда бы не был в состоянии взяться за другое ремесло, которым не занимались мои предки. Согласно желанию моей матери я женился на девушке ее выбора, но она умерла, дав жизнь ребенку, последовавшему тоже вслед за ней. И так я остался один со своим Господом и со своим горем. Я сорадуюсь всему прекрасному и всему хорошему здесь на земле, но воздыхаю о дне, когда у подножия престола Господня увижусь со всеми своими дорогими.

Вот почему во многих местах моего домика вы видите надпись: «Не головня ли он, исторгнутая из огня»...

(Б. Ключарева. «Русский Паломник», 1903 г., № 18).

АЛЕКСИЙ, ЧЕЛОВЕК БОЖИЙ, КАК ОБРАЗЕЦ САМООТВЕРЖЕНИЯ ДЛЯ СОНМА РУССКИХ ПОДВИЖНИКОВ

Один из любимейших русским народом святых это — Алексей «Человек Божий». Высокопоучительная, истинно христианская жизнь его относится ко второй половине IV-го века и началу V-го.

Родителями его были богатый и знатный римский князь Евфимиан и его жена Аглаида. Дарованный им от Бога в позднем их возрасте, Алексей, как единственный сын, был предметом особенно внимательной и попечительной их любви. В молодости все обещало Алексею беспечальное мирское житье и видное положение в обществе. Но не тем путем пошел избранник Божий. Вступив в брак по воле родителей с невестой из царского дома, внезапно почувствовал он в себе неудержимую силу Божественного призвания к нищете телесной и духовой. Не прошли еще первые дни брачного торжества, как он, вручая супруге своей золотой перстень и пояс и сказав: «Сохрани это, и Бог да будет между мною и тобою до тех пор, пока благодать Его устроит между нами нечто новое», — оставил родительский дом.

Переодетый в бедную одежду, Алексей добрался до моря и сел на корабль, отправившийся в Лаодикию. Высадившись на берег, Алексей отправился в Месопотамию, в город Эдесс, где находился Нерукотворенный образ Спасителя. Здесь, в рубище нищего, в течении почти семнадцати лет, пребывал он постоянно на паперти храма, питался милостынею, и тою делился еще с другими нищими, не вку-

шая больше того, сколько требовалось, чтобы не умереть с голода. Весь был углублен в молитву и еженедельно приобщался Св. Тайн.

Изнуряя плоть свою строжайшим воздержанием, Алексей вскоре так иссох и увял телом, что его наружность стала неузнаваема. И никто бы не узнал в нищем, с изможденным видом и покрытом лохмотьями, великого подвижника, если бы не указал на него Промысл Божий. Однажды служащий из церкви, на паперти которой обыкновенно просил милостыню Алексей, услышал во сне слова Божией Матери: «Введи в церковь Мою человека Божия, да пребывает в ней», причем «человеком Божиим» назван был Алексей. С этих пор имя Алексия, как строгого подвижника, стало известным всеми эдессянам. Алексей же, тяготясь человеческою славою, тайно ушел из Эдесса и, достигнув до морской пристани, сел на корабль, шедший в Киликию, с намерением приютиться в городе Тарсе, при храме св. Апостола Павла. Но корабль, на котором он ехал, был занесен бурей к берегам Италии. Видя в этом указание Промысла Божия, Алексей решился остаться на родине и здесь, в доме родителей, продолжать свой подвиг нищеты и лишения — в виду самых благ земных, оставленных им...

Явившись в дом отца нищим, он сказал ему: «Приюти меня, дай мне питаться со стола твоего. И над тобою будет благословение Божие, и если кто странствует из родных твоих, то Бог даст тебе увидеть того, по желанию сердца твоего...» Отец не узнал своего любимого сына.

Среди обид и побоев со стороны слуг, часто голодный, в рубище бедняка — нищего, прожил Алексий в родительском доме так же, как и в Эдессе, почти 17 лет. Господь прославил кончину великого подвижника. Незадолго до смерти его, однажды во время служения римского епископа Иннокентия, в присутствии императора Гонория, был слышен в храме два раза повторявшийся голос: «Ищите человека Божия в доме Евфимиана». По этому указанию найден был умерший нищий в уголке дома Евфимиана. Он лежал с покрытым лицом, в руке его был свиток. Когда приподняли с лица его покрывало, то увидели, что лицо его сияет выражением ангельского радования. Когда взяли из рук свиток, то увидели, что это была хартия, в которой Алексий описал жизнь свою. Она заканчивалась следующими словами: «Прошу родителей моих и невесту мою не сетовать на меня за их неутешную скорбь... И мое сердце болело о вашей скорби.... Много раз я молил Бога укрепить вас в терпении и даровать вам Царство Небесное. Верую, что сколько вы потерпели через меня печали, столько же будете радоваться при небесном воздаянии».

С великими почестями, по царскому приказанию, вынесено было тело человека Божия из дома Евфимиана в церковь. Весь Рим сошелся чествовать останки открытого миру праведника — и многие больные получали чудесные исцеления. Это было 17 марта 411-го года. Великий подвижник погребен на холме Авентинском, на котором воздвигнута великолепная церковь во имя его. В ней с левой стороны находится изваянное из мрамора

изображение св. Алексия в том убогом виде, в каком он был обретен на соломе, в углу родительского дома. Над этим изображением устроено вместо сени нечто вроде той лестницы, под которою в доме своих родителей подвизался человек Божий.

Житие св. Алексия, человека Божия, не могло не поражать народного воображения тем высоким идеалом самоотвержения, каким он представляется. Имя князя и соединенное с ним высокое положение в обществе, богатство и роскошь, окружавшие его с колыбели, любовь родителей и родных и прекрасная любящая супруга, с которою только что заключен союз на всю жизнь, — все это отвергнуто св. Алексием для Бога и спасения души, все это с радостью, в самой цветущей поре молодости, променено на имя и жизнь нищего, в рубище переходящего с места на место, под дождем и ветром, на паперти храма выпрашивающего милостыню, и наконец находящего приют в сенях, под лестницей родительского дома.

Св. Алексий у русского народа слывет иногда под именем «Теплого», потому что около дня его памяти (17 марта) усиливается весенняя теплота, и вследствие того начинает таять снег в горах и стекать в виде ручейков и потоков в низменные места. Поэтому простолюдины и говорят: «Покинь сани, снаряжай телегу», — «Алексий человек Божий — с гор вода».

(«Русский Паломник», 1899 г., № 11).

ДОБРОЕ СЕРДЦЕ

— Ну, так как же? — заметно упавшим тоном произнесла Вера Николаевна после того, как отец ре-

шитительно высказался против ее поездки в С-кую губернию, куда настойчиво приглашала ее близкая подруга, княжна В-ская, за месяц перед тем поступившая в сестры милосердия и в настоящее время деятельно борющаяся с тяжкою нуждою крестьян, пострадавших от недорода. — Ты, следовательно, не разрешаешь мне этой поездки?

Николай Петрович Б-ин, старый, но еще достаточно бодрый отставной генерал, ответил не сразу. По выражению его лица, быстрым и нервным движениям вокруг письменного стола в обширном кабинете заметно было, что ответ на вопрос дочери стоил ему громадного труда.

В глубине своей души Николай Петрович всецело стоял на стороне дочери. Как человек добрый и посвятивший себя в последнее время исключительно делам благотворительности, он не мог не чувствовать всей святости благородного порыва отдаться служению ближнему. Даже более того: когда час тому назад к нему в кабинет вошла Вера Николаевна и с необыкновенным жаром заговорила о печальной участи голодающих, он просто залюбовался своею дочерью. Все то, что лилось с ее уст, было так свято и дышало таким благородством и такою безыскусною искренностью, что в душе старого идеалиста, каким остался Николай Петрович, невольно стало пробуждаться чувство некоторой гордости, быть может под влиянием сознания, что все это он слышит от своей родной дочери...

Но это было только вначале. Когда же Вера Николаевна, почти со слезами на глазах, закончила

свою речь и выразила желание последовать примеру княжны В-ской, в душе старика заговорило нечто иное...

— Отпустить ее, а самому остаться бобылем и вечно терзаться постоянными страхами и опасениями на ее счет, нет — это выше твоих сил! Ты этого не перенесешь, — слышалось генералу какое-то таинственное предостережение.

— Хорошо; пусть это и так. Пусть, действительно, тебе тяжело расстаться с дочерью. Но кому она нужнее в настоящее время: тебе ли, человеку кругом обеспеченному и нуждающемуся в ней, как сытый человек нуждается в приятном развлечении, или же тем несчастным страдальцам, для которых она явится чуть ли не ангелом Божиим? — слышался откуда-то из глубины души другой голос.

— Если это тебе так неприятно, то я останусь и никуда не поеду. Только прошу тебя: успокойся, пожалуйста. Мне больно видеть тебя таким огорченным, — произнесла наконец Вера Николаевна, сердцем чувствуя причину волнения отца.

При этих словах старик как бы очнулся. Он подошел к дочери и, пристально всматриваясь в ее оживленное лицо, а в то же время и как бы прислушиваясь к какому-то внутреннему голосу, медленно произнес:

— Не разрешить тебе задуманной тобой поездки я не могу, не чувствую за собой этого права... Ты ведь сама отлично должна знать, что любовь и помощь нуждающемуся ближнему — главнейший принцип моей жизни и деятельности. Пример княжны В-ской, действительно, заслуживает пол-

ного подражания. Но только одного я боюсь: сможешь ли ты быть, как говорится, на своем месте, — хватит ли у тебя физических и нравственных сил на задуманный тобою подвиг? Тяжелая нужда, постигшая голодающие местности, ведь издали, по одним только газетным описаниям, приводит нас в содрогание. Как же ты себя почувствуешь, лицом к лицу очутившись с этими ужасными, в большинстве случаев цинготными, скелетами? Сможешь ли ты подойти к этому разлагающемуся трупу без чувства брезгливости? Сумеешь ли ты поэтому стать действительно необходимым человеком и не явишься ли скорее помехой? Ведь мало в настоящем случае одного только желания послужить нуждающемуся; здесь скорее необходимо умение и физические силы.

— Ну, в этом я с тобою никогда не соглашусь. Горячее и искреннее желание быть полезным другому необходимы прежде всего. При желании всегда добьешься своей цели, — быстро перебила старика Вера Николаевна.

Старик недоверчиво покачал головой.

— И я прежде думала то же, что и ты, но теперь я чувствую и глубоко убеждена в том, что была не права. Смотри, что пишет по этому поводу княжна, — произнесла Вера Николаевна, быстро поднося к глазам отца письмо подруги, в конце которого красным карандашом было подчеркнуто:

«Ты, конечно, помнишь, как все вы отговаривали меня от этого святого дела и как стращали грязной курной избой, предсмертными агониями цинготных и тому подобными ужасами, и как предре-

кали мне скорое возвращение восвояси. Теперь же я с полным правом смею уверить тебя, что вы были правы только отчасти; в главном же, безусловно, ошибались; я и не помышляю о скором возвращении в Петербург. Глубоко вы все ошиблись и в том, что здесь нужны какие-то особые люди, со стальными нервами и с какими-то специальными знаниями. Неправда это: здесь нужна единственно только горячая любовь к своему делу, все же остальное — дается само собой... Коротко скажу тебе: среди обычного безделья в вашем чопорном Петербурге я не чувствовала себя годной и необходимой для жизни. Теперь же все это, слава Богу, прошло: кормя голодных, ухаживая за больными и обмывая ребятишек, я впервые почувствовала смысл жизни — теперь я знаю, для чего я живу... Отныне я живу для дела действительно доброго, необходимого и полезного, и в этом сознании моя высшая награда!.. Теперь, в грязной и курной избе, но делая свое дело, я чувствую такое довольство и такую нравственную бодрость, как никогда и нигде...»

Старик до конца прочел подчеркнутое карандашом и глубоко задумался. Вера Николаевна не спускала глаз с отца, пристально наблюдая, как его старческая фигура оживлялась все более и более. Наконец, Николай Петрович резко откинулся на спинку кресла и быстро заговорил:

— Быть может, ты и права... Нет; не только «быть может», но несомненно ты права, как права и княжна в том, что все наше счастье в деле действительно добром, необходимом и полезном. Да,

да, — это святая правда! Человек, ничего не делающий, никогда не будет счастлив: он никогда не будет чувствовать самого необходимого для счастья — нравственного удовлетворения...

И затем, после некоторого раздумья, он с дрожью в голосе прибавил:

— Ты, следовательно, видишь теперь, что я не против твоей поездки. Если тебя влечет в данном случае искреннее, сознательное и серьезное чувство, я не запрещаю, но благословляю...

Следующие три дня прошли незаметно. В хлопотах и приготовлениях к дороге, Вера Николаевна была совершенно равнодушна к окружающему ее миру, витая всем своим существом далеко от Петербурга, в бедствующей восточной окраине. Даже и после третьего звонка, когда курьерский поезд тронулся с места и Вера Николаевна в последний раз припала к груди провожавшего ее отца, она оставалась все в том же полузабытьи, равнодушная к напутствованию провожавших и даже не замечая никакой перемены в еще более постаревшем и осунувшемся за это время лице Николая Петровича...

Чем-то мертвым повеяло вдруг на сестру милосердия Веру Николаевну Б-ну, когда она вышла на последней железнодорожной станции. На всем громадном пространстве, куда только глаз хватал, это была сплошная и выжженная солнцем пустыня, лишь на местах вспаханная и покрытая чахлою зеленью. Особенно жалки были попадавшиеся на пути поселки. Вера Николаевна, представлявшая русскую деревню по иллюстрациям в журналах,

да по ближайшим к Петербургу дачным местностям, была крайне поражена при виде изодранных крыш, разобранных изгородей и лишь изредка видя пасущуюся неподалеку от жилья тощую лошаденку.

— А что же это у вас не видно ни полей, ни стад и почти ничего живого? — не удержалась Вера Николаевна, чтобы не спросить у ямщика.

— Эх, барышня, барышня, ничего-то Вы, почитай, не знаете, что у нас теперь дается. Куды уж нам думать о полях да о стадах разных, когда и сами-то мрем теперь как мухи, — сумрачно ответил ямщик, хлестнув без всякой надобности лошадь.

Тон, с каким сказаны были эти слова, как острым ножом кольну в сердце молодой девушки: в нем слышалось полное отчаяние человека, потерявшего всякую надежду на какой бы то ни было просвет и на лучшее будущее. Это был вопль человека, твердо уверенного в своем неизбежном погребении заживо...

— Что вы, что вы? — вдруг заторопилась молодая девушка. — Разве можно мрачно смотреть на жизнь и окружающую нас, хотя бы и печальную, действительность? Правда, настоящее бедствие у вас велико, но ведь и добрых людей на свете немало. Вот хотя бы и теперь: вам и лошадок казенных закупили, и семян призапасли, и кормят, и лечат вас... А вы говорите: померем все, как мухи....

— Это что и говорить, барышня: свет, действительно, не без добрых людей, — нам помогают ото всюду, да что толку в помощи-то этой?.. Вы сказали: у нас и лошадки казенные, и семена нам дают.

А вот что я у вас спрошу: много ли у нас теперь лошадей-то этих самых, а главное — много ли у нас теперь работников путевых? Голодный да больной немного, почитай, наработает... Может, добрые люди и не дадут всем нам помереть голодною смертию, да только — скоро ли мы снова на ноги встанем? Крестьянина-то добро — что твой дорогой перстень, — и не заметишь, как потеряешь, а нажить-то его ох трудно...

Тяжело на сердце стало у Веры Николаевны, когда она почувствовала в словах ямщика долю горькой правды. До сих пор она представляла голод если и тяжелой бедой, то все же бедой поправимой. Теперь же предстоявшая ей деятельность стала рисоваться тем сказочным чудовищем, у которого на месте отрубленной вами головы быстро вырастают новые две...

С заметно упавшим духом подъехала Вера Николаевна к Б-скому и при виде громадного полуразрушенного и уныло пустынного села как будто усомнилась в своей вере во всепобеждающую силу любви. Беспредельное море человеческого бедствия, волной захватившее и Б-ское, показалось ей таким страшным и бурным, борьба с каким невозможна...

Когда ямщик остановился у большой и просторной избы, служившей «главной квартирой» для отряда княжны В-ской, в ней никого не оказалось.

— Придется, барышня, пообождать вам маленько, пока не возвратится княжна. Они, наверное, скоро придут; а то и вот еще что сделаем: я снесу ваши вещи, а потом и поищу княжну, — предположил ямщик.

— Нет, зачем же? Вы не беспокойтесь, да и княжны не отрывайте от дела. Я с удовольствием теперь пройду по селу и заранее ознакомлюсь с ним, — ответила молодая девушка, направляясь по улице в надежде где-нибудь встретить по-другу.

Мертвая тишина царила вокруг. На улице не было ни души. Вдруг из ближайшей избы до слуха Веры Николаевны донесся плач ребенка и какие-то тяжелые стоны. Молодая девушка направилась в избу.

Чем-то промозглым и кислым пахнуло сразу в лицо Веры Николаевны, когда она распахнула перед собою дверь, за которою раздавался плач ребенка и чьи-то стоны. Молодая девушка невольно остановилась, после яркого солнечного света слабо различая предметы в полутемной избушке.

— Ох, батюшки, помогите, — вдруг донесся откуда-то из угла слабый женский голос, и молодая девушка быстро, хотя и ощупью, направилась в тот угол.

В углу, на нарах, покрытых какими-то грязными и зловонными лохмотьями, лежала бледная женщина; около нее ютились две детские фигуры, а в люльке, неподалеку от нар, плакал ребенок, высовывая оттуда свои беспомощные и сухие как плети ручонки.

При виде этой картины молодая девушка совершенно растерялась.

— Ох, барышня, ради Бога, помоги ребенку, найди ты ему соску, она там где-то в люльке, — княжна час тому назад оставила.

Вера Николаевна поспешила к ребенку и он, действительно, скоро унялся.

— Однако, как же вы тяжело страдаете! — не могла удержаться от восклицания молодая девушка, подходя к постели и усаживалась около стонавшей женщины.

— Правда твоя, родная, сущая правда. Да что поделать?.. Мне бы еще ничего, кабы одной страдать. А то вот ребят этих жалко; за них болеешь, родимая.

— Что же вы — вдова? — спросила Вера Николаевна, не видя в избе мужчины.

— Нет, благодарение Господу, у меня муж жив, да только далеко отсюда; около трех месяцев он ушел на Дон искать заработка, а и до сих пор о нем ни слуху, ни духу... Чай, и самому сам несладко приходится.

— Чем же вы теперь кормитесь?

— Чем? А почитай, что ничем... Что принесут добрые люди, тем и сыты. Раньше я с ребятишками именем Христовым побиралась, все что-нибудь да перепадало, по крайней мере, ребятишки были сыты. А теперь слегла, да с собой и ребят всех уложила. Немоглось уж мне очень; кабы не добрая княжна да ейный доктор один, по сю пору, пожалуй, и Богу душу отдала бы; да спасибо им, отходили... Сама отошла, а вот Васютка-то занемог, — произнесла больная, указывая рукой на лежавшего сбоку мальчугана лет девяти.

Вера Николаевна сняла мальчика с постели и, осмотрев его, к ужасу своему увидела все признаки грозной цинги.

— Вот ты где, — раздался вдруг в двери голос княжны В-ской, — еле нашла тебя. Однако же ты и молодец, — только что с дороги и прямо за работу.

Обе молодые девушки расцеловались и, вместе осмотрев больного ребенка, вышли из избы, пообещав принести обед и привести с собою доктора.

— Спасибо тебе, милая, что ты приехала, — говорила дорогая княжна своей подруге, — у нас теперь так много работы, что сил наших буквально не хватает, отдыхать почти не приходится; это бы все не беда, а вот худо, что средства наши почти истощаются; боимся, как бы скоро и совсем не остаться с одними голыми руками... Одна надежда на милость Божию да на добрых людей...

«Сегодня я приехала в Б-ое и сразу же лицом к лицу встретила с настоящим голодом и этой умолимой цингой, — писала отцу в тот же день вечером Вера Николаевна, — ты не можешь себе представить, что это за бедствие. Самые яркие газетные описания — ничто по сравнению с тем, то я увидела. Бедствие это не поддается описанию, да и не описывать его нужно, а бороться с ним всем своим существом... Я бесконечно счастлива, что могу служить этим несчастным, хотя бы стоило мне даже самой жизни... Да и к чему жизнь, если пользоваться ею так, как я доселе пользовалась? Чтобы доставлять только себе удовольствия? Нет, на это я не согласна и с сегодняшнего дня, уверена, не соглашусь никогда! Моли Бога, чтобы Он помог

нам справиться с нашей задачей! Прости; больше писать некогда. Твоя Вера».

(В. Александров. «Русский Паломник», 1899 г., № 28).

ЯРКИЙ ПРИМЕР ИСТИННО ХРИСТИАНСКОЙ ЖИЗНИ В МИРУ

Не только в монастыре, но и в миру можно вести истинно духовную жизнь. Немало есть праведников, спасающихся в миру. Немало есть людей, связанных с миром своим положением, своею работою, своею семьею, — в тоже время на всяком шагу только и думающих об угождении Богу. Что-то теплое согревает душу, когда слышишь о некотором благочестии живущих в миру людей, подобных той благословенной семье, о которой сейчас пойдет речь.

Один благочестивый странник проходил селом, лежавшим в шести верстах от большого сибирского города. Церковь в нем была небольшая, но благолепно снаружи изукрашенная. Странник помолился на паперти и пошел дальше. На лужке подле церкви играло двое детей лет пяти-шести. Не успел странник отойти шагов девяти от церкви, как услышал детские голоса: «Нищенский, нищенский, постой!» Он возразил: «Я не нищий, а прохожий человек». — «А как же у тебя мешок?» — настаивали дети. «Это мой дорожный хлеб». — «Пойдем непременно, маменька даст тебе денег на дорогу».

И дети повели странника в прекрасный сад, в котором стоял большой господский дом. Из палат выбежала к ним барыня и встретила странника

словами: «Милости прошу, милости прошу. Откуда тебя Бог послал к нам? Садись, любезный!» И сама она сняла с него сумку, положила ее на стол, посадила гостя в покойное кресло, предложила ему покушать или чаю попить. До слез был тронут странник такою необыкновенною ласковостью и смирением богатой барыни. Сердце его умилилось, кипело молитвою, ему хотелось уединения, и он стал просить, чтобы его отпустили в дальнейший путь.

— Боже тебя сохрани уходить, — отвечала барыня, — вот к вечеру приедет муж из города. Он служит там по выборам судьей в уездном суде. Как он обрадуется, увидев тебя! Он каждого странника почитает за посланника Божия. Завтра воскресный день. Ты помолишься с нами и откушаешь. У нас каждый праздник бывает гостей до тридцати — нищих Христовой братии. Да расскажи мне о себе. Я люблю слушать духовные беседы людей богоугодных. Дети, дети, — позвала она, — возьмите сумочку странника и отнесите в образную комнату. Там он будет ночевать.

И, слушая все эти слова, не знал наш странник: наяву ли все это, эта великость любви, или видит он несбыточный сон.

Да, воистину жизнь таких людей, как та добрая барыня, всякий их шаг — это безмолвное, но неотразимое поучение для нашего себялюбия, гордости, чванства.

Говоря со странником, барыня рассказала, что ее мать — монахиня в Тобольском монастыре и недавно приняла схиму. Когда пришло время обеда, за стол, кроме барыни, детей ее и странника, село

еще четыре женщины. Одна из них, поклонившись обедавшим, вышла и вернулась со вторым блюдом. После этого блюда еще одна из женщин пошла за третьим. Странник спросил барыню: «Кто они, сестры ваши?» — «Да, они мне сестры, — отвечала барыня! — Одна кухарка, потом кучерова жена, ключница и горничная».

И опять умилился странник, видя, как свято соблюден здесь завет Христов: «Все вы братья». Чтоб скрыть овладевшее им глубокое волнение, он попросил уединиться в саду, но барыня пожелала идти с ним и сказала: «Если тебе идти одному, то дети не дадут тебе покоя. Они, как скоро тебя увидят, то не отойдут от тебя ни на минуту; так они любят нищих, Христовых братьев и странников».

В саду, поклонясь барыне в ноги, странник просил ее сказать, давно ли начала она проводить такую богоугодную жизнь и как достигла такого благочестия. «Мать моя, — повела рассказ барыня, — правнучка святителя Иоасафа, которого мощи на открытии почивают в Белгороде. У нас был в городе большой дом, во флигеле которого снимал себе квартиру небогатый дворянин. Он умер, вскоре умерла и его жена, оставив после себя сиротку-сына. Мать моя из жалости взяла мальчика на воспитание, а чрез год родилась и я. Мы росли вместе, вместе учились и свыклись как брат с сестрою. Когда скончался мой отец, матушка переехала с нами в это имение, впоследствии выдала меня замуж за своего воспитанника, перевела на нас имение, а сама удалилась в монастырь. Давая нам свое родительское благословение, она сделала нам заве-

щание жить по-христиански, молиться усердно Богу и больше всего прилежать главной заповеди Христовой любви к ближним — питать и помогать нищим, Христовой братии, в простоте и обходиться как с братьями. Вот, исполняя завет матушки, мы и живем здесь уединенно уже десять лет. Есть у нас и нищеприимница, в которой и теперь живут более десяти человек увечных и больных».

Вскоре подъехал барин, и, увидав странника, по-братски его обнял и расцеловал, потом повел в свою комнату, говоря: «Я думаю, жена тебе надоела. Она, как увидит странника или странницу, или какого больного, то рада и день и ночь не отходить от них. Во всем ее роде исстари такое обыкновение». Они вошли в кабинет барина. Там было множество книг, прекрасные иконы, животворящий крест во весь рост, и при нем поставлено Евангелие; странник, помолясь, сказал барину: «Да у вас, батюшка, здесь рай Божий. Вот, Сам Господь Иисус Христос, Пречистая Его Матерь, святые угодники Его, а книги — их Божественные, живые и неумолкаемые слова и наставления; я думаю, вы часто наслаждаетесь небесною беседою с ними!»

— Да, признаюсь, — отвечал барин, — я охотник читать.

Во время беседы вошла барыня, принесла им чаю, а дети притащили поднос печенья. Барин раскрыл одну духовную книжку и, подавая ее барыне, сказал: «Вот, мы ее заставим читать. Она прекрасно читает, а сами подкрепимся». С усладой слушал странник чтение. Так занимались они чтением до ужина. За столом по-прежнему господа и слуги си-

дели вместе. Поужинав, долго молились, и странника заставили читать акафист сладчайшему Иисусу. Когда молитва была кончена, слуги пошли на покой, а странник остался с супругами. Барыня принесла ему белую рубаху и чулки. Поклонясь в ноги, он сказал, что всю жизнь ходит в онучах. Тогда она побежала, принесла свой старый кафтан тонкого желтого сукна, разрешила его на две онучи, а барин принес свои новые башмаки. Они велели ему переменить в другой комнате белье и затем вернуться к ним. Тогда они посадили его на стул и начали обувать: барин стал обвертывать ему онучами ноги, а барыня начала надевать ему башмаки. Сперва он не хотел даться, но они сказали: «Сиди и молчи. Христос умывал ноги ученикам». Ничего не оставалось ему делать. Он начал плакать. Заплакали и они.

Всю почти ночь, ходя по саду, барин проговорил со странником о духовных предметах, и соснули только с час или с полтора пред утреней. Когда по благовесту они пришли в церковь, барин был тут давно со своими детьми. И все отстояли утреню и Божественную литургию. Барин со странником стояли в алтаре, а барыня с детьми у алтарного окна, чтоб видеть возношение Даров. Как они молились на коленях и заливались слезами! Какие просветленные сделали у них лица! И странник, глядя на них, досыта наплакался. Когда служба отошла, господа, священник, слуги и все нищие пошли вместе к обеденному столу. Нищих было до сорока человек. Все сели в тишине и молчании за один стол. Странник шепотом сказал барину:

«В обителях во время трапезы читаются жития святых. Вот бы и вам завести такой же обычай». Барин сказал: «В самом деле, Маша, заведем такой порядок. То будет преназидательно». Но, пока они сидят за этой трапезой любви, с благословением с высокого неба взирает на них Христос, отойдем мы от них, благословенных детей Божиих, унося в сердце пример из жизни, и скажем себе, что и в миру можно всею душою служить Богу.

(Е. Поселянин. «Душеполезный
Собеседник». Июль, 1906 г.).

КТО МОЙ БЛИЖНИЙ?

«Туманное раннее утро. Мелкий частый дождик. В воздухе пронизывающая сырость. Маленький дворик церковного дома несмотря на сырую погоду переполнен народом. Дверь квартиры священника, отца Петра Горемыкина, теперь, как и всегда, открыта для знакомых посетителей, только он сам уже не встречает с радушным приветом входящих к нему. Добрые глаза его навеки скрыты, добрые уста его никогда не скажут слово утешения. — Он скончался вчера, а сегодня все прихожане собрались поклониться останкам горячо любимого пастыря. Двор все наполняется и наполняется несмотря на то, что побывавшие в доме уже уходят, но другие появляются с улицы, и толпа все густеет. Да и не удивительно такое стечение народа — усопший был им всем не отцом, а родной матерью. С редкой любовью, с нежной заботливостью относился он к каждому и помогал, чем мог: кому советом и молитвой, кому деньгами и покровительст-

вом. Все грустны, но странно — входят все печальные, сумрачные, а выходят радостные, просветленные. Одним из последних пришел во двор церковного дома студент. Глубокое горе написано на сумрачном, не по летам серьезном лице. Видно было, что жизнь не баловала его, что тяжело приходилось ему подчас и что эта голова и эти руки уже успели довольно поработать на своем веку.

— Становитесь в очередь, так нельзя, — говорил кто-то в толпе. В толпе обнаружилось движение и мало помалу все чинно вытянулись в длинную нитку, несколько раз обвившую двор внутри. Студент как-то тупо и безразлично смотрел на все это и как пришел, так и встал одним из последних. Ждать пришлось довольно долго. Мысли одна за другой пролетали в его уме. Давно ли, кажется, узнал он этого человека, а как сильно к нему привязался какой-то благоговейной любовью и сыновним почтением, и какую сильную роль сыграл усопший в его жизни! Пред молодым человеком вставали картины одна безотраднее другой. Вот видит он последние годы в гимназии — перебивается изо дня в день. Он существует грошовыми уроками — семья бьется как рыба об лед. Он дотягивает, сдает экзамен и уже видит венец своих стремлений — университет. Гроши сколочены, он вносит за лекции — он принят. Начинается новая попытка, новые поиски работы, новые непосильные труды, но мать еще тогда работала, все шло недурно, казалось вот-вот найдет он выгодный урок, она — заказы, — они перебьются, а впереди надежда на возможность получить место, жить с боль-

шей пользой для общества. Но вот, в один ужасный день, мать заболевает, заболевает сильно и опасно. Последние гроши уходят на ее лечение, но он не унывает, он содержит ее своим уроком; грошей хватает даже на лекарство. Однако болезнь затягивается, средства убывают, приходится брать вперед, дома некому присмотреть за больной. Поневоле приходится иногда не ходить на урок, урок этот — насущный хлеб, а после бессонных ночей и с больной душой и урок-то дается как-то плохо. Одним словом, через несколько времени ему пришлось услышать вежливый отказ, и он с десятирублевой бумажкой в руке, с тупым сознанием полной безнадежности, понуря голову, добрал до дому. Матери хуже. Не надолго хватило этих десяти рублей, а там пошла нищета, нищета непокрытая... Занятий не находилось, он рад был и дрова рубить, но и на это находились более сильные и умелые руки, да и редко попадалась и такая работа. Всего натерпевшись, видя с ужасом, что мать угасает от истощения, он пошел побираться под окнами соседей, он вымаливал гроши на лекарство, но окружающие были сами бедны и не много давали, а богатые не дали бы ничего, да и просить у них не хватало духа. Вот в таком состоянии запахла ему наконец в голову отчаянная мысль покончить разом с собою. Не видеть более страданий дорогого человека, не будучи в силах их утолить, и не терзаться самому безысходной мукой. С этой целью ушел он ночью на набережную реки и, с твердым намерением прекратить свои мученья, решил броситься в воду. Как теперь, помнит он эту страш-

ную минуту. В нем все застыло, все — исключая тупого страдания. Он более не колебался. Смерть лучше этой невыносимой жизни. Мать — все равно ей не выжить, ему ничего более не остается, как глубокое, безысходное отчаяние.

Кругом тишина. Вот он готов броситься в воду, как вдруг вблизи раздаются шаги... «Ах, — подумал он, — помешают, придется подождать». Эти мысли неясно промелькнули у него в уме. Он не переменил позы и тупо ждал, пока шаги затихнут. В эту минуту кто-то ласково и твердо положил ему руку на плечо и чей-то голос, полный любви и участия, произнес:

— Голубчик, пойдем ко мне!

Он не шевельнулся. Он, казалось, не слышал, но внутри, по больному месту, эти ласковые слова точно отделили от него какой-то отболевший член.

— Голубчик, пойдите ко мне! — продолжал настаивать голос. В нем слышалась и просьба, и властное приказание, но такое нежное, сострадательное, такое сердечное, что снова в душе его что-то резнуло и словно еще отделило какой-то больной член. Бедняга еще раз услышал тот же ласковый призыв и наконец бессознательно двинулся за незнакомцем. Он не сознавал, что он делает, куда и зачем идет. Невольно и как бы под гипнозом шел он за своим избавителем, шатаясь и едва передвигая ноги. Тот привел его в свой дом, ввел в свой кабинет и придвинул ему мягкое кресло. Тут только он безотчетно рухнул лицом на стол и горько зарыдал. Долго рыдал он, и, казалось, слезы смывали

все, что наболело в его сердце, а ласковые слова незнакомца убаюкивали его. Добрый человек между тем приготовил ему постель, уложил его и успокоил холодным компрессом его горячую голову. Студент заснул в первый раз после многих бессонных ночей, заснул как убитый, но когда проснулся, было темно, он вскочил как ужаленный, вспомнив о матери.

— Где я? — вскричал он.

— У меня, — ответил, поднимаясь и подходя к нему, сидевший неподалеку священник. — Как я рад, что Вам лучше. Я стал уже бояться, как бы Вы не заболели. Скажите, голубчик, что вас заботит, скажите пожалуйста.

— Мать моя при смерти, а я здесь... — угрюмо ответил тот.

— Поедьте к ней сию же минуту, — возразил священник, помогая ему одеваться. — Что же с ней? Не отчаивайтесь, Бог даст, поправится.

— Ах, Вы не знаете, — вырвалось у него, и он смолк, но священник тихо и осторожно и настойчиво расспросил студента, и тому пришлось сознаться. Он не мог устоять против испытующего, пристального взора пастыря душ.

Поспешно вышли они из дому, наняли стоявшего на углу улицы ночного извозчика и поехали по адресу, данному студентом.

Приезжают в одну из трущоб города, в большой дом со множеством мелких квартир и ужасных углов и там застают больную в ужасном положении. В тесной, грязной и нетопленной, а поэтому крайне сырой комнате, на плохенькой постели стонала

она беспомощно, мечась в жару. Насилу отыскали огарок. Комната осветилась и стала еще непригляднее.

Священник подошел к больной, оглядел ее опытным глазом и заметил, обратившись к студенту:

— Она больна от истощения, но не безнадежна. Вы это не думайте. Я уверен, что еще не поздно и мы ее выходим. — Больная, как бы в подтверждение этих слов, открыла глаза.

— Не желаете ли облегчить совесть исповедью? — спросил священник.

— Мы евреи, — поспешно и угрюмо сказал студент.

— Ах, я не знал, — возразил священник, — но это все равно, помолимся вместе, вы по-своему, а я по-своему. — Он встал на колени и кротко помолился, осеняя себя крестным знамением. Затем быстро встал и, сказав студенту подождать его здесь у постели больной, поехал в ближайшую аптеку. Там он взял всего, что могло подкрепить силы больной, истощенной женщины и поспешил вернуться. Здесь он поднес к ее устам прохладительное и вместе с тем питательное миндальное молоко. Больная прильнула к стакану и выпила молоко с жадностью. Тогда он разогрел на принесенной из аптеки спиртовке настой из крепкого бульона, положил туда немного белого хлеба и дал его больной. Силы, казалось, мало-помалу возвращались, и через полчаса она уже могла сказать несколько слов. Сын ее все время не спускал глаз с своего благодетеля

Едва мог удерживать радостные слезы при виде его хлопот около его матери.

Между тем рассвело, священник протянул ему двадцатипятирублевую бумажку, сказав: «Сходите, купите дров, чаю, сахару, провизии, всего, что нужно, а я пока посижу у больной, а то мне скоро же придется идти домой».

Как в чаду исполнил студент поручение. Возвращаясь с запасами, он как мог благодарил своего благодетеля, но тот не дал ему договорить. «Полноте, полноте. Завтра я буду снова у вас, привезу вам еще денег и, быть может, доставлю вам занятие. Не беспокойтесь, вы мне все это со временем вернете, в этом я убежден».

Когда он вышел, Симонсон, так звали студента, не знал, что с ним делается: радость ли, недоумение ли брали верх в хаосе его мыслей. Он видит только избавление от нищеты рукой православного священника.

И на другой, и на третий день добрый человек посещал убогий угол, превращенный теперь в уютное помещение. Мать стала понемногу поправляться, а сыну доставлен был хороший заработок и взнос за лекции. Все пороги обил добрый отец Петр и нашел искомое.

Теперь мать его снова принялась за работу. Он продолжает учиться, близки и экзамены, а впереди ждет обещанное место, место, выхлопотанное тем же отцом Петром. Симонсон обеспечен, но в это время умирает отец Петр...

Мир праху твоему, добрый, необыкновенно добрый человек! Ты, пастырь православных, не погну-

шался всей душой войти в положение иноверца, ты не пожалел ни денег, ни хлопот, чтобы выгнать из ямы совершенно чуждого тебе человека, ты продолжал о нем заботиться и ни разу не попытался склонить его на переход в твою веру. Он был индифферентен, но ты, горячо верующий, ни словом не обмолвился при нем о вере, и, между тем, какой громкий гимн хвалы Христу и Его любвеобильному учению пропел ты своим молчанием и своими делами. Дела твои проповедали за тебя...

С этими мыслями, влекомый очередью, вошел он в комнату. Шедший перед ним положил земной поклон, осенив себя крестным знаменiem, и приложился к св. Евангелию, лежавшему на груди усопшего иерея. Он тоже опустился на колени, поднявшись, весь орошенный слезами, он жаждал взглянуть в дорогое ему лицо — но оно было покрыто воздухом...

«Так вот конец пройденного тобою пути, — подумал он. — Спасибо тебе, учитель мой, спасибо», и он прильнул к его холодной руке, державшей крест... и, внезапно осененный, положил на себя крестное знамение и приложился ко кресту... Вера, которая направляла такого человека, которая порождает такие дела, и есть истинная вера. «Я пойду по твоим стопам, учитель мой, я отдам весь свой излишек тем, кто нуждается, и если встречу несчастного, помогу ему, не считая, как сделал ты», — подумал он, выходя. А лицо его светилось неизведанной дотоле радостью.

(«Кормчий», 1906 г., № 29).

РЕДКАЯ СЕМЬЯ

(Из воспоминаний В. П.)

Я глубоко чту семью, слишком высоко ставлю ее смысл и значение. В наше время трудно встретить истинную семью... Семейная жизнь в упадке...

Но в моих странствованиях по белу свету мне привелось нечаянно встретить, в деревенской глуши, примерную семью, пребывание в которой было для меня лучшим и дорогим временем в моей жизни. Этими дорогими для меня воспоминаниями и хочу я поделиться с читателями. То было несколько лет тому назад.

Я проезжал по делам Воронежскую губернию, и мне часто доводилось останавливаться на ночлег и отдых в разных селах и деревушках.

Близко присмотрелся я к житью-бытью мужиков, научился понимать их взгляды и воззрения.

Однажды под вечер я подъезжал к деревне. Тяжелые тучи заволокли все небо. Начинал моросить дождь. Я устал трястись в тележке и решил переночевать в деревне.

— Послушай, — обратился я к своему ямщику, — ты, наверное, знаешь кого-нибудь в деревне?.. Вези меня к кому-нибудь в избу, я хочу переночевать и отдохнуть... — Ямщик почесал затылок...

— Тутошний... Что ж, барин, коли хочешь на ночевку остаться... я тебя к Архипу свезу... У него достатки есть... и изба почище будет...

— А семья у него большая?

— Большущая... человек никак двенадцать наберется...

Мы проехали деревенскую улицу и подъехали к большой, заново отстроенной избе. Из-под ворот вылезли и залаяли на нас две косматые собаки.

Окно в избе отворилось, показалось лицо старика с длинной седой бородой.

— Пусти меня, дедушка, переночевать... Устал я... по делу еду! — взмолился я старику.

Старик помолчал несколько минут, пытливо глядя в меня.

— Милости просим, барин... Не обессудь... Чем богаты, тем и рады! — промолвил он.

Я вошел в избу. Она была полна народу. Трое мужиков чинили сбрую, несколько баб что-то шили... Ребятишки играли около взрослых. Я подумал, что у старика собрались гости, и тихонько сел на лавку, оглядывая собрание.

Старик, по-видимому, угадал мои мысли.

— Чему дивишься, барин? — усмехнулся он. — Думаешь, народу больно много? Это, родимый, все свои, семейские.... вместих живем. Эй, Матреша, спроворь барину закуску... — прервал он свою речь, обращаясь к молодой девушке, усердно что-то работавшей. — Небось устал в дороге-то?

Я, действительно, так устал и измучился, что едва отведав яичницы, которую чудесно состряпала Матреша, завалился спать и спал как убитый до утра.

Утро наступило ясное, светлое. В избе началось движение с зарей. Но ходили тихо и говорили шепотом, из боязни разбудить меня. По-видимому, это было непривычно для них, особенно для ребят, которых постоянно унимали и оговаривали.

Я встал рано в прекрасном расположении духа. Мне казалось, что я давно знаю старика и его семью. Так хорошо я себя чувствовал среди них. Почтительный седой старик с добродушным и вместе строгим лицом пришелся мне крепко по душе. Видно было, что он стойко держал в своих руках бразды правления и вся семья глубоко почитала его. А семья была громадная.

Когда все разошлись после обеда, я выразил старику свое удивление.

— Как это вы все вместе живете? Тесно, я думаю, всем? Много ведь всех...

Старик улыбнулся.

— В тесноте, да не в обиде, барин. Обид мы не знаем. А что много нас, это твоя правда... У нас к избе с двора три клетки подстроены... Да и баню занимаем... Еще строиться хотим... Вместе лучше жить, барин! Вот, гляди, сколько нас. Я да старуха моя, три сына женатые с женами и ребятами при мне живут, еще сын паренек, да дочка у меня меньшая... Старшенькая дочка моя овдовела.... Тоже, значит, у меня с ребятами живет... Вот и считай нас... А зато, барин, все работники... рук-то сколько у нас... работа кипит... Пашня ли, жниво ли, покос ли, у нас у первых раньше всех поспело... Еще другим поможем... Это вот нешто не работник? — ласково потрепал он по щеке маленького, белокурого мальчика... — Мои внучата — хорошие ребята... благодарить Бога... Их работать помаленьку приучаем... Пущай учатся...

— Но в такой огромной семье, дедушка, я думаю, без ссор не обходится? Женщины, наверное, ссорятся? — спрашивал я.

— Нет, барин, этого у нас нет... Душа в душу живем... Старуха у меня добрая... невестки ее, как мать родную, любят... Это, барин, как поставить... У нас так дело стоит, что ни ссоры, ни обид слыхом не слыхать... Не поладят бабы, сейчас ко мне... я все рассужу, сам за всем гляжу... Сынки мои, слава Богу, делиться ни в жисть не хотят... И верно, барин! Работников у нас много, работа кипит... Ну, и достатки есть. У баб шелковые сарафаны имеются... А погляди, у других беднота какая! Жалость глядеть! Мы живем сообча, своим судом судим и награждаем... И нечего Бога гневить, хорошо живем! — Семья добрая, человеку счастье, и родине помочь. В доброй работной семье и ребята добрыми работниками вырастут... Так-то, барин!

Слова старика подтвердились. Я загостился у них и прожил целую неделю, было дело у меня не спешное. И по правде сказать, присмотрелся я к ним, и дивился. Семья была поистине примерная. Все были налицо передо мной. Никто не скрывался. И за все время я не заметил косого взгляда, недоброго слова в семье.

Все жили необыкновенно дружно и мирно. Начинался ли спор между взрослыми или начинали ссориться женщины, или капризничать дети — старику стоило только взглянуть на них строго и пристально, и все утихало. Он был душой этой согласной и мирной семьи, оберегал ее, следил за ней. А между тем, я не слышал, чтоб старик ругался или

кричал. Он говорил всегда спокойно и строго. Мы часто беседовали с ним по душе.

— Матушка моя была истинно добрый человек, — говорил мне старик. — Добру она меня учила; учила в Бога верить, людей любить, семью вести, в согласии и мире ее держать! Часто она говорила мне: береги, Архип, семью... В ней счастье человека... Мир да согласие семейское — выше всего! Я с этим вырос и так детей растил... Сыновья мои нас со старухой почитают, семью свою крепко жалеют и берегут... Спасибо матушке! Мир ее святой душе! —

Надо было видеть, как уважали в деревне старого Архипа, каким почетом пользовалась его семья. Дело ли какое надо было решить, совета ли спросить, все шли к нему, веря в его разум и правдивость.

— Вот, барин, — смеялся мне старик, — есть и у нас завистники... Семье моей, миру да согласью нашему завидуют... Колдуном, слышь, меня прозывают... Будто я колдую... Оттого у нас мир да любовь. — Старик добродушно смеялся.

Время, которое я провел в семье Архипа, никогда не забуду. Нигде я не чувствовал себя так хорошо, как в этой простой крестьянской семье.

С глубоким уважением всегда вспоминаю я деда Архипа. Простой крестьянин, он умел понимать, умел оценить смысл и значение семьи.

Жив ли он теперь?

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬ

Если бы сказали, что в наш век, когда большинство проникнуто мыслию только о том, как бы вольготнее пожить на свете, можно встретить человека, который всецело предался бы заботе о благе других, совершенно забывая при этом о собственных интересах и выгодах, — никто бы этому не поверил. А между тем, оказывается, что такие бескорыстные люди встречаются даже теперь. Правда, их можно редко видеть, о них что-то совсем не слышно, тем не менее они, к чести нашего века, являются, хотя бы даже как исключение, и теперь. 13-го декабря 1889 года такого именно человека хоронили на Митрофаньевском кладбище, в Петербурге. На похороны его собралось так много провожатых, что никак нельзя было предположить, что хоронят простого крестьянина.

«Дедушку Михайлыча» (покойный умер 72 лет от роду) знали почти все столичные бедняки, ютившиеся на чердаках и в подвалах Петербурга. Покойный прибыл сюда, как оказывается, семнадцать лет тому назад, одетый в сермягу, с тощей котомкой чрез плечи, с посохом в руках. Вначале на него никто не обратил никакого внимания, считая его обыкновенным странником, «побирающимся по купечеству». Но вот начали замечать, что по чердакам и подвалам прилегающих к Сенной площади домов частенько ходит какой-то странник и раздает бедным больным деньги и съестные припасы, — кому полтинник, кому двугривенный и т. п. Дивились все странники. Сам в сермяге, в лаптях,

не лучше другого нищего одет, а бедным деньги раздает.

— Ты бы, дедушка, себе на черный день приберег, — говорили ему бывало те же бедняки, которым он благодетельствовал.

Но «дедушка» знал одно: он молча приходил в подвалы и чердаки, и вообще в жилища бедняков, молча раздавал все, что у него припасено в котомке, и безмолвно же уходил.

Долго не знали бедняки, кто этот таинственный благодетель, который их часто посещает. Вначале предполагали, что он самый богатый человек, что ему некуда денег девать... Говорили даже, что он это делает для того, чтобы замолить какой-то грех, который лежит у него на душе. Но вот стало наконец известно, что «дедушка Михайлыч» сам ходит по знакомым купеческим домам столицы, собирает милостыню и все, что получает, раздает нищим и больным. Сам он питался исключительно хлебом и водою.

Так прошло семнадцать лет. Популярность его росла среди столичных бедняков с каждым днем. Здешнее купечество, узнав об образе жизни «дедушки», считало за честь, когда он приходил к кому-нибудь из них переночевать.

Неделю тому назад он простудился в своем зипунишке, в котором ходил и зимою, и летом, и захворал. Его отправили в больницу. Когда его раздели, то на исхудавшем теле его оказались железные вериги на целый пуд весом. На вопрос доктора, давно ли он носит эти вериги, «дедушка» отвечал, что он не снимал их с себя ровно двадцать пять лет.

Так как вериги были не на крючках, а скованы железным кольцом, то, по приказанию доктора, их пришлось распилить. «Дедушка», оказавшийся крестьянином Александром Михайловым. Крайне-вым, умер 1889 года 10 декабря, а 13 декабря, при громадном стечении народа, состоявшего преимущественно из столичных бедняков и нищих, похоронен был на Митрофаньевском кладбище. Вериги его и тяжеловесный посошок, который покойный имел всегда с собою, хранятся теперь в ризнице кладбищенской церкви.

(«Воскресное чтение», 1890 г., № 17).

ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ КОНЧИНА КРЕСТЬЯНКИ

(Из дневника сельского священника)

Как отраднo, что и в наше время, многосуетное и многогреховное, есть люди боголюбивые и явно боголюбезные! Они как бы и не заметны при жизни в ряду глубокоразвращенных грешников, но, при тщательном наблюдении, при «кончине живота» своего, они резко выделяются из окружающей их темной среды людей беспечных явною к ним милостию Божиею. Тем более отраднo видеть таковых не в высокообразованной среде, где отсутствие боголюбия не должно бы быть и мыслимо, а в среде неученых, простых и, по-видимому, грубых сельских жителей.

5 февраля пришлось мне быть свидетелем замечательной кончины одной нашей сельской крестьянки, по имени Иустинии И. Е., доставившей мне и глубокое утешение, и много размышлений, и дающей случай поведать о милости Божией

к грешникам, всем боголюбцам паче, нежели миролюбцам. — В понедельник сырнoй недели, после непродолжительной болезни, скончалась эта крестьянка, благочестно вдовствовавшая после мужа своего три года. Оставшись бедною вдовою и не имея родных детей, она проживала у пасынков в разных домах, терпела много горя и неприятностей, то от бедности, то от семейных нестроений и притеснений, и единственное утешение себе находила лишь в храме Божием, который она особенно любила посещать во дни св. и вел. четьредесятницы. Отличительною чертою любви ее к церковным богослужениям было то, что она всегда становилась в храме Божием впереди всех пред алтарем, усердно молилась, с напряженным вниманием всегда слушала Божественную службу и пастырские поучения. Всегда приветливая, ласковая и миролюбивая, она при встрече со священником спешила под его благословение и другим всегда давала добрые советы крепко любить Церковь Божию и почитать священников — пастырей стада Христова. Любовь ее к священству и бесхитростная простота и доверие выразились раз даже пред очами архипастыря, в 1887 году совершавшего Литургию в нашем храме. Сопровождавшая его после службы на квартиру, она протискалась сквозь толпу народную, предстала пред святителем Церкви Божией и, испрашивая благословение, не утерпела, чтобы не сказать: «Экой ты — родимый, экой ты — приятный! Как ты утешил и осчастливил нас: ну-ко и обедню — отслужил за нас, грешных! Такой радости мы никогда не имели, да и деды наши не

видали... Спаси тебя Господи!» и проч. Конечно, ничего особенного как бы не заметно в таких отношениях сельской крестьянки к Церкви и священству... Да они и не вспомнянулись бы в мире сем и, как и многое подобное, скоро забылись бы, если бы мне не пришлось быть свидетелем христианской, непостыдной и мирной кончины этой крестьянки, подобной которой (кончине) я редко видел в многолетней своей пастырской жизни. Впечатления мои при одре умирающей записаны мною тотчас же в пастырский дневник мой, и я выписываю их здесь со всею подробностью.

После обеда, 5 февраля, в 12 часов дня, я лег лежать, по обычаю, и слегка заснул. Снится мне, что я во св. алтаре хожу вокруг престола и пою «со святыми упокой» и проч. Обхожу престол три раза, поя одно и то же, и лишь обошел в третий раз, как, по голосу жены, просыпаюсь: она будит меня и говорит, что за мною пришли от больной Иустинии, которая просит меня зачем-то побывать к ней поскорее. Соображая то, что я уже приобщал больную и соборовал ее 1 февраля, я недоумеваю, что еще ей нужно от меня. Однако только что виденный мною сон заставил меня поторопиться к больной, и вот я, взяв требник, явился к одру ее и спрашиваю, что ей от меня нужно... Обрадованная моему приходу и, лежа на одре, испросив от меня любимое ею благословение, она просит прочесть ей отходную. Говорит она легко и весело, как и всегда, дыхание у ней — не особенно опасное, лишь с перханьем, и я потому советую ей повременить читать отходную. «Здесь до меня недалеко, — гово-

рю, — за мною придут и опять, если будут явные признаки смерти».

— Так что же бы ты сделал теперь со мною? Я очень рада тебе и хотелось бы мне вот, чтобы ты отчитал уж отходную.

— Я отчитаю, — говорю, — вот подождем еще хоть до утра: как увидят, что ты кончаешься, так прибегут за мною и я, хотя бы в полночь, явлюсь к тебе. А теперь я благословляю тебя именем Господним.

— Ну, хорошо — не оставь же, — сказала моя Иустиния И., по разговору положительно не представлявшая скорой опасности. Исповедоваться еще бы она отказалась, высказав, что грехи ее все уже были исповеданы.

Между прочим, просьба ее читать отходную глубоко и тревожно залегла в моем сердце. Я присел при одре болящей и раздумываю: «Кто знает, быть может, так вот сейчас же и нужно читать отходную по ее желанию, а не по моему усмотрению, и не поздно ли будет уже, если я отложу отходную до другого зова, и не погрешу ли я тяжко пред Богом и пред умирающей, если не утешу души ее в тяжкую минуту разлуки с грешным телом». Думу такую я высказал домашним ее и всем окружающим одр ее и жду их совета. Одна женщина высказала, что здесь недалеко — успеем-де позвать священника, если будет хуже, а теперь, кажется, и опасного-то ничего нет. — Больная же опять говорит: «Ах, как бы теперь же отчитали мне отходную, так уж бы и умереть-то я не боялась, уж точно бы ничего лучше-то мне и не нужно».

— Но у тебя, голубушка, — говорю я, — разговор-то такой легкий и веселый?!

— На это не смотри, батюшка, — сказала больная, — меня так и гонит: я думаю, не доживу и до вечера.

— В таком случае ждать больше не будем и сейчас же помолимся Пресвятой Богородице, — сказал я, — утешься, матушка!

— Добре бы! — обрадовалась больная.

Я пригласил всех к молитве и стал читать канон на исход души. Больная слушала с глубоким вниманием читаемый мною канон и постоянно крестилась. Прочитавши канон, окончательную молитву на исход души я все-таки отложил до следующего раза, высказав об этом больной и прося домашних ее придти за мною, если больная почувствует смертный конец. Больная сердечно поблагодарила меня, что я так утешил ее и просит домашних отдать мне за труды. Я же благословил ее и хотел отправиться домой.

После сего больная высказала желание «улечься бы на полу — на соломе». Я просил сделать по ее желанию и отправился в дом свой, полный многих дум о смертном часе и о Промысле Божиим о нас, грешных, не предполагая, впрочем, чтобы так скоро могла помереть моя И. И. — Но вот — не более как через час, бегут за мною опять и просят идти поскорее к той же Иустинии И.: «Страдает, батюшка, поскорее!» — торопят меня... Я спешу, вхожу в дом и вижу: моя И. И. лежит уже на полу — на соломе, на левом боку, трудно и с храпом дышит коротким дыханием; глаза закрыты. Ей сказали, что я пришел... Не открывая глаз, внятно и тем же голо-

ом, как и ранее, только с перерывами по случаю частого и короткого дыхания, она начала высказывать свою сердечную радость и благодарность, что я не обленился — пришел к ней. «Как ангел с неба прилетел ты ко мне», — сказала она, и потом начала благодарить меня «за службы» мои и наставления, высказывала, как она «любила эти службы и наставления, как всегда утешалась»... Долго говорила она, и я благоговел, слушая ее излияния сердечные, при которых как будто забыты были умирающею все ее страдания телесные в минуты смерти, при которых как будто царила она уже в невидимом мире, где нет ни печали, ни воздыханий — одно утешение... Голос ее под конец стал слабее и слабее: «храбрец» душил ее все круче и сильнее, но она сего как будто не чувствовала, продолжая говорить о своем утешении, которое находила в церкви Божией. Не сомневаясь более в приспевшем смертном часе моей болящей; я пригласил всех, окружавших ее (полный дом) к молитве на исход души, преклоньше колена. Больная замолкла, перекрестилась и с глубоким вниманием, но все еще с закрытыми глазами слушала молитву. После молитвы опять она стала благодарить меня и говорить о своем утешении... Наконец уже и слова ее стали прерываться: вместо «утешилась» или «утешение», у нее в последний раз вышли — «утешен... утешени...» «Тебе трудно?» — спросил я при этом. «Трудно», — сказала она довольно внятно, и потом заговорила было еще: «труд... путь», и замолкла. Но и последнее слово «путь» — можно было видеть разве лишь в устах ее: договорить его вслух она

уже не могла, так как дыхание ее сделалось еще труднее и с задержкою. После слов «труд... путь» больная вдруг повернула лицо кверху (глаз все еще не открывала), перекрестила себя истово и неспешно твердою рукою и — как заметно было — с глубокою верою и благоговением, негромко простонала три раза, затем опять повернула голову на левую сторону, подложив под нее обе руки и вдруг, широко раскрыв глаза и рот, уставилась на образ Богоматери — на божнице, где горела лампада. Глядела так не мигая минут пять или более. Я стоял и, благословляя умирающую, с каким-то трепетом следил за ее кончиною. Дыхание ее стало вот уже останавливаться и задерживаться все чаще и долее; потом вдруг крепко она сжала глаза и губы и как бы принимала или глотала сильно горькое, неприятное, — и с сим слышалось что-то вроде легкой отрыжки... еще, легкий и короткий вздох... и конец.

Благословив еще новопреставленную и пригласив всех к новой молитве, я совершил литию о упокоении рабы Божией Иустинии, и затем невольно высказал: «Как любила ты, И. И., как утешалась, — так с этим утешением Господь сподобил и перейти тебе в вечность — на небо к Отцу Небесному, при слугителе церкви Христовой, с фимиамом кадила и молитвою о блаженном упокоении тебя там, где вечно — ненарушимое и неизреченное утешение».

Было три с половиной часа пополудни, когда я пошел от умершей в дом свой. Так тихо и мирно скончалась Иустиния, за два часа — не более — по-

ложительно не представлявшая смертной опасности и в минуты смерти как будто не страдавшая и не умиравшая, а лишь переходившая из бренного тела в мир невидимый, вещая живущим о своем утешении чрез оставляемый ею на земле телесный орган слова.

Домашние почившей рассказывали, что 4 числа, накануне смерти, больной представилось, будто бы пришла к ее постели какая-то женщина, показала картину Страшного Суда и потом, свернув ее, ушла. В тот же день больная высказала желание «сотворить бы милостыню из теплых рук» — и при скорбие, что «в руках-то у нее нет ничего». 4 числа Евангелие на Литургии читалось о Страшном Суде, и не дивно ли, что больная, так любившая службы церковные, душой своей созерцала то, о чем вещала в этот день св. Церковь, в которой быть ей за болезнию не пришлось. Не назидание ли пресыщенным благами земли до забвения смертного часа и суда Божия в мирной кончине боголюбивой души бедной крестьянки, в минуты смерти утешавшейся лишь одною службою церковною и не чувствовавшею никакого страха и скорби о разлуке с миром? Такова ли смерть грешника, не любящего Церкви и священства и отвергающего нужду и великую важность их в деле вечного спасения и блаженства?

(«Воскресное чтение», 1860 г., № 40).

СХИМНИК

Впервые я увидел его давно, еще в студенческие годы. В то лето судьба забросила меня в один из

глухих уголков нашего обширного отечества. Жил я у богатого помещика, сыну которого давал уроки. В свободное от занятий время мне нравилось бродить по окрестностям Божедаровки. Так звалось село, в котором я жил. Дикие и вместе с тем величественно-красивы были эти окрестности: вековой могучий бор заполнял кругом большую часть пространства, покрывал высокие холмы, раскидавшиеся всюду, таинственно чернел в ложбинах и междоухолмиях; большие и малые поляны приветливо желтели взошедшими посевами, а там, вдали, как бы на самом горизонте, возвышался на холме белевший своими стенами старинный монастырь, вокруг которого внизу вилась тихая речка... Когда в монастыре звонили казалось, что кто-то старый, тихий и грустный раздумчиво перебирает древними колоколами...

Заметив мою привычку к уединенным прогулкам и тот интерес, с каким я расспрашивал о монастыре, помещик как-то раз с легкой, полунасмешливой улыбкой посоветовал мне сходить туда и познакомиться с монахами.

— Но с кем я вам безусловно советую познакомиться, — серьезно прибавил он, — так это с отцом Авелем, схимником. Человек с университетским образованием, мало того, даже не чуждый в свое время чистой науке, — и вот схимник!.. Говорят о нем много разного, но одно то несомненно, что личность эта далеко не обыкновенная и весьма глубокая... Только увидеть его весьма трудно. Мне вот только недавно удалось это. В скиту он живет,

от монастыря в нескольких верстах, а в скит вход воспрещен...

Я тогда же дал себе слово так или иначе увидеть схимника и в ближайшее же воскресенье направился в монастырь, но желанию моему на этот раз не суждено было сбыться.

— Что вы, что вы! — как бы с некоторым даже изумлением говорили мне монахи, — в воскресенье, и захотели увидеть отца Авеля: теперь-то он, на многолюдье, уж наверное не выйдет из скита. Вы бы в будень, да в самый глухой будень, когда ни акафиста, ни молебна нет...

Но сколько я ни ходил и в будни, даже «в самые глухие будни», видеть схимника мне все-таки не удавалось. На дворе уже стоял конец июля, и я с грустью стал подумывать о том, что мне так и не удастся видеть отца Авеля.

И вот однажды под вечер, когда я, далеко ушедши от Божедаровки, бесцельно бродил по бору, вслушиваясь, как постепенно смолкал шум деревьев и в лесу становилось все тише, все таинственнее, — невядалеке от себя я вдруг услышал тихое молитвенное пение. Вздвогнув от неожиданности, я обернулся. Шагах в тридцати от меня, полускрытый деревьями, на сосновом пне сидел древний старик-монах. В руках у него, кроме клюки и четок, была кошелка с грибами. Глаза его сквозь купу деревьев были устремлены туда, где солнце готовилось послать земле свой последний привет. Он пел. О чем? Я не разобрал, но тихие молитвенные звуки его пения были смутно похожи на тихий звон древних монастырских колоколов и как бы

сливались с задумчивой тишиной павшего летнего вечера...

Я долго стоял, не смея нарушить дивной картины. Краски на западе потухали одна за другой; откуда-то снизу потянуло свежестью и сыростью. Замолк старец и, очевидно, почувствовав присутствие постороннего человека, обернулся ко мне. Я увидел глубоко ушедшие внутрь, строго-проницательные глаза. Сначала они остановились на мне, казалось, с суровостью, но, потом — я это заметил — взгляд инок упал на студенческую фуражку, форменную тужурку, и в глазах старика засветилось словно бы что-то радостное.

— Вы здесь недалеко живете? — спросил он меня, и по тону голоса, по выражению, какое было в этот момент на лице у старика, я почувствовал, что это глубоко воспитанный человек. Кто он, я это сразу же понял.

— Да, отче, — поторопился я ответить, подходя под благословение, — в Божедаровке... уроки даю...

— А, так, так, так, — ласково поддержал отец Авель. Мы зашагали рядом по темневшему всюду бору. Ноги наши ступали то по мягкому мху, то по трещающему под ступней валежнику.

— А я вас, отче, давно уже хотел видеть.

— А зачем это? — неожиданно строго спросил старик.

— Поговорить с вами о жизни хотел, — сказал я.

Видно, потому что я сказал это просто и искренно, схимник не рассердился, но, напротив, когда мы были уже близко возле его скита, ласково предложил мне придти в один из ближайших будних

дней к нему в скит: такое разрешение получали очень немногие...

В определенный день я был у схимника и с тех пор успел много раз побывать у него до своего отъезда из Божедаровки. О многом, о весьма многом успел я расспросить седовласого, многоопытного инок. Мир чудных мыслей и настроений раскрылся предо мной из бесед со схимником. И как глубоко, как вместе с тем прост, невыразимо чист и ясен был этот мир души, ушедший от других, замкнувшейся в себя!

Особенно памятной осталась для меня последняя наша беседа, в тот вечер, когда я, собираясь уехать из Божедаровки, пришел к отцу Авелю проститься. Было начало сентября, то время, когда все в природе в ожидании осени замирает и всюду становится так тихо, нежно — грустно и задумчиво. Задумчивостью, тихой, кроткой, веяло и от слов седовласого схимника. В ней он впервые предо мной раскрыл свое прошлое, обернулся на свою минувшую необычную жизнь.

— Значит, уезжаешь в столицу от наших бедных мест? — сказал он, и с любовью, восхищённым взглядом посмотрел вдаль.

Пред нами раскрывалось действительно чарующее зрелище. Холм, на котором стоял скит, как бы сторожили по обе стороны два холма, а из-за них, словно в рамке, виднелась далеко внизу широкая, убегающая во все стороны к горизонту долина, сплошь укрытая густым лесом. Тихо было в долине, не шумел бор, и казалось, что кто-то великий

и таинственный притаился и ждет или думает глубокую думу...

— Дивная тишина, — дрогнувшим голосом проговорил отец Авель, и истово перекрестился, — великая, святая тишина, ибо в ней — Бог! Она открывает людям их душу, а в ней Бога, она спасает людей... Она спасла и меня...

Весь вострепнувшись, я хотел было задать вопрос схимнику, но он уже сам заговорил дальше, заговорил тихо и вдумчиво.

— Да, это было так. Детство мое было окружено шумом: шумными играми, частыми приездами многочисленных гостей к отцу-помещику, бывшему офицеру, продолжительными разговорами с моими воспитателями и воспитательницами. И во всей моей тогдашней жизни был один уголок, в котором я находил тишину и успокоение. Это комната няни, богомольной старушки. Бывало, приду в ее комнатку, смотрю на мерцание зажженной лампадки, стану на колени пред иконой, и на душе делается так тихо и приятно, встают думы, чувства, еще смутные, нежные, о том, о чем никогда не думалось во время игр или в других комнатах: о Боге, о Страшном Суде, о рае и аде.... После, когда я начал подрастать, жизнь моя стала складываться шумно, суетливо. Но уже скоро я стал замечать, что эти шум, суета томят меня, что я живу как-то не тем, чем хочется жить, что-то подавляю в себе... Все чаще и чаще стала вспоминаться комнатка няни, и стало тянуть в тишину, чтобы там, оставаясь наедине с собой, понять себя, понять, чего мне хочется. Иногда мне удавалось укрываться от житей-

ского шума, и тогда, всматриваясь в себя, я замечал странное явление: пока я бывал на людях, мне казалось, что я представляю из себя что-то целостное, но стоило оторваться от людей, как сразу чувствовалось, что внутри меня живет что-то другое, во что надо всмотреться, к чему надо прислушаться... Так уже ощупью я шел к своей душе, к той искре Божества, которую мы все забываем в себе, как бы нарочно стараемся потушить... Тоска не уменьшилась. Я уже не мог жить среди непрерывной суеты и стал вести уединенную жизнь. Все еще не находя себя, своего пути, я решил отдаться научной работе. Искание истины, всматривание в самую сущность вещей отчасти удовлетворили меня, но не могли удовлетворить вполне, так как мне надо было искать вечную, непререкаемую Истину... И вот, случайно, мне пришлось провести некоторое время в обители в общении с иноками, богатыми духовным опытом, посвятившими себя созерцательной жизни. Они и открыли мне глаза на мою тоску, уяснили, что это зов души всмотреться в нее, зов Бога, открывающегося в наших душах... Я начал отдаваться делу созерцания, и то, что открылось тогда моим духовным очам, непередаваемо на человеческом языке, ибо были моменты, когда я, грешный, чувствовал, что Бог невидимо присутствует в моей душе и предстоит моим духовным очам... Не выразить этого словами. Даже и теперь, когда я только упоминаю об этом, я чувствую, что слова мои далеко уклоняются от истины.

Отец Авель умолк и через несколько минут простился со мной... на всю жизнь...

С тех пор прошло немало лет. И вот, в прошлом году, судьба снова забросила меня в Божедаровку.

Обрадовавшись такому случаю, я решил непременно сразу же, по приезде, повидать отца Авеля. Каково же было мое огорчение и изумление, когда мне сказали, что я приехал как раз в день похорон схимника! Оставив все другое, я быстро направился к обители.

Подходил я к ней в тот момент, когда гроб отца Авеля пред опущением в могилу трижды обносили вокруг церкви. Заунывный, невыразимо грустный перезвон наполнял окрестность, и мне вновь, как и прежде, казалось, что это кто-то старый, тихий и грустный раздумчиво перебирает древними колоколами...

(Н. Калестинов. «Русский Паломник», 1909 г., № 31).

ЭТО – ОН!!!

На одной из окраин Москвы стоял небольшой серенький домик. Немощенный переулок, высокие покосившиеся заборы, тянувшиеся далеко по сторонам, и, наконец, самый домик, с покосившимися ставнями и давно уже некрашенной крышей показывали, что горькая, неотступная нужда прозябает в этом закоулке большого города.

Кругом ни звука; но это не то безмолвие, которое приятно действует на душу, например в тенистом лесу, в жаркий полдень, а тяжкая, подавляющая тишина, которую вы найдете в доме, где вся семья безмолвствует под гнетом тяжелого горя.

Так было и здесь.

В этом сереньком домике жил некто Д. Человек он был пожилой, уже пятый десяток насчитывал он в своей жизни, но никогда еще ему не было так тяжело, никогда еще не испытывал он такой нужды, которая выпала теперь на его долю.

Трудолюбивый с молодости, он сумел было добиться того, что труд позволял ему жить, никогда и ни в чем не нуждаясь. Семьи у него не было, и Д. ничего не сберегал, как говорится, на черный день, твердо веря в свои силы.

Но, увы, этот черный день настал! И как в ясный день темное облачко внезапно бросает тень, и, издавая глухие раскаты грома, сыплет крупным дождем, — так и эта нищета нагрянула вдруг и неожиданно.

Давно известно, что человек среди ряда счастливых дней, среди долго улыбающегося ему счастья, забывает о Боге; так было и с Д. И вот Господь, Который до сих пор благословлял его Своими милостями, — теперь отвернулся от него... Д. сильно заболел.

Болезнь захватила его в такую минуту, когда у него ничего не было и он доходил почти до отчаянья. Едва двигаясь, он переехал из центра города в глухую окраину; и здесь, быть может, умер бы с голоду, если бы не один старый друг, который помогал ему кое-чем перебиваться.

Тяжело и горько было ему. Так неожиданно потерять здоровье, которое давало ему все, и от безбедного существования перейти к нищете — было ужасно.

— Если тяжело, — говорил он, — никогда ничего не иметь, то иметь и потерять все сразу — во сто раз тяжелее.

Грустные дни потянулись для него. Не привык он к горю, никогда он не испытывал его, и тем тяжелее было ему теперь.

Живо припомнилась ему вся его жизнь, все ее хорошие стороны, и невыносимая тоска и горе поднимались в его груди. Как хотелось ему вернуть прошедшее, вернуть дни радостей, веселья и беззаботной жизни.

Но нет — болезнь неумолимо приковывала его к креслу, не позволяя почти двигать ни рукой, ни ногой; он едва мог сделать десять шагов.

Страшные страдания искажали его лицо. Серебристая седина все более и более блестела на голове. Так прошел месяц, другой, а страдания не уменьшались.

Горька, тяжела одинокая жизнь, особенно для больного!

Придет, бывало, к нему его старый приятель, принесет деньжонок и провизии кой-какой; сидит с ним, разговаривает, утешает, а у Д. уже слезы на глазах — участие друга трогает его наболевшее сердце.

Как ему хотелось жить снова; жить не той жизнью, которая выпала теперь на его долю, а прежней беззаботной, веселой.

— Неужели этому конца не будет?! — сквозь слезы от боли говорил он.

Но пока конца не было. Страдал он по-прежнему, и по-прежнему крики от боли оглашали его не-

приветливую обитель. И так с утра до ночи и с ночи до утра.

Прошел еще месяц, другой, третий и, наконец, год. Бедный Д. едва влачил свое жалкое существование.

Было теплое, майское утро.

Веселая молодая весна давно уже одевала своей изумрудной зеленью поля и леса. Летние гости, беззаботные птички, с зарей оглашают воздух тысячами переливов своих звонких песен... Яркое солнышко, как бы улыбаясь, сыпало свои золотые лучи на проснувшуюся от зимнего сна землю. Все кругом поет, ликует и веселится...

Д. сидел у окна, тяжелые думы бродили в его голове. Вспоминалось ему, как радостно, бывало, встречал он пробуждение природы, а теперь... и слезы навертывались у него на глазах. Далеко, далеко унесли его мечты и воспоминания, и ему больше, чем когда-либо, захотелось жить; захотелось ожить вместе с природой и вместе с нею радостной улыбкой встречать ясное солнышко.

И Д. плакал... Это были горячие слезы безнадежно погибающего человека.

— Господи, помилуй меня! Не лиши и меня, грешного, Своей милости! — весь в слезах воскликнул он...

Во всю свою жизнь он так мало думал и вспоминал о Боге, что когда это горячее восклицание вырвалось из глубины его наболевшей груди, он пришел в ужас от своей прежней жизни и ему стало невыразимо страшно за себя; ему захотелось молиться и молиться без конца. Он взглянул в окно: вдали

перед ним виднелся блестящий на лучах солнца золотой купол церкви. Д. страшно обрадовался; со слезами, но уже не отчаяния, а искреннего раскаяния, он стал креститься и шепотом твердить молитвы. Ему вдруг стало легко и приятно на душе после этой молитвы, и даже легкая улыбка озарила его лицо, на котором давно уже не было ее видно...

Прошло минут пять.

Д. все еще сидел у окна, изредка осеняя себя крестным знамением. Вдруг он заметил, что с другой стороны переулк к нему приближается молодой странник.

Д. сейчас же опустил руку в карман, достал последнюю оставшуюся у него медную монету и протянул ее прохожему.

— Не нужно! — сказал тот, отстраняя руку. Д. посмотрел на него с удивлением; ему очень понравилось его лицо, и он не мог оторвать глаз.

— Но что же Вам нужно?.. — спросил Д.

— Ну, сказать тебе: веруй в Бога, молись Ему, и Он спасет тебя!..

— Верую! — в слезах воскликнул Д., — но недостойн Его милости за грехи мои.

Странник помолчал с минуту и сказал:

— Ты сильно страдаешь. Бог сжалился над тобою. Иди к угоднику Божьему Пантелеймону и молись... молись ему усердно!!!

Д. слушал и как будто не понимал, что вокруг него делается. Когда он пришел в себя — у окна уже никого не было.

Весь этот день он провел в сильном волнении. На другое утро к нему пришел его друг.

— Что с тобой? Тебя узнать нельзя! — спросил он. Д. рассказал ему все и попросил проводить.

Через час они вышли из дому; опираясь на руку друга, Д. едва передвигал ноги. Он никогда не был ни в каких часовнях, и ему пришлось расспрашивать прохожих о дороге. Но все сочувственно относились к нему, видя, что это больной идет молиться, и охотно указывали ему путь. Долго они шли, и один Бог видел, сколько страданий вытерпел Д.; каждый шаг поднимал страшную боль во всем теле, но он все-таки шел, крестясь на попадающиеся по дороге храмы.

Наконец они подошли к часовне. Перед входом в нее Д. перекрестился и в сильном волнении вошел... Слезы были в его глазах... Но едва он подошел к иконе, как вдруг страшно побледнел и прошептал: «*Это — он!..*» Потом вдруг залился горячими слезами и, опустясь на колени, стал горячо, горячо молиться...

На изображении иконы он увидел лицо того странника, который вчера стоял у его окна.

Долго молился он, долго горячие слезы текли по его лицу; он впервые испытывал то блаженное настроение, которое возбуждает в душе нашей молитва. Ему не хотелось уходить отсюда, не хотелось подняться с колен.

Наконец он встал и, взяв друга под руку, вышел. Светло, благодатно было у него на душе, оживила его твердая вера в милосердие Божие и Его св. угодника!!!

Прошла неделя. Все по-прежнему тихо в доме, где живет Д., но только сам хозяин сильно переме-

нился: в одну неделю он поправился так, что без посторонней помощи выходил из дому и ходил, наслаждаясь весенней природой и сердечно благодаря Всевышнего, Который помиловал и исцелил его.

Через месяц он был совершенно здоров и принялся за обычный свой труд.

Все стало по-прежнему, как и до болезни, только душа его возвысилась и очистилась от прежних грехов. Вместе с тем Господь исцелил и сердце больного, его больную совесть.

Да, Милосердый Господь не отвращает лица Своего от неверующих и грешных, а помогает им стать на путь истины. Ему, Всевышнему, дорога душа, пробудившаяся от заблуждения, как вернувшийся блудный сын дорог отцу, который считал его погибшим.

(«Кормчий», 1903 г., № 19).

КРАСНЫЕ ЯБЛОКИ

Много лет тому назад жил в Москве богатый купец Иван Иванович Михайлов. Уже его прадед и дед были славными богачами, а он еще более увеличил оставшееся после них богатство своим умом, находчивостью, ловкостью и предприимчивостью, так что его считали наряду с богатейшими купцами в мире. Но он был не только богатым, но и в высшей степени богобоязненным и милосердным человеком. Каждого бедняка он приютит у себя и никогда не откажет никому в помощи и добром и ласковом слове. А жил в то время в Москве один несчастный калека, который не мог ничего

себе заработать; благодаря же доброму сердцу Ивана Ивановича имел все: пищу, одежду и теплый угол в доме своего благодетеля. Но как всему на свете бывает конец, так пришел конец и Ивану Ивановичу. Он умер, а все его состояние перешло в руки его зятя, человека черствого и очень скупого, обходившегося с бедняками далеко не так, как его покойный тесть. Вот и вышло, что бедный калека лишился всего, что имел в доме Ивана Ивановича, потому что новый хозяин не велел пускать его в дом,

С горячими слезами пошел калека на могилу своего благодетеля и, наплакавшись вдоволь, склонился над ней и заснул. Уснувши, увидел он во сне покойника, который сказал ему: «О чем ты плачешь, Степан Ильич?» — «Как же мне не плакать, — ответил тот, — когда двери вашего дома для меня уже закрыты и мне уже некуда склонить голову и негде дожить остаток дней своих?..» Вздохнул покойник и сказал: «Если двери моего дома уже закрыты для тебя, так пойди в четвертый магазин направо от моего магазина; там живет купец Николай Саввич Рыжкин. Иди к нему и скажи ему: ради меня и тех красных яблок, о которых ты знаешь, дай мне три тысячи рублей — и он тебе даст, и тебе хватит этих денег дожить свой век, молись только о моей душе». Проснулся Степан Ильич, и казалось ему, что он видел живым своего благодетеля. Помня хорошо о том, что он слышал во сне, отправился наш калека с могилы Ивана Ивановича прямо в лавку купца Николая Рыжкина. Пришедши, он увидел там большое богатство, множество куп-

цов и приказчиков было занято — одни меряли аршинами очень дорогие материи, другие считали и получали деньги, а третьи записывали деньги в книги. Сам же Николай Саввич сидел на возвышенном месте, следил за всем, что делается в лавке и любовался тем, как растет его богатство. Со страхом подошел калека к купцу, но купец не выказал никакой гордости, а встал и подал нищему грош. Ободренный ласковым обращением купца, калека рассказал ему подробно весь сон свой. Выслушавши его, Николай Саввич Рыжкин встал, перекрестился и сказал: «Не три, а десять тысяч я дал бы тебе, если бы того пожелал покойник!» И велел сейчас же отсчитать ему три тысячи. Калека, никогда не выдавший такой суммы денег и пораженный всем случившимся, упал купцу в ноги и сказал: «Не возьму я этих денег до тех пор, пока Вы, Николай Саввич, не расскажете мне, что это за красные яблоки, ради которых вы даете такую сумму денег».

— Если ты хочешь об этом знать, — сказал купец, — то пойдем в мою квартиру, там я расскажу тебе.

Пришли они в очень богато убранную квартиру, где все блестело золотом, серебром, драгоценными камнями и шелком. Поклонившись святым иконам, взял калеку купец за руку, вывел на балкон и посадил в кресло между дорогами растениями и прекрасными цветами, издававшими чудный аромат, и начал рассказывать:

— Дело было так. Иван Иванович был богатым купцом, а я был большим бедняком и торговал яблоками. Куплю, бывало, корзину яблок оптом

и продаю в розницу на копейки; если заработаю десять-пятнадцать копеек, то есть чем жить, а если ничего не заработаю, то приходилось очень-таки бедствовать. Заходил я с яблоками и в лавку Ивана Ивановича, и он постоянно покупал у меня и давал мне торговать, а потому я старался заходить к нему как можно чаще. Потом он женился. На свадьбу пригласил множество важных и богатых гостей. Пока гости веселились, танцевали, ели, пили, полил сильный дождь, который продолжался целый день, и я из-за дождя не продал ни одного яблока. Уже наступил вечер, и мне не на что было купить хлеба. В отчаянии, по колена в грязи, ходил я от дома к дому и кричал: «Прекрасные, сладкие яблоки, красные яблоки, покупайте, добрые люди!» Случайно выглянул в окно Иван Иванович и, увидев меня озябшего и промокшего до костей, сжался надо мной и послал слугу послать меня в дом. Я не смел войти в богато убранные комнаты, но он вышел ко мне и сказал: «Бедный Николай, почему же ты в такой дождь не сидишь дома?» — «Потому, что я голоден, — ответил я, — сегодня я еще не заработал ни одной копейки». — «Подожди», — сказал мне он и, взяв у меня мою мокрую корзину, понес ее гостям. Все стали спрашивать, что это такое значит. А он сказал: «Любезные мои гости, братья дорогие, мы здесь пируем, а этот бедняк, что торгует яблоками, не ел сегодня даже хлеба и просит купить его товар, поэтому я пожалел его и купил». — «А что заплатили?» — спросил один богатый купец. — «Сто рублей», — ответил Иван Иванович. — «Это дешево, — сказал тот богач, — я

даю 300 рублей». А другой сказал: «Я даю 500 рублей, нужно же помочь бедному во имя Господа нашего Иисуса Христа!» И стали все спорить. Тогда Иван Иванович сказал: «Господа, спорить не нужно, потому что я уже купил яблоки и продаю каждое яблоко по 50 рублей!» — «Хорошо», — крикнули все и стали сыпать на стол золото.

Было 60 яблок и покойный вынес мне 3000 рублей! Для таких богачей ничего не стоит дать 3000 рублей, и они продолжали себе веселиться, но веселиться больше от сознания, что сделали угодное Богу дело; я же со слезами радости взял деньги и отправился в церковь благодарить Бога за такое неожиданное счастье. Молясь Богу, я просил Его не допустить меня впасть в гордость, но помочь увеличить этот капитал честным путем, на славу и счастье себе и ближним! Потом я пошел домой, купил себе хорошую одежду, купил молитвенник и другие книжки и стал учиться писать и читать, а как выучился, то пошел в науку к купцу. Я дал на хранение ему свои деньги и слушался его во всем. Пока был жив Иван Иванович, я постоянно бывал у него в доме, а с тех пор, как он умер, я непрестанно молюсь о нем, и память его стала для меня священной. Десять лет спустя, после случая с красными яблоками, я женился на единственной дочери моего господина, а после его смерти все его состояние стало моим. И за все это счастье я обязан лишь Господу Богу и доброму сердцу Ивана Ивановича. Так вот почему я с радостью даю тебе три тысячи и от души желаю, чтобы с моей легкой руки они у тебя умножились так, как у меня с легкой ру-

ки Ивана Ивановича. Теперь ты будешь знать, какое значение имеют в моей жизни красные яблоки и почему они никогда не выйдут из моей памяти...

Кто опишет радость бедного калеки, которому сон принес такое огромное счастье?

(«Кормчий», 1903 г., № 25).

СТРАННИК

Было раннее утро, когда я проснулся и вышел из комнаты. Яркое июньское солнце уже заливало землю. В воздухе было тихо и пахло той приятной прохладой, которая свойственна ясному летнему утру после благовонной, теплой ночи. Я стоял среди двора и думал: «Хороший будет денек; следует сегодня сходить в Курасовку». Напившись чаю, я немедленно двинулся в путь. Мне предстояло пройти сначала несколько слободских огородов, а затем верст девять поля. Расстояние было порядочное для пешехода и не лишено трудностей, особенно в летнюю жару, но для меня оно представлялось всегда очень кратким, и это, быть может, потому, что я ходил в то село к родному и близкому человеку.

Пройдя огороды, часть луга и миновав кузницы, я очутился за чертой слободы. Теперь предо мною открывалось широкое ржаное поле, в конце которого, далеко на горизонте, прямо предо мною, тянулись синеватой полоской графские леса, справа виднелись красноватые горы Гремячки, а слева чуть заметно белели дома и соборы нашего города.

В поле ни души. Тем не менее в воздухе раздавались тысячи разнообразнейших звуков: то пели

птички, трещали кузнечики, жужжали пчелы... Природа кипела жизнью. Медленно двигаясь вперед по поросшей травой пустынной дороге, я с удовольствием вдыхал в себя живительный воздух поля. Пройдя около четверти пути, я выбрал себе на дороге для отдыха одно живописное местечко и, растянувшись на траве, стал наблюдать за полетом большого коршуна, который высоко парил надо мною, делая спиральные круги кверху. Вдруг слышу около себя:

— Эк, благодать какая! Рай земной, да и только. Здравствуйте, молодой человек!

— Здравствуйте, — отвечал я машинально и взглянул на говорившего.

Предо мною стоял странник лет пятидесяти и, опираясь на длинную палку, бесконечно добрыми очами смотрел на меня. Он стоял с открытой головой. Его чистое и выразительное лицо окаймлялось русой бородкой, на голове была небольшая плешь, а сзади на плечи падали редкие пряди седоватых волос. Одет он был в сильно поношенный и в некоторых местах заплатанный черный подрясник и подпоясан простым широким ремнем; за плечами у него была подвязана холщовая сумка, сбоку болтался белый жестяной чайник, на ногах имелись ветхие сапоги, в руках длинная палка.

— Я говорю, — продолжал между тем странник, улыбаясь, — в какую дивную красоту облачил всемогущий Господь природу. И как я люблю ее в ее прелестной дикости, не искаженной цивилизацией!

Меня поразили эти слова странника, обличавшие в нем человека не простого, что я не мог не заметить ему.

— Да, молодой человек, — отвечал он мне на это, — когда-то я многому учился, был богат и знатен, да все уж миновало...

Я решил расспросить его подробней. Между тем он продолжал уже о другом, смотря то на ясное, лазурное небо, то на чуть волновавшееся море ржи, то на поросшую зеленью дорогу.

— Вы не видели Бога, молодой человек?

— Нет, — отвечал я ему с удивлением.

— И я не видел... А присутствие Его в себе и около себя вы ясно ощущаете? Верите ли, например, что Он находится сейчас не только между нами, но и проникает все наше существо, и слышит не только наш разговор, но и наперед знает все то, что мы скажем в будущем?

— Конечно: ведь Он вездесущий...

— Очень хорошо; Вы счастливы, что верите во все эти истины без сомнения; а некоторые в настоящее время и слышать не хотят о том. Многие теперь не признают существования Бога. А ведь и доказательства-то Его присутствия у них, так сказать, перед глазами во всякое время и на каждом шагу: они в природе. Возьмем, например, это бездонное синее небо. Что мы видим в нем? Ничего, кроме солнца, или, точнее, видим один прозрачный и редкий воздух. Спрашивается: каким же образом в нем держится светило или эта земля, или те звезды, которыми мы любуемся ночью, им же несть числа? Как все эти планеты не рассыпаются в раз-

ные стороны и не исчезают из наших глаз? Это объясняют астрономы? Но, собственно, они объясняют только Божии чудеса, которых, быть может, не признают. В самом деле, как могла развиться сама по себе в неподвижных планетах центробежная сила, которая умеряет центростремительную и создает с последней ту силу, благодаря которой эти планеты не приближаются и не удаляются одна от другой? Нельзя же допустить того, чтобы неподвижные небесные тела привели себя сами в движение: это было бы грубым заблуждением... Или вот солнышко. Кто его зажег с благою целью развивать и поддерживать жизнь всего живущего? Слепой, бессмысленный случай в виде внезапного столкновения двух планет, как утверждают некоторые это? Но, что случайно, то не может приносить так долго и такой великой пользы всему живущему. Очевидно, что его зажег никто иной, как премудрый Творец мира, в Которого мы веруем и Которого мы называем своим Отцом... Посмотрите теперь на эту цветущую землю. Какая красота нам открывается! Какое благоухание мы обоняем! Какие звуки мы слышим! Стройные стебли наливающихся злаков удивляют нас своим мудрым устройством; мягкая, душистая травка украшает собою землю и питает животных; прелестные цветки разной формы, цвета и запаха очаровывают наши взоры и напоминают нам о стремлении к добру и общении с Богом, Который есть источник и полное воплощение всякого добра и красоты. Пение птичек, до нас долетающее с воздушной высоты, шорох, шелест миллионов насекомых, ползающих

у наших ног и твердо знающих свои случайности... И подобных доказательств можно привести многое множество... Однако мне пора и дальше... Прощайте, молодой человек. И с этими словами он стал подниматься.

— Пойдите, — сказал я, — мне с вами... Мы пошли рядом. Я заинтересовался загадочной личностью странника и приступил к нему в расспросах.

— Скажите мне, пожалуйста, — говорю ему, — о вашем прошлом. Ведь вы говорили мне, что когда-то много учились, были богаты, знатны, а теперь в рубище странствуете по св. местам. Ваш рассказ доставил мне немалую пользу...

Выслушав это, странник кротко улыбнулся и посмотрел на меня так, что я невольно смутился.

— Вы желаете, — сказал он, — чтобы я воскресил пред вами то, что давно уже умерло. Как мне ни тяжело вновь вспоминать то, что я, казалось, навсегда уже схоронил в своей душе, — я готов, если вы так просите, рассказать вам о своей жизни.

И странник начал свой рассказ.

— Родился я в богатой и знатной семье. В молодости сначала учился в гимназии, потом в университете. По окончании образования получил хорошую службу, обзавелся семьей и жил себе, как говорят, припеваючи. При этом надо заметить, что с самого раннего детства я был человеком весьма религиозным и уже будучи в гимназии, подумывал о монастыре. Тем не менее с течением времени я не только перестал уже думать о монастыре, но даже и о Боге, и всецело предавался удовольствиям светской жизни. Тогда-то Господь и начал пробуж-

дать меня от духовного усыпления великими несчастиями. В один год лишился я всей своей семьи, умершей от разных болезней, и остался во всем белом свете один, без дорогих мне существ. Горе мое было ужасно. Я заболел, а когда выздоровел, то глубоко понял слова святого мудреца, сказавшего: «Все суета сует», — и не мог уже после этого жить среди вечно беспечного мира. Продавши два великолепных своих дома и не оставив себе ни копейки денег, которые все были розданы на добрые дела, я тайком в одну ненастную осеннюю ночь вышел из своего родного жилища и направился к монастырю. С тех пор и странствую по св. местам до настоящего времени, находя в этом для себя отраду и утешение.

— Вот вам, дружок, и все мое прошлое, — закончил странник свой рассказ. — Странствую я пятнадцатый год и за это время успел исходить столько монастырей, что и не перечесть. Я исходил несколько раз вдоль и поперек все наше обширное отечество, начиная от Соловков и кончая Почаевым, два раза побывал в Св. Земле и на Афоне, а теперь вот в пятый раз иду в Киев...

— Значит, вы привыкли к странничеству?

— Можно сказать, что да. Сначала было трудно, а теперь так привык, что если случится где-либо заболеть и пролежать дня два-три, то я больше страдаю от того, что не могу двигаться, нежели от самой болезни.

— Но ведь странничество сопряжено со множеством неудобств и лишений: с холодом и жарой, го-

лодом и недостатком в одежде, беспомощностию и неприютностью?..

— Вы забыли о терпении, — кротко возразил мне странник. — В Евангелии сказано: «Терпением вашим спасайте души ваши», и еще: «Царствие Божие силою берется»...

Разговаривая таким образом, мы прошли верст пять, причем я далеко оставил ту дорогу, по которой мне надо было свернуть в сторону. Наконец мы распрощались. Я остановился, а он пошел дальше. С каждым шагом его фигура удалялась от меня все больше и больше. Я не спускал с него глаз, пока он, наконец, не скрылся в изгибах дороги, за стеною высокой ржи. Мне было грустно, как будто я навсегда распрощился с дорогим мне, родным человеком.

А солнце по-прежнему радостно сияло и заливало собою поле. Птички пели в голубой выси, кузнечики трещали в траве, пчелки суетились в цветах...

Я медленно двинулся дальше, к цели своего пути. И все время, пока я приближался к Курасовке, все мое существо наполняла мысль о страннике, с которым я только что простился. Необычайность его судьбы сильно поразила меня и мой благоговейный взор невольно тянулся к небу, которое так дивно управляет человеческою жизнью.

(А. Бибилова. «Русский Паломник», 1908 г., № 37).

«ПО СЛОВУ ТВОЕМУ» (Лк. 5, 5.)

I

Величественные своды Казанского собора... Тихое, умиротворяющее сияние лампад и свечей наполняет храм.

Будни. Службы нет. Только небольшая кучка богомольцев толпится около «Казанской».

Дивный лик... Чувствуется, что благие очи Богоматери с любовью и жалостью смотрят на пришедших к подножию Ее иконы...

А как нужен этот ободряющий взгляд Владычицы мира вот тому, кто около колонн против иконы в трепете и с мольбою смотрит на лик Царицы Небесной...

Вглядитесь в эту фигуру.

С тоской, с молитвой во взоре своем рыдает и молится молодой человек... Это юноша в студенческой форме.

«Царица Небесная, Заступница, — молится юноша, — Ты видишь муку мою... Я изнемогаю, помоги...»

Голова его склоняется к холодному мрамору пола, и беззвучные рыдания сдавливают молодую грудь.

«Владычица, помоги же, — шепчет он, — мне трудно, но пусть будет воля Сына Твоего и Твоя... Я решился... Иду в мир по слову Твоему, Господи... Подкрепи же...»

Юноша поднялся. На лице еще светились капли слез, но все оно дышало решимостью, бодростью...

Виктор Платонович Тарский (так звали юношу) подошел к иконе Божией Матери, поставил свечу, еще раз склонил колена, приложился к святыне и твердо, как человек, нашедший ясную цель жизни, вышел из храма...

II

— Господа! — сказал Тарский, входя в гостиную своего дядюшки, у которого он жил. — Господа, я решил: иду в священники...

Ему не дали договорить.

— Виктор Платонович, да что с вами? Вы — священник... Вы хотите похоронить все свои таланты под рясой... Да и кто теперь идет в священники... Полноте, не срамитесь...

Подобные речи раздались со всех сторон общества, наполнявшего гостиную.

— Слушай, Виктор, — сказал дядя, — не дело ты затеял. Я не презираю деятельности священника, но только не с такими способностями идти в священники... Пусть туда идут...

Виктор Платонович вспыхнул. Он как-то нервно передернул плечами и слегка дрожащим голосом заговорил:

— Нет, господа, вы не правы. Именно сильные, талантливые и должны идти в священники. Самая кипучая, боевая, если хотите, деятельность священника. А что иные теперь над священником издеваются, то пусть... Что же, и Христа гнали; гонят и Его служителей, но веры не потушат. Счастье, так всеми желаемое, может быть только религия, вера. А кто же ближе всего может дать это религи-

озное, а потому вечное, несокрушимое счастье?.. Только священник... Как хотите, но я не изменю своему решению...

Он резко оборвал свою речь.

Гости полунасмешливо, полусомнительно смотрели на молодого человека.

— Нет, Виктор Платонович, не все осуждают вас, — произнесла молодая девушка, одиноко сидевшая около камина, — я понимаю вас: зажечь других верою — это самое высшее счастье, которое доступно человеку... Я вам сочувствую и от всей души желаю вам до конца исполнить свою мечту...

Тарский быстро подошел к девушке, крепко пожал ей руку и, сказав: «Прощайте», — вышел из комнаты...

III

Было хмурое октябрьское утро. В ограде Ново-девьчего монастыря над свежей могилой стоял священник. Грустно-грустно глядел он на крест, на котором черными буквами было написано: «Нина Александровна Тарская. Род. в 19... г., сконч. в 19... г. «Блажени чистии сердцем, яко тии Бога узрят».

— Да, — думал священник, — вместе хотели работать. Бог не судил. Да будет воля Твоя...

— Батюшка, может быть, Вы не оттолкнете меня!..

О. Виктор вздрогнул. Он не думал здесь встретить кого-либо.

Пред ним стояла девушка, хорошо, даже кричаще, одетая. Все лицо в слезах, сквозь которые про-

ступали ясные следы не совсем скромной жизни. Это была одна из «бывших женщин». Она рыдала, так было жалко смотреть на нее, что о. Виктор не сразу нашелся, что сказать. Наконец ему удалось ее немного успокоить. Она села и рассказала историю своей жизни.

Все тут было обычно. Пьяный отец, несчастная полуидiotка мать. Грязь, смрад подвала. Вечные пинки и, наконец, «улица»... До окончательного падения она еще не дошла, Господь привел ее сюда.... Сегодня к ней приставал какой-то господин; она ужаснулась и бессознательно забрела на это кладбище...

— Не смущайтесь, — утешал ее о. Виктор. — Вы много страдали... Бог простит, а теперь идите на новую жизнь...

И он благословил девушку... В ее душе начиналась новая жизнь...

IV

Больничная палата. Снуют по коридорам служители, проходят доктора, суетятся сестры милосердия, у всех встревоженные лица. Еще бы: в городе холера. Вот уже четыре дня как больные все прибавляются...

Сколько горя, слез, мучений...

Скоро полночь. В палате осталась только дежурная сестра.

Тихо. Изредка послышится крик и стон больного, и снова тишина. ... В углу перед маленьким образом Спасителя теплится лампадка. У столика сидит сестра... Она едва перемогается... Еще бы! Уже

третьи сутки она почти не смыкает глаз, все около больных. И когда ее уговаривали отдохнуть, она неизменно повторяла: «Потом, вот больные поправятся...» А больных с каждым днем становится все более и более. И теперь она совсем выбилась из сил. Она откинула голову назад и дремлет...

На столике лежит Евангелие; оно раскрыто, и при свете лампадки, осветившей один край страницы, можно прочесть: «По слову твоему...» Дальше не разобрать: полоска тени закрыла печать.

Тихо-тихо в палате... Чутко, готовая при малейшем шорохе проснуться, дремлет сестра.

Это та девушка, что встретила на кладбище с о. Виктором.

Человеческое, ласковое отношение сделало то, что из «бывшей женщины» стала сестра, беззаветно отдающая себя на служение людям.

Колеблется свет лампадки и озаряет уставшее лицо самоотверженной труженицы...

(В. Тарасов. «Русский Паломник», 1908 г., № 39).

ДОБРОЕ ДЕЛО

Была глубокая осень. Ветер тоскливо носился по опустевшим полям, выл, врываясь в улицы одинокого, брошенного в необъятном степном просторе села Пылаева. Дождь непрерывно сеялся сверху, и целый день в воздухе стоял какой-то серый полумрак. Перед вечером через село потянулась печальная похоронная процессия: это хоронили бедную полунищую вдову, оставлявшую после себя трех несчастных сирот.

За гробом шло немного поселян. Все старые и бедные, из богатых был только Терентий Значков, когда-то близко водивший хлеб-соль с мужем покойницы Анфисы. Ведя за руки плачущих сирот, шли все печальные, скорбно-задумчивые: всем жаль было горемычную Анфису, которая ни разу на их памяти не видела счастья, радости в своей жизни. Сначала били, угнетали, хоть и невольно, отец с матерью, потом, когда вышла замуж, во всем была нехватка в хозяйстве, а там скоро муж умер, нужда еще ближе подо двинулась, за нею тяжелая болезнь.

Когда заколотили крышку гроба, опустили его в могилу и стали засыпать землей, — одновременно все всхлипнули; тихий плач наполнил пространство; и этот тихий плач, охвативший серых, сермяжных людей, так подходил и к убогой обстановке похорон, и к печальному виду полузаброшенного кладбища, и к печальным, осиротелым нивам, над которыми залегла тяжелая сырая мгла, что казалось, будто это сама жизнь плачет над одной из своих бедных дочерей, плачет и не хочет утешиться, ибо таков удел всех ее детей...

Хотели уже расходиться... Но в этот миг престарелый отец Андрей, поглядев на своих прихожан строгими глазами, сказал:

— А сирот-то как же?.. Тут у могилы и обсудим: душевное выйдем; после же, гляди, и не удастся....

— Дело такое, тут как тут, — раздались голоса, но нерешительные; говорилось как-то нехотя.

— Я бы их всех к себе, — снова сказал отец Андрей, заметив общую нерешимость, — так и подумы-

вал сначала, да ведь, сами знаете, один-одинешенек я: и за мной-то некому поглядеть, кто же за нами присмотрит?.. А ведь Петюшку пора в школу, да и Машутку; малец Федя — за ним глаз да глаз нужен... Так, может, православные, из вас кто возьмет их к себе, а другие, кто чем в силах, поможет. Я сам хоть половину за них готов вносить...

Наступило долгое, томительное молчание. Никто не решался сказать слова согласия, и тем томительнее было смотреть на бедных сирот, которых уже у свежей могилы матери подстерегала людская холодность.

— Православные! — вновь заговорил отец Андрей, — я готов все вносить, что издержите на сирот, а вы их хоть по одному разберите.... хоть и не хорошо сиротам по разным углам расти...

Толпа смягчилась. Послышались глухие, сдержанные голоса:

— Дело известное: сиротская доля — на что же хуже! Только и сами не в тепле живем...

— Никому иначе, как дяде Терентию, — слышалось в другом месте, — как они, значит, водили хлеб-соль с покойным Прокофием... К тому же Терентий Васильевич собственных не имеет...

Отец Андрей поднял глаза на Значкова. Тот стоял густо покрасневший, понутив голову.

— Знай, Терентий Васильевич, — наставительно сказал батюшка, — доброе дело никогда не забывается у Бога, и Он достойно по щедротам Своим вознаградит тебя за твое милосердие... Хоть не мало у тебя и так расходов, только верь, что на лишний роток тебе Бог пошлет и лишний кусок...

Терентий еще несколько мгновений подумал.

— Ладно, — сказал он, встряхивая и поднимая голову, — благословите, батюшка, на доброе дело, а вы, детки, ступайте за мой...

Прошло двадцать пять лет с лишним. В один из ясных летних дней в Пылаеве было заметно особенное оживление. Поселяне в праздничных одеждах — хотя этот день не приходился в праздник, — высыпали все от мала до велика за околицу и напряженными глазами всматривались в вившуюся по косогору дорогу. По этой дороге должен был проехать новоназначенный на местную епархию преосвященный Павел, тот самый Петюшка, которого двадцать пять лет назад приютил у себя по желанию мира и настоянию отца Андрея Терентий Значков. В числе встречавших был и Терентий, теперь уже седой, маститый старик. Он стоял несколько в стороне от других, вместе с каким-то молодым господином и барышней. Этот господин был местный доктор, родной брат преосвященного Павла, прежний Федя; барышня, местная учительница, была их сестра, прежняя Машутка...

Складывалось все это тихо, постепенно, само собой. Терентий, взявший сирот к себе, привязался к ним так, как только может привязаться к детям человек, сам лишенный их. Жена Терентия окружила их материнскими заботами и лаской, стараясь как можно более смягчить их сиротскую долю. Когда Петюшка окончил сельскую школу, Терентий хотел его пустить по торговой части и со временем сделать помощником в своих делах, но отцу Андрею — правда, после многих и продол-

жительных разговоров — удалось настоять, чтобы мальчик был отдан в духовное училище, а через два года и Машутка была помещена в епархиальное училище.

Выдающиеся успехи Петюшки скоро заставили о себе говорить. До этого не дожил отец Андрей: добрый старик умер год спустя после поступления мальчика в училище, но зато Терентий и его жена были полны гордого и радостного сознания, что их воспитанник выйдет когда-нибудь в люди. Под влиянием успехов старшего братишки Терентий решил отдать и подростшего Федю в город, только уже не в духовное училище, а в гимназию, куда больше стремился мальчик.

Годы шли, а с ними многое менялось и в жизни пылаевских обывателей. Умерли многие старики, провожавшие в могилу Анфису, умерла жена Терентия, и только он один остался, как бы затем, чтобы до конца увидеть добрые плоды своего доброго дела. И они созрели, эти плоды. После семинарии Петюшка был отправлен на казенный счет в духовную академию, в которой принял монашество; теперь он вот уже был епископом и ехал в родную епархию руководить ею. Машутка по окончании училища изъявила желание быть учительницей в родном селе и так и осталась в нем. Федя окончил университет по медицинскому факультету и также решил посвятить свои силы родному краю; он был назначен земским врачом в Пылаево и окрестные села. Было что-то глубоко трогательное в том, что трое сирот, вскормленных деревней и ею вознесенных наверх, сами сошли вниз

к ней, чтобы послужить народу, ему отдать свои силы... Это, хотя и смутно, неясно ощущали, чувствовали все собравшиеся, и в особенности сам Терентий. Осанистый, весь в сединах, он то радостно и гордо смотрел кругом, то напряженно всматривался вдаль, где терялась в изгибах лента дороги...

«Едет!..» Тихо стало в толпе, которая вся впиалась глазами в дорожную карету, которая становится все ближе и ближе. Приосанился, побледнел Терентий Васильевич. Как только карета остановилась у околицы, он, сняв картуз, степенно и почтительно подошел под благословение владыки. Тот благословил, а затем вдруг наклонился и сам поцеловал руку растерявшемуся от неожиданности старику.

Когда затем пылаевцы стали подходить под благословение владыки, они заметили на его глазах слезы: то были слезы радости и благодарности.

(Н. Калестинов. «Русский Паломник», 1908 г., № 46).

НИКОЛАЙ МАТФЕЕВИЧ РЫНИН

21 марта 1837 года улицы города Вологды, ведущие от Власиевской церкви к Богородскому кладбищу, запружены были народом. Казалось, что сюда собрался весь город, несмотря на то, что в тот день стояла ненастная погода — оттепель и шел дождь. Хоронили Николая Матфеевича Рынина, юродивого, в прозорливость которого верили многие, испытывавшие правду слов его в событиях своей жизни. Глубоко уважая покойного, всяк старался протиснуться к его гробу, чтобы проститься с ним, отдать ему последний долг. В толпе слышал-

ся крик бесноватых, с пеной валявшихся по земле, раздавались рыдания и вопли. Народ останавливал гроб. Шествие совершалось весьма медленно, и когда все вступили в ограду кладбища, с соборной колокольни понеслись звуки колокола к вечерне, и вспомнились тогда слова брата Николая Матфеевича — Ивана, не пожелавшего исполнить завет покойного — похоронить его в Прилуцком монастыре, потому что погребение здесь сопряжено было для брата с большими заботами; брат с сердцем говорил: «Ну его, дурака, пожалуй к вечерне туда в монастырь не довезти...» Тело Николая Матфеевича принесено было Богородское кладбище с благовестом к вечерне.

Николай Матфеевич был Божий человек, происходил он из купеческого звания, родился 9 мая 1777 года и крещен во Власиевской г. Вологды церкви, в приходе которой находился двухэтажный полукаменный с солодовенным заводом дом отца его Матфея Ивановича Рынина (дом этот сохранился доныне и принадлежит наследникам купца К. Девяткова). В детстве Николай Матфеевич научился читать и писать. После него остались две тетради, писанные его рукою: в них над многими словами поставлены титулы. Неизвестно, что дало душе Николая Матфеевича благодатный толчок, но достоверно, что еще в молодых годах он возжелал жить для Бога и Ему одному послужить. Богатство, прелести мира, все улады, которыми Николай Матфеевич мог пользоваться благодаря имеющимся средствам, он отверг. «Иди, продай имение твое и отдай нищим», — эти слова Спасителя, сму-

тившие юношу, ушедшего с печалью от Христа, запали в сердце Рынина. Он увидел, что ему невозможно двум господам работать, что богатство для него — трудное иго: если он останется прежним человеком, пред ним откроется опасный путь, полный соблазнов и искушений. Он раздал имение нищим и сам сделался нищим. Теперь Николай Матфеевич не стал иметь своего крова, не имел где главу приклонить. Мир считал его за безумца; действительно, с мирской точки зрения его поступок был странным, ненормальным, безумным. Николая Матфеевича занимало то, что «едино на потребу». Он отдался молитве. Утром можно было его видеть постоянно за богослужением в храмах города; ночью, когда все спали, он отдавался беседе с Богом в тиши, в уединении, где его никто не видел. Покойный Андрей Ив-ч Белков до некоторого времени считал Рынина сумасбродом и даже смеялся над ним. Как-то им пришлось быть вместе на празднике в Прилуках у общих знакомых — Бабушкиных. Хозяева оставили гостей ночевать, разместив их в смежных комнатах. У Беликова ночью разболелись зубы, да так сильно, что он ни на минуту не мог заснуть. В течение ночи, как ни посмотрит Беликов на постель Рынина, все она пуста. Куда пропал он, думает больной. Уж пред утром Беликов заметил Николая Матфеевича стоящим пред иконами в углу своей комнаты и горячо молящимся. Значит, он молился всю ночь, заключил тогда Беликов, изменил свое прежнее мнение о Рынине, и замечательно, что даже зубная боль у него с того момента прекратилась. Когда Николай Матфее-

вич заходил в родительский дом, многие видали, что он бывало в летнее время сядет в открытое окно и, обратившись лицом к Власиевскому храму, поет, забывая все окружающее, церковные песнопения. Любимым его местом для молитвы и уединения являлся Прилуцкий монастырь, отстоящий от Вологды в 5 верстах, куда он часто ходил и подолгу пребывал: у раки преподобных Дмитрия и Игнатия, на паперти храма, в тени деревьев. Замечательно, что любовь к обители св. Дмитрия передалась от дяди к племяннице, которая тоже, оставив радости мира, проводила жизнь как птица небесная, научая нас своим примером не пристращаться к земле, помнить о своем назначении, о Царстве Божиим.

Николай Матфеевич скитался с места на место, подолгу проживал в Вологде, Кадникове, Тотьме, где немало было лиц, его уважавших. Он ходил с большим посохом в руке, зимой и летом без шапки (иногда голову повязывал полотенцем), в синем холщовом балахоне; под ним он носил длинную белую рубаху, на ногах — кожаные опорки. Огненный взгляд его черных глаз проникал в глубины сердца. Иные боялись Рынина, боялись его обличения. Несмотря на внешнюю строгость, он обладал любвеобильным нежным сердцем.

Раб Божий попадал и в дом умалишенных. Конечно, почтение к нему от этого не уменьшалось, если не увеличивалось. И туда многие ходили к нему за советом. Вот что рассказывает устами своего ученика о своем вместе с родителями посещении Рынина в сумасшедшем доме известный вологжа-

нин архимандрит Николо-Угрешского монастыря Пимен, тогда еще Петр Димитриевич Мясников, решившийся принять иночество и пред столь важным шагом жизни отправившийся поклониться святыням Киева, чтобы у печерских подвижников испросить благословения на трудный путь монашества. «Рынин был из вологодского купечества, лет с лишком сорока, высокий, худощавый, с длинными растрепанными волосами и черной бородой; говорил отрывисто и скороговоркой, густым хриплым басом. Он ходил по комнате и был в веселом расположении духа; встретив нас с посохом в руке и постукивая им по полу, повторял неоднократно: «Никола никуда не ходит, Никола никуда не ходит». Впоследствии о. Пимен вспомнил, что действительно вся жизнь его прошла под особым покровительством святителя Николая: он родился в приходе Николы на площади (в Вологде), рос у Николы на Глинках (здесь был дом родителя о. Пимена) и поступил в 1834 году к Николе на Угрешу, находился до своей кончины, более 46 лет, на одном и том же месте. Интересен другой случай в жизни о. Пимена. «Мы были еще детьми — сестры и я, — рассказывал о. архимандрит. — Думаю, что это случилось в начале 1820 годов. Мы как-то раз сидели и учились; вдруг вбежал в комнату Николай Матфеевич Рынин и громко, каким-то неистовым голосом, стал кричать: «Готовьте на ризы, на рясы, на шапки, на шапки», — приговаривая и еще что-то такое, но только тогда никто из старших не обратил на это внимания, а мы, дети, не поняли, а может быть, и перезабыли...» (Архим. Пи-

мен. Москва, 1881 г. стр. 17). И что же? Несмотря на крутой характер отца, не слишком расположенного к монашеству, две дочери, с согласия родителей, ушли в Горицкий Троицкий монастырь, а Петр Димитриевич под влиянием чтения Библии и бесед с известным епископом Игнатием Брянчаниновым, тогда еще послушником, почувствовавший стремление к иночеству, получил благословение отца и сделался впоследствии известным архимандритом, которого архиепископ Леонид (Ярославский) называл «самородком золота».

Рынина считали провидцем. Было немало поводов видеть в нем необычного человека, в его речах — особенный смысл, ясно открывавшийся потом, по времени, а иногда тут же в момент произнесения их. Замечателен случай, передаваемый благочестивой старушкой 93 лет, дворянкой Т. К ней часто ходил Николай Матфеевич. Однажды она сидела у себя в квартире и разговаривала с братом — помещиком. Взглянув случайно в окно, она увидела на углу улицы Рынина. «Вот Николай Матфеевич идет», — сказала она брату. — «Это шатунто. Он только бродит, да народ обманывает», — заметил помещик.

Рынин стал подходить к дому, и Т. зазвала его: «Николай Матфеевич, зайти к нам», — кричала она ему в окно.

— Ладно, матушка, зайду, — отвечал он с улицы. Скоро Рынин был в лакейской (прихожей) и, к удивлению хозяйки, дальше лакейской не пошел, чего ранее с ним не случалось.

— Николай Матфеевич, проходи в комнату, — любезно приглашала его хозяйка. А он отвечал:

— Да стоит ли, матушка, в комнату заходить мне, шатуну да обманщику, что бродит да народ обманывает.

При этих словах у брата волосы на голове встали дыбом.

Та же Т. рассказывает, что в одно из своих посещений Николай Матфеевич застал у нее приехавшую из деревни двоюродную сестру, помещицу. У Рынина в руках была трехкопеечная восковая свечка.

— Возьми свечку, возьми, — подавая ее сестре, говорил он.

— На что же мне свечка, Николай Матфеевич? — возражала женщина.

— Возьми, возьми, пригодится, — настаивал он.

Возвратившись домой, сестра узнает, что у нее скоропостижно умерла дочь, и свечка действительно пригодилась к панихиде.

В Вологде разразилась холера. Народ умирал. Однажды, в воскресный день, Николай Матфеевич вошел в храм Зосимы и Савватия, где молилась губернаторская семья, и встал рядом с губернатором. Юродивый весь был покрыт смолой. Губернатор отодвинулся от него.

— Я боюсь, чтобы не заразился, — сказал Рынин...

Вскоре от холеры умерла сестра губернатора, но сам губернатор остался невредим. Появление в городе холеры Рынин предвещал заранее. Мещанка Анна Пищина рассказывает, что однажды,

придя к ним в дом, он стал настойчиво требовать, чтобы мать ее помазала все углы дома дегтем.

— Купи дегтю, — говорил он, — здесь помажь и здесь, — указывал палкою на все углы комнаты:

— Да зачем же это, Николай Матфеевич? — недоумевала мать.

— Надо, — твердил он, — купи дегтю, помажь.

Мать, чтившая Рынина, исполнила его приказание, поставила в каждый угол дома по пузырьку с дегтем. Через неделю в городе открылась холера, многие умирали, но семейные Пищиной избавились от посещения их дома страшной гостьей.

«Моей матери предсказывал мое рождение, — передавала нам благочестивая старушка Г. С. Грва. — Родители мои жили в Кадникове и занимались торговлею. До меня у них родились три девочки. Матери страшно хотелось иметь сына. Когда она носила меня во чреве, случилось ей быть в Вологде. Идет по улице, а навстречу ей Николай Матфеевич, и вдруг, без всякого с ее стороны повода, отвечает ей на занимавший ее вопрос:

— Здравствуй, кукла, (любимое выражение), говорят, что в каком-то городе купчиха девочку родила.

— Это ты мне, Николай Матфеевич, предсказываешь опять девочку, — запечалилась мать. — Родилась я. Рассказывали, что Рынин был в день моих крестин в нашем доме и после того мать мою звал кумой».

В Кадникове Николай Матфеевич радушный приют находил в доме Дьякова, но с любовью его принимали многие горожане и весьма дорожили

его посещениями. Для Божьего человека рады были сделать все. «Однажды, — передает та же Грва, — мылся он в нашей бане. Сердечная мать подумала про себя: дать бы Николаю Матфеевичу белье (у него все одно), но как предложить? Задумалась. Вымылся гость и вдруг бежит из бани нагой, только чресла свои препоясал старой рубашкой.

— Кума, дай белье-то.

Он узнал мысли хозяйки.

«Дом нашего отца, — сообщал нам К. П. Панев, — находился у Николы на Глинках. Раз ночью Рынин стучится в окно. — Вы ведь горите, — кричит он своим хриплым голосом. Посмотрели, нет ничего. Успокоились. Телеграфа тогда не было. Потом оказалось, что в тот день и час, в который стучался Рынин, сгорела мельница в Архангельске».

«Рынин имел дар прозорливости, — рассказывала одна интеллигентная женщина Л. Д. Милова. — Известны мне такие случаи. Моей знакомой старушке он дал несколько кусочков сахара. Она бережно хранила их в сахарнице, где находились у нее деньги. Деньги не переводились, так что ими она нередко снабжала своих родственников. Вдруг сахар растаял, перевелись и деньги. Одному гимназисту Николай Матфеевич говорил, указывая рукой на небо: «Высоко поднимешься!» Тот кончил университет, хорошо служил и достиг солидного поста: председателя Судебной палаты. Моему свекру о. Ан-ию он предсказал пожар в О-е, где священствовал свекор; действительно сгорела цер-

ковь и дома причта». Несчастья Рынин многим предвещал.

Своему родному брату Ивану, рассказывает старушка Авд-ая, Николай Матфеевич предсказал печальную кончину за много лет. Вбегает он раз в комнату и накидывает на шею брата веревку. Иван Матфеевич окончил свою жизнь самоубийством, удавившись на чердаке своего дома. Племяннику своему Николаю Ивановичу Рынин предвещал жалкую судьбу.

— Убить бы его лучше! — кричал он при виде только что родившегося у Ивана Матфеевича сына. Все дивились необыкновенной выходке юродивого. Вырос Николай Иванович, женился на дочери богатого человека Шергина, взял значительное приданое, но рано овдовел, запил, прекратил отцовские дела, продал дом и умер, оставив мать Надежду Н-ну влачить печальное существование и скорбеть о своей тяжелой доле.

Рынин был вхож и к знатым в городе лицам, в том числе к местному владыке. Является он однажды к преосв. Онисифору и говорит: «У тебя в шкафе-то восемнадцать подрясников, дай мне один». — «На что же тебе?» — поинтересовался владыка. «Дай, дай». Владыка распорядился удовлетворить желание юродивого. Получив подрясник, Рынин вышел и во дворе архиерейского дома встретил бедно одетого человека, идущего подать прошение владыке об определении его на место. Ему и передал он владычный подарок.

Рынин носил с собою много кое-чего. Одному встречному он дает печенки — к горю, другому

уголь — скоро случилась смерть любимого человека; кому хлеба — это к счастливой жизни. Бывали у Николая Матфеевича и сласти — гостинцы. Это для детей. Он друг детей. И естественно, он шел по пути Христову. А Христос любил детей: обнимал их, возлагал руки, указывал их в пример: «Если не будете, как дети, не войдете в Царство Небесное». Несмотря на строгий вид юродивого, дети бегали кругом его. Он ласкал их с большою нежностью; и дети чувствовали искреннюю доброту его сердца. Школьники, бывало, внимательно замечали действия доброго человека, видя в них то счастливые, то неприятные для них предзнаменования: ударит легонько школьника по плечу — быть в тот день высеченным за что-нибудь. Конечно, неблаговоспитанные и резвые дети наносили Николаю Матфеевичу и обиды, которые он терпел ради Бога. «Летом, — рассказывает купеческая дочь Ю. П-ва Бел-кова, — один слепой сидел на галерее нынешней гостиницы «Пассаж» и просил милостыню. Проходил мимо него Рынин. Уличные мальчишки, увидев юродивого, стали бросать в него песок с дороги, пыль попала в глаза слепому и причинила ему боль. Он стал тереть глаза, а Рынин и говорит ему: «Три, три», — и слепой получил возможность видеть».

До 80 годов могила Николая Матфеевича отличалась от других разве тем, что была сильно изрыта почитателями юродивого, берущими из нее песочек, так что крест на ней стоял покривившись. В 80 годах купеческая вдова Наталья М-на Коровина устроила над могилой крышу на 4 деревянных

столбах и довольно высокие перила, а в 1899 году почитательница покойного А. М. Крылова построила досчатую часовенку, покрытую железом, с небольшою из белого железа главкою и железным крестом. В часовне четыре окна, вход в нее с западной стороны. На могиле поставлен деревянный крест, сама же она покрыта парчовым покровом. В 1905 г. летом неизвестным лицом часовня окрашена масляной голубого цвета краской, на восточной стороне ее поставлен столярный с золоченой резьбой иконостас с тремя большими образами: в середине — Воскресения Христова, направо — Успения Божией Матери, налево — Николая Святителя (тезоименитого покойному). На стене висит портрет Николая Матфеевича: худое, с заостренным носом подвижническое лицо, черные задумчивые глаза....

(«Воскресный День», 1906 г., № 7-8).

ХРИСТИАНСКАЯ МЕСТЬ ВРАГУ

В одной казачьей станице торговал приезжий купец, который несколько лет нанимал лавку и квартиру у одного казака и жил с ним в тесной дружбе. Ни хозяин без постояльца, ни постоялец без хозяина не съедали ни одного лакомого куска. Купец крестил у казака детей и всегда был с кумом в таком ладу, что родные братья завидовали доброму их согласию.

Незлобин (так назывался купец) ежегодно отправлялся в Москву за товаром и для расчетов по долгам.

Однажды он собрался по обыкновению ехать в Москву, приготовил несколько тысяч денег и с вечера, накануне отъезда, пересчитал их вместе с другим казаком.

Запала в голову казака недобрая мысль воспользоваться деньгами кума. Совесть его укоряет, а злой дух нашептывает: «Чего ты боишься? Денег много, заживешь богато, сбудь только кума с рук, а после с деньгами много найдешь новых друзей и кумовьев».

Всю ночь казак не спал и разбудил купца еще с полночи.

— Вставай, кум! Пока на зорьке отъедешь десяток-другой верст; я тебя провожу и распростимся по-приятельски, а в полдень от жары отдохнешь.

Незлобину и на мысль не приходило подозревать задушевного друга, и он полагал, что тот по приязни хочет его проводить.

Кумовья убрались, сели оба в повозку и покатили по дороге. В станице все еще спали.

Дорожным надобно было проехать степью верст двадцать; отъехавши половину этого расстояния, казак сказал купцу:

— Любезный кум! Ты меня прости за недобрые мысли! Не мне бы тебе об них говорить и не тебе бы слышать. Враг не дает мне покоя и твердит будто, чтобы я отнял твои деньги, а самого тебя сбыл с рук.

— Что ты, кум! Бог с тобою! — отвечал Незлобии. — Стращать, что ли, меня вздумал или просто из ума выводешь? Да, я вот так тебе и поверил! Нет, друг, кажется, мы не первый год с тобою зна-

комы; видал ты у меня денег и поболее теперешнего.

— Хочешь верь, хочешь не верь, — продолжал казак, — только я говорю правду. Я и сам не рад злой мысли, да что делать! Видно, тебе на роду написано погибнуть от друга!

Перемена в лице и слова казака уверили Незлобина в истине.

— Ну, кум, прости тебя Бог! Знать, Господь помянул мои грехи! Будь со мною святая Его воля! Не так жалко расстаться с белым светом, как жалко гибели души твоей, — сказал купец, обливаясь слезами.

Казак начинал уже раскаиваться, но дьявольская мысль его не оставляла: он взял кистень и, показавши Незлобину, продолжал:

— Прощай, кум! Чему быть, тому не миновать. Молись Богу в последний раз.

— Послушай, кум! — начал опять Незлобин, — не губи моей и своей души: возьми мои деньги и отпусти меня живого. Бог и все святые будут тебе за меня порукою, что во всю жизнь не скажу об этом никому ни слова.

— Нельзя этому быть, друг! — отвечал казак. — Теперь ты клянешься, когда видишь смерть над головою, а после и божба будет не в божбу, тогда пропала моя голова: начнут таскать по судам, не рад будешь и деньгам твоим: все перейдут в карман судей и подъячих.

— Но если уже ты решился убить меня, то оставь по крайней мере меня на волю судьбы. Здесь, ты видишь, степь, дорога глухая: завези меня пода-

лее в сторону с дороги, свяжи по рукам и ногам, все равно я жив не буду, помощи ждать неоткуда. По крайней мере день-другой я пробуду жив, расскажусь Богу в грехах с чистым покаянием.

— Правда твоя, кум, что в степи помощи ждать неоткуда, но кто знает, каким-нибудь нечаянным случаем ты останешься жив, тогда что будет со мною?

— Этому нельзя быть, но если бы и случилось, то клянусь тебе Пресвятой Троицей, Небесной Царицей и всеми святыми, что всю жизнь никому, даже родному отцу не скажу о происшедшем, ни одного слова не выйдет от меня, и если нарушу клятву, то пусть я буду лишен милости Божией, пусть не увижу никого из родных и друзей, пусть земля не примет моего тела и да буду я проклят отныне и до века!

Такие страшные клятвы подействовали на казака, не свыкшегося еще с злодейством, и он, согласясь на желание кума, завез его далеко в степь и оставил связанного в повозке, а сам, взявши деньги, возвратился в станицу.

Оставшись один в глухой степи, Незлобин горько заплакал, припоминал свои грехи и просил Бога о помиловании, о скорой смерти. Он не роптал на несчастье, но, предавшись воле Господней, сознавал себя достойным наказания.

Так прошло три дня. Бедный купец был недалеко от смерти; но Бог услышал молитву смиренного, помянул милостыни его, нищим и бедным, поданные и послал нечаянную помощь. Какой-то проезжий ночью сбился с дороги и нашел почти

умирающего Незлобина, развязал его, накормил дорожным запасом и отвел от смерти.

На расспросы избавителя купец рассказал, что дорогою напали на него неизвестные недобрые люди, обобрали деньги, а самого оставили связанного. По утру путешественники нашли дорогу. В первом городе Незлобин, отблагодарив избавителя, простился с ним, а сам нанял ямщика и отправился в Москву.

Там он должен был заплатить долги. Ему стоило только объявить о своем несчастье, и все было бы возвращено, а злодей его отмщен. Но добрый Незлобии верно держал данное слово и лучше хотел сам остаться в подозрении кредиторов, чем нарушить страшные клятвы.

Собравши всех, кому быть должен, Незлобии сказал им: «Вы знаете, господа, что я несколько лет брал у вас товар и всегда исправно платил долги. Ныне, по некоторым обстоятельствам, впал в несчастье, которого открыть не могу, не нарушив данных мною клятв.

Наличных денег у меня теперь нет; есть в долгах, но и те не собраны. Если вы будете настолько снисходительны, что дадите мне способ оправдаться пред вами и остаться честным человеком, то отпустите еще в кредит товаров, и я по-прежнему буду верным плательщиком, с новым долгом уплачу и старый. А впрочем, ваша воля, делайте со мною что угодно; уверяю только вас, что я не бесчестен противу вас!»

Кредиторы подумали, посоветовались между собою и, рассрочив должнику платежи на несколько

лет, доверили ему вновь товаров на значительную сумму.

Незлобин не только не помянул про злобу казака — нет, он еще подумал: «Кум мой добрый человек, и если хотел лишить меня жизни, то это по дьявольскому научению. Наверное, он давно раскался и теперь клянет себя за мою смерть. Поеду и успокою его, а о прошедшем и поминать не буду. Кто Богу не грешен, кто царю не виноват?»

Много ли найдется людей с такими правилами? Одни только истинные исполнители заповедей Спасителя и наследники Небесного царствия могут так поступать, как поступил добрый купец.

Набравши подарков для кума, кумы и крестников, Незлобии отправился в станицу.

В самом деле, прошло искушение и казак осознал свой грех, рассказал жене, и оба они мучились совестью. Не милы стали и деньги, добытые погибелью друга; им казалось, что скоро преступление откроется и казнь постигнет виновных. Они представляли себе кума, умирающего в степи от голода и хищных зверей, и сердца их обливались кровью.

Каково же было удивление, когда приехал Незлобин! Казак с женою едва верили глазам своим, стыдившись взглянуть на кума, и думали найти в нем строгого мстителя. Но добрый купец по старой дружбе обнял кума и куму, расцеловал крестников, одарил всех гостинцами, расспросил о том, о сем, а о страшном прошедшем ни слова, будто никогда ничего не было.

Казак был как на угольях; мучимый совестью, он не ожидал от кума скорого забвения обиды. Не вытерпев душевных страданий, казак с женою бросился в ноги к Незлобину.

— Прости нас, любезный кум, за смертельную вражду; мы кругом перед тобою виноваты и не сме-ем оправдываться!

— В чем мне прощать вас? — отвечал купец. — Я не помню никакой обиды, а помню только ваши ласки и прежнюю нашу дружбу.

— Как! Добрый человек! — продолжал рыдавший казак; — разве ты не считаешь за обиду то, что я хотел лишить тебя жизни, ограбил и бесчеловечно оставил в глухой степи в пищу зверям и птицам, и только Господь один мог спасти тебя, умиловидшись на мое горькое раскаяние? Вот твои деньги: они все целы, возьми их. Много горя они принесли с собою.

— Послушай же, кум, — сказал купец: — Никогда не хотел я вспоминать несчастный случай. Я был уверен, что или Бог испытывал меня за мои грехи, или враг-дьявол позавидовал моей с тобой дружбе. Я дал тебе слово молчать и верно держу клятву, но если ты сам начал, то да простит вас Бог, так же и я прощаю, и да не помянется этот случай в день последнего Страшного Суда! Только прошу, чтобы вперед об этом не было помину. Кто старое помянет, тому глаз вон! — После этих слез кумовья обняли друг друга и остались навсегда друзьями.

Незлобии хотел исполнить христианскую заповедь о прощении врагам. Нажив честными оборотами хороший капитал и не имея детей, он полови-

ну своего имущества и денег предоставил по смерти своей получить крестникам, детям своего кума. Вот как отмстил он врагу.

Добрый человек был верен слову и во всю жизнь никому не говорил о происшедшем случае, и эта история навсегда осталась тайною. Ни я, ни ны, читатель, не знали бы о ней, если бы казак на старости не рассказывал ее детям и внукам, как редкий пример христианского мщения!

(«Кормчий», 1906 г., № 35).

ПРИМЕР ДОБРОДЕТЕЛИ

(Из наблюдений сельского священника)

В деревне моего прихода есть семейство Феодора и Прокофия Степановых. Первый женат и имеет жену и четырех детей, второй холост, сорока одного с половиной лет. Давно я знал Прокофия, так как мне, жившему в соседнем приходе, случилось иногда причащать его во время болезни. Моя духовная связь с ним еще более скрепилась со времени моего перехода в тот приход, где жило указанное семейство.

При первом же посещении деревни С. в Богоявленский праздник, я вступил с Прокофьем в беседу. И вот что услышал от него.

«Было мне 21 год, в 1883 году, когда призывали меня к жеребью. Жеребьем я не освободился от воинской повинности. Три раза водили меня в присутствие и каждый раз браковали. Так счастливо сошла эта повинность, и я радовался своему счастью; родные утешались мною; соседи мне завидовали. Всем я был наделен от Господа — и ростом,

и дородством, красотою и ловкостью, трезвостью и грамотностью. Словом, был парень хоть куда. Но вот Господь нашел меня бедою. Вдруг заболели у меня ноги ни с того, ни с сего, и я слег в постель. Никакие лекарства не помогли мне, и я лишился возможности двигаться. Так вот и лежу в углу уже одиннадцать лет. Злые языки говорили, что я испортил себя сам, чтобы освободиться от солдатчины. Народная молва мой недуг приписала каре Божией за мой этот грех. Но верь мне, батюшка, не портил я себя. А так уже Господь наказал, что долго гулял в солдатчину».

Веселый и приятный взгляд и благодушный вид такого больного невольно заинтересовали меня, и я решился расспросить его о теперешней его жизни.

— Что же ты подделываешь теперь, лежа, и какой уход за тобою? — спросил я.

— Ничего, батюшка, я не делаю, да и как я могу работать? Ведь ноги-то у меня что плети, и я не могу ни встать, ни лечь, а руки хотя и здоровы, так что мне в них? Лежа не могу работать.

Как же ты время коротаешь? — спрашиваю я его.

— Вот все, что я могу делать и что делаю. Языком я или молитвы творю, или книги читаю, а руками крещусь... Спасибо Авдотье-невестушке, а то бы, пожалуй, черви съели меня. Она и одевает меня, она и кормит, и обмывает меня. Дай ей Бог добра — здоровья за меня. Сколько одной грязи она оберет от меня. Сколько ей из-за меня беспокойства, бессонных ночей! Это ангел, — а не человек.

После такого откровенного заявления, я решил еще предложить ему вопрос о том, скучает ли он, беспокоится ли он о себе, не ропщет ли на свое положение.

На все это он ответил:

— Что же — Богу так надо, можно ли роптать и гневить тем Бога?

Последующие мои наблюдения убедили меня, что он не рисовался, а высказывал одну правду. Такой веры в Бога, такой покорности и преданности воле Божией, какую я видел в этом человеке, редко встретить ныне.

Бывало, подходить к его комнате и слышишь — читает громко, нараспев «Отче наш», «Богородицу» и «Царю Небесный», или поет что-либо из священных знакомых ему песней. Его простая и безыскусственная, но полная неподдельного усердия и любви к ним — молитва за умерших еще и теперь у меня живо хранится в памяти. Как-то летом, в сенокос, был я в деревне, где лежал этот больной, и вздумал навестить его, а он в это время помещался на конюшне, в пологе скрываясь от назойливости надоедливых комаров и мух. Подхожу к его помещению и — слышу — он молится: упокой, Господи, батюшку Степана, матушку Татиану, дедушку... такого-то, бабушку такую-то, батюшку крестного... такого-то и т. д., и т. д. поименно поминает он всех сродников. Затем слышу — начал поминать поименно всех умерших соседей. Слышу далее — молится и за живых. Здесь прежде всего за братца Федора и невестушку Авдотью с детьми. «Дай им, Господи, доброго здоровья, что не обижают меня

и ходят за мною. Награди их, Господи, и их детушек здоровьем и счастьем». Далее он молится и за другого брата и его семейство, и за всех соседей. И всех поименно вспоминает. Не оставил непомянутыми и отцов духовных.

Эта молитва больного глубоко тронула меня. Но я считал неудобным нарушить его молитвенный подвиг. И только вошел, когда он умолк.

Не слышал я, чтобы этот больной роптал когда на свое положение. Только раз как-то сказал мне: «Вот, батюшка ты мой, я видеть-то стал как-то плохо, что-то глаза попортились, да и в голове-то моей что-то помутилось». Но и с преданностью Промыслу Божию сказал он это. Никакого оттенка сердечной горечи не было слышно в его словах. Зато и Господь не забыл его. Пятнадцать лет пролежал этот страдалец на одре болезни своей, и у него не было ни одного пролежня на теле. Видимо, Господь хранил его. Дай Бог и каждому так отойти из сей земной жизни, как Господь сподобил раба Божия Прокопия окончить свое земное странствование. В день его кончины Господь привел мне быть в их деревне с требой. Узнавши об этом, невестка сряду же пригласила меня и его причастить. Прихожу... Мой больной совершенно осунулся. Желтый цвет лица, мутный взгляд, хриплый голос, — все мне говорило, что настал час конца его земных страданий. Но и на этот раз душевно он был здоров. Раскаялся в своих грехах совершенно искренно и чистосердечно. Только жаловался на то, что ему стало холодно. Я простился с ним, благословил его, как отходящего в вечность. И мои мысли

оправдались на деле. Через три часа после моего отъезда его не стало. Он умер — как бы заснул от душевных тревог.

Последние слова его в этой земной жизни были слова любви и примирения с ближними. На слова невестки: «Прости меня, Прокофьюшка», — он ответил: «Прости меня, Авдотьюшка». Затем повернулся на левый бок, руку положил под щеку и в таком положении скончался. Мир праху твоему, великий страдалец, вместе с тем несравненный учитель терпения, покорности и преданности воле Божией!

(Священник Н. «Душеспасительный Собеседник», сентябрь, 1906 г.).

КОЛОМЕНСКИЙ ДАНИЛУШКА

Двадцать лет тому назад скончался живший долгое время в г. Коломне юродивый с именем Данилушки. Жизнь его интересна и назидательна.

Родом Данилушка был из села Лыкова, Коломенского уезда. Отец его был помещичий крестьянин, человек богатый и закоренелый раскольник, имевший у себя на дому молельню; мать его считалась большею начетчицею старых духовных книг. Данилушка почему-то не был любимцем родителей и рос как-то одиноко, даже не дружился он с детьми своей родины, и для любимой им игры в бабки ходил в другое село, верст за десять. Так как Данилушка был лучшим игроком в бабки, то наигрывал их в течение недели на порядочную сумму, которую всю отдавал в церковь церковному старосте. Последний любил Данилушку за это, любил за его

сиротливость, кормил и нередко оставлял у себя ночевать, брал с собою в церковь, где заставлял его петь на клиросе и торговать свечами. Отец Данилушки сердился за это на старосту и даже жаловался на него своему помещику. Помещик же, узнав, что Данилушка мальчик смирный и добрый, взял его к себе в дом, сделал казачком (маленьким лакеем) и хотел учить его грамоте, но Данилушка в скором времени, однажды утром, снял с себя одежду казачка и сапоги и, принеся помещику, сказал, что ходить в этом он не может, потому что все это сваливается с него; и с тех пор Данилушка уже никогда больше не носил сапог и верхней одежды. В праздничные и в будничные дни он постоянно ходил в церковь для молитвы, а когда не бывало службы в своем селе, то бегал за две, за три и даже за пять верст в соседние села. На дворе еще темно, а Данилушка уже бежит куда-нибудь к заутрене, и как бы рано она ни началась, а он уже поспевает к ее началу. Его ни останавливал никакой мороз, хотя бы в тридцать и более градусов. В одном нижнем белье, с открытою головою, часто по колена в снегу, по оврагам и полям бежит он к церковной службе. Если же, как случалось нередко, придет он раньше благовеста, то зайдет к кому-нибудь из крестьян и там дожидается. Становился он в церкви на клиросе или около одного и пел. Достигши совершенного возраста, он покинул свое село и пришел в г. Коломну, горожане приняли его радостно, как юродивого. Тут босиком ходил он по улицам, по церквам. Особенно он любил бывать за праздничною службою в городском соборе. Собор был

холодный, с чугунным полом, и Данилушка стоит себе на полу голыми ногами в своем обычном костюме и от души подпевает певчим или псаломщикам, стоит весь погруженный в молитву и ни разу не оборачиваясь ни назад, ни по сторонам. Днем Данилушка ходил по городу — по площадям и по торговым рядам. Ему обыкновенно давали денег — он их брал и опускал за пазуху, где у него был устроен мешочек, вечером относил деньги в свою квартиру, которую давал ему у себя в доме купец К. Каждую неделю приезжал к Данилушке церковный староста с его родины и брал все собранные им деньги. Собирая деньги, Данилушка любил шутить с купцами. Если купец был толст; то, потрепав его по плечу, говорил: «Эй ты, кошолка»; одного он называл «синим», другого «звонким», и т. п. Смеясь, нередко говорили ему: «Данилушка, ты ноги-то отморозил», но он любезно отвечал: «Сам отморозил», и, заложив руки за спину (это его обыкновенная походка), продолжал идти далее, напевая про себя: «О всепетая Мати» или «Милосердия двери отверзи».

Так живя несколько лет в Коломне, Данилушка успел собрать значительную сумму денег сначала на постройку колокольни у себя на родине, а затем и самая вся церковь на собранные им подаяния была расписана внутри и поновлена снаружи. Говорили про него, что он иногда предсказывал. Так, говорили, три раза он предсказывал пожар в с. Лыскове, последний раз сказал, что пожар будет в Великую субботу и в это время сгорит и дом его отца, что и сбылось. Бывал нередко Данилушка

и в Москве. Сюда привозили его с собою коломенские купцы, и в Москве всюду он был желанным гостем. Перед смертью он похворал и был похоронен с большою почестью.

(Прот. Бухарев. «Кормчий»,
1903 г., № 47).

ПЕТРОВИЧ

Не погасла еще вера на святой Руси. Не перевелись еще светочи ее. Пусть эти светочи не поставлены на высокие позлащенные пьедесталы, пусть они не ищут славы мира сего: что за нужда! Тихий, проникающий глубоко в души свет этих светильников есть, он не угас, и кроткие лучи их согревают окружающих тружеников.

Знавал и я один из таких светильников. Лет сорок прожил одиноким восьмидесятилетний сгорбленный старичок Петрович в глухой слободе Погореловке. Знали его все односельчане от мала до велика, знали и соседние селенья и хутора.

Как жил он прежде, в молодости? Степенный землекоп, вырастил он дочь и двух сыновей, но не судил ему Господь семейное счастье. Когда было ему тридцать-сорок лет, Бог «прибрал» жену Петровича, а за нею и дочку. Сыновья, злоупотребив добротой отца, запутались на заводах да на шахтах, бросили отца, и о них почти не было ни слуху, ни духу. Ни один из них не показал глаз в родное село, ни один не прислал старому отцу медного гроша. Примирился Петрович со своим тяжким горем, со своим бесталанным одиночеством, по крайней мере никто не слышал от него ропота.

«Что же, на все Его святая воля», — говорил он, когда случайно заходила речь о его одиночестве.

Продал Петрович свою просторную усадьбу, продал рубленую хату, сбыв скотину и, оставив себе не более десяти-пятнадцати саженьей, построил себе маленькую землянку и поселился в ней. Вырученную от продажи порядочную сумму он передал на хранение в церковь, с условием выдавать ему ежегодно по десяти рублей на покупку церковных свеч, завещая остаток тем добрым людям, кто будет его хоронить.

Все мирское было им оставлено: ни семьи, ни имущества. Никем и ничем не связанный, в течение сорока лет Петрович не пропустил ни одной службы Божией. За сорок лет никто и никогда не видал его злым или раздраженным, никто не слышал от него праздного слова. Труд, молитва, добро, творимое им, ангельское незлобие привлекало к нему все сердца. У него не было врагов, а потому все были друзья, все братья.

Изо дня в день он работал всякую работу у своих односельчан, ничего не спрашивая за труд. Случалось, обсчитывали старика недобрые люди, но это бывало редко. Совесть в селе все-таки еще жива, и труд не оставался без награды, тем более, что некорыстолюбивый старец и не гонялся за большим.

Каждый праздник, каждое воскресенье Петрович находил братию, ставил свечи, подавал на проskomидию.

Петрович был человек бывалый: видел он и Киев с его святынями, видел Соловки, побывал и в св. граде Иерусалиме.

Редко-редко проходили без Петровича чьи-нибудь похороны или помины; без него не служились молебствия по хатам: везде он был желанным, почетным гостем. Только свадеб недолюбливал старик: очень уж смущало его широкое веселье русское...

Все селенье любило старика от мала до велика. Одних привлекали к нему его простые, задушевные рассказы о святых местах, другие искали в его любвеобильном незлобивом сердце утешения в тяжких случаях жизни, третьим была по душе его святая жизнь. Все считали за честь, за радость видеть Петровича за своей скромной трапезой. Ничего не пьющий, богобоязненный Петрович отличался необыкновенною скромностью, и никто не видел его стоящим в церкви впереди других.

Проходили годы, промелькнули десятки лет. Петрович прихварывал, недомогал без видимой причины; догорала, как пред иконою свеча, его праведная, святая жизнь. Редко вылезал уже немощный старец: сил не было. Но он не забыт: гостями его было все село. Само собой, без всякого предварительного уговора, установилась очередь: сегодня кормила и ухаживала за Петровичем хозяйка с одного двора, завтра с другого и т. д.

Раньше всех под праздник около землянки Петровича было чистенько подметено; раньше всех под Троицу у Петровича была украшена землянка зеленью. И никто не считал это за подвиг, никто не кичился: все знали, все чувствовали, что — так следует.

Сбылось и последнее, главное желание Петровича: умер он в первый день св. Пасхи, и не скорбные, погребальные, а радостные пасхальные песнопения звучали над его последним жилищем. Все село присутствовало на похоронах праведного старца. Хоронили его с таким торжеством, как никого из самых видных богачей. Каждый счел бы кровной для себя обидой, если бы от него не приняли лепту на погребение Петровича. Не было в селе поминанья, где бы не был записан новопреставленный. Могилка его обложена зеленым дерном, и весной, летом и до поздней осени не остается одинокою: любящая, хотя и чужая, рука непрестанно заботится о его могилке, куда все знавшие доброго старца или слышавшие о нем несут и поныне свои слезы, свои горести.

Во дни св. Пасхи могилка Петровича, пожалуй, краше всех: зелень, свежий песок, у креста красные яички. Кто окружил столь бескорыстною, чистою любовью этот холмик безродного старца? Все!

Тихо, мирно и безболезненно почил этот всеми любимый и почитаемый почти девяностолетний старец, этот светоч веры и любви, этот истинный христианин, и долго имя его будет повторяться с благоговением тысячами уст, пока не сплетется, наконец, с какою-нибудь народной легендой или с Божественным стихом калики перехожего.

Мир праху твоему, смиренный пахарь, добре потрудившийся на ниве Христовой!

(Священник Ф. «Русский Паломник», № 30, 1907 г.).

МИРСКАЯ ЧЕРНИЦА

Сестра Варвара — это светская подвижница. Я знаю ее лично, видал ее «пустыньку» (близ станции Любань, в семидесяти пяти верстах от Петербурга), о ней писано и в «Новом Времени», и в журнале «Женское Дело», в котором была помещена любопытная статья Ювачева. Пользуясь личными впечатлениями, рассказами разных лиц и прекрасной статьей г. Ювачева — я познакомлю читателя с деятельностью «сестры Варвары» на тяжелой и опасной службе, ей самой добровольно избранной, — не вследствие психической болезни, как думают легкомысленные публицисты, а из великой любви к Учителю любви и милосердия. *Помогать деньгами, конечно, доброе дело. Но в этой помощи нет подвига*, по крайней мере того, какой взяла на себя «сестра Варвара», бывшая аристократка, а ныне смиренная служанка тех босяков, которых выкидывает за борт «веселая жизнь». Личность же «сестры Варвары», ее служба — очень поучительны в наши дни.

Сестра Варвара — дочь богатого малороссийского помещика. Красавица и хорошо образованная, Варвара Александровна с первого появления в свет была замечена и скоро же вышла замуж за блестящего офицера, а после его смерти за инженера Шкляревича. Когда умер второй муж, она, уже гораздо ранее понявшая светскую пустоту, решила теперь окончательно посвятить себя на служение ближнему — больным и бедным. Первые шаги на новом пути были сделаны ей в Елизаветинской общине в Варшаве, откуда В. А. переехала

в Киев в Покровский монастырь. «Когда она прибыла в монастырь, — рассказывает Ювачев, — то спросила великую княгиню Александру Петровну, что должна делать. Княгиня отвечала: «На первый раз вот Вам послушание: раньше всех вставайте, позже всех ложитесь, меньше всех кушайте и ниже всех кланяйтесь. Когда Вы раньше всех встанете, Вы покажете другим пример бодрости и деятельности. Ложась после всех, Вы будете иметь возможность проверить, все ли улеглись и все ли в порядке. Если будете всех меньше кушать — приучитесь к воздержанию, а частые и низкие поклоны Вас приучат к смирению. Когда Вы это исполните, я скажу вам, что дальше делать». После этого В. А. послали на кухню, затем в хлебную месить и печь хлебы. Затем В. А. работала в огороде, была прачкой и, наконец, семь месяцев десятником при постройке собора. Когда она прошла все эти послушания, княгиня позвала ее и сказала ей: «Вы теперь можете быть игуменьей монастыря». Но сестра Варвара выбрала другое дело. Из Киева она прибыла в Петербург и некоторое время выполняла обязанности как бы диакониссы при Покровском храме на Боровой улице, и потом много работала в Обществе ревнителей веры и милосердия. По поручению епископа Назария (теперь епископа Нижегородского и Арзамасского), она проверяет жизнь бедняков, подающих прошения о помощи, снабжает их деньгами, одеждою, книгами и лекарствами. Ей пришлось обойти все окраины столицы, все грязные кварталы и трущобы, наполненные беднотою. Она посещает все жилища нужды,

пьянства, разврата, болезней и воочию знакомится с массою нравственно падших людей. В это-то время у В. А. и зародилась мысль — подойти поближе к этим заброшенным людям и что-нибудь сделать для восстановления их нравственности. И вот она идет на большую дорогу и открывает даровую столовую для всех прохожих. Сестра Варвара прибыла в селение Любань в 97 году, наняла там себе избу и, пока не выстроила дома, жила в наемной избе, которая была всегда открыта для всех, кто имел нужду в помощи и совете. «Больные, изъязвленные, — говорил Ювачев, — находили облегчение у сестры. Она давала им лекарства, сама делала им перевязки. Всех она умела обласкать, успокоить; особенным вниманием пользовались женщины и дети. Она устраивала для детей елки, учила их грамоте, беседовала со взрослыми и скоро приобрела у всего населения любовь за свое бескорыстное служение».

Я встретился с сестрой Варварой в доме местного священника о. Кирилла Озерова. Несколько фраз, которыми мне удалось с нею обменяться, убедили меня в ее горячей вере и беззаветном уповании на Бога. Когда я сказал ей: «Ведь это опасно, что Вы затеваете. Вас могут убить золоторотцы», — она отвечала: «Я верю в промысл Божий. Без воли Божией ни один волос не упадет с головы. Если суждено быть убитой — я покорно приму Божие назначение». Осенью 98 года мне пришлось посетить домик сестры Варвары вместе с Ювачевым и с редактором «Исторического Вестника» С. Н. Шубинским. Это — небольшой домик, окру-

женный деревьями, только что насаженными. Около дома огород. Все это обнесено забором из жердей. Ни ворот, ни калитки. Чтобы попасть, нужно перелезть через изгородь. Вы входите в просторную комнату, обставленную большими иконами и гравюрами. Посреди стол, покрытый клеенкой, у окна аналой с иконами. Прежде всего в глаза вам бросается огромного размера деревянный крест с распятым Спасителем. Вас встречает хозяйка, сестра Варвара, уже женщина пожилая, но с живыми глазами, с быстрыми движениями: аскетическая худоба, бледность лица и морщины от труда и подвига преждевременно старят ее. Говорит она увлекательно, красиво, и ее разговор сразу обличает и развитой, светлый ум, и большое знание жизни и людей. Она сама ходит за покупками в лавку, на станцию за полторы версты, приготовляет кушанья, убирает комнаты и моет их. При этом она работает в огороде и шьет для босяков. Она встает в четыре часа утра, в восемь часов готов обед и сестра ждет «разбойничков». Во время обеда и после него она читает им Евангелие и разные религиозные книги, беседует с ними, молится, а иногда все вместе поют. Она ведет совершенно монастырский образ жизни. «Глядя на ее истощенное тело, — справедливо замечает Ювачев, — зная ее прошлую жизнь в неге и роскоши, удивляешься тому, откуда в ней такая сила и энергия, и воля, которая помогла ей переломить себя». Интересны некоторые эпизоды из жизни сестры Варвары в ее пустыньке, характеризующие босяков.

— Как-то раз, — рассказывала сестра Варвара, — приходит ко мне вечером один босой золоторотец, как их здесь зовут, и просит накормить. Судя по его речи и по облику лица, мне казалось, что я вижу пред собой несчастного человека из привилегированного сословия; и хотя обед уже весь вышел, я пригласила его напиться чаю с хлебом. Он спрашивает, что заставляет меня заботиться о них. Я сказала, что бесконечно счастлива служить во имя Христа, что моей наградой пусть будет та маленькая, но и чистая радость, которую я вызываю своим ничтожным участием в их тяжелой жизни. Он внимательно слушал, пока не кончил закусывать, а потом встает и просит у меня обуви. А я даю иногда этим жалким путникам и обувь, и платье, но на этот раз у меня ничего не оказалось. Я сказала ему об этом. «Нет, уж вы мне дайте сапоги, если служите во имя Христа». — Я говорю, что у меня сейчас нет. — «Ну, так дайте мне ваши галоши». — «Если вам впору, возьмите». — И я тотчас сняла галоши и отдала ему. Он надел и, ни слова не говоря, ушел.

Через несколько дней приходят два человека обедать.

— А помните, — спрашивают они меня, — кто у Вас снял галоши? Теперь он их в век не забудет. — Оказывается, узнав о его проделке, они побили его.

Был и другой подобный случай, из которого я заключаю, что они оберегают меня. Также приходит ко мне один из босоногой команды и грубо требует дать ему рубашку. Я твердо сказала, что ру-

башки он не получит. «Ну, так вот тебе, — говорит он, — мой совет: приготовься, исповедуйся и причастись». И ушел. К моему удивлению, этот озорник снова приходит. Я не отказала ему, только заметила: «Как ты сказал, так я и сделала: приготовилась и причастилась». Он смутился и ничего не ответил. На другой, кажется, день опять он приходит, вызывает меня на крыльцо и упал мне в ноги. «Простите меня». — «Бог тебя простит. Иди, пообедай». — «Не могу войти в дом. Товарищи пригрозили дать мне двадцать пять плетей в ночлежном приюте, если я осмелюсь перешагнуть ваш порог. Они приказали просить у вас прощения, и сейчас же убираться вон из Новгородской губернии». Я дала ему на дорогу чаю, сахару, хлеба, дала и рубашку, и отпустила с миром. Нет, они хранят меня. Недаром они зовут меня своею матерью».

Интересен очень взгляд сестры Варвары на босых. «Ведь эти люди, — говорила она Ювачеву, — обречены на напрасное скитание. Его гонят из столицы на родину, дают ему «проходный билет» с маршрутом по двадцати пяти верст в день и с обязательством ночевать только в ночлежном приюте, а кормись, как знаешь. Теперь, представьте себе, такой человек, босоногий, в лохмотьях, явится в свою деревню. Там отлично знают, что он выгнан из Петербурга, как негодный человек, а потому сторонятся от него, гнушаются его отрепьем и очень скоро доводят до того, что он снова идет шататься и прежде всего в столицу, как наиболее знакомое место. Он знает, что при первой облаве его снова арестуют и погонят вон, но к этому он от-

носятся пассивно, спокойно; он уже получил апатию к жизни, и ему, пожалуй, безразлично, где бы ни быть. И до того так домотается, что сельские власти исключают его из своего общества, и тогда он окончательно становится между небом и землею. Скажите, куда им идти? Что им делать с волчьим паспортом? Впрочем, они не очень-то и берут эти проходные билеты... Эти несчастные, отверженные люди, для всех лишние, они всем мешают. У них есть только один несчастный выход из этого неопределенного положения — попасть в каторгу... Так неужели мы должны навсегда отвернуться от этих горемык? Неужели мы должны забыть, что и они носят образ Божий? Разве нет у них сердца, души, чувства? Разве глаза их не плачут? Разве тела их не страдают от холода, и желудок не просит пищи? К чему же мы заранее обрекаем их на единственный страшный исход — совершить преступление? Помню, приходят ко мне однажды сразу двенадцать человек, но один из них пьяный и с ножом в руке. Я не пустила его в дом.

— Ты не войдешь, — говорю я ему. — Мы здесь собираемся во имя Христа, и пьяный человек не должен оскорблять этот дом своим присутствием. — Я заперла дверь, но он стал ломиться в нее и грозить. Тогда я обратилась к остальным и просила их унять своего товарища. — «Мы боимся, он отчаянный, и у него нож в руке», — говорят они. Это меня страшно расстроило, и я просила всех немедленно уйти. Через неделю опять приходит этот буян, но трезвый, и смиренно умоляет простить его. — «Зачем же ты ходишь с ножом?» — спрашиваю

его. — «Да нашему брату как же иначе промыслить пропитание? — отвечает он. — Ведь никуда не пускают и никто не принимает на работу с волчьим билетом». Скажите, разве это не кандидат на каторгу? Впрочем, этот несчастный скоро был наказан.

Но ведь рядом с такими идут идеалисты-странники. Паломники по святым местам — тоже небогатый народ на Руси. Они так же нуждаются по дороге в куске хлеба. А крестьяне, идущие на заработки? А фабричные, которым отказали от места? А вышедшие из больницы? А обкраденные, не имеющие ни копейки в кармане? О, если бы видели, какая смесь этих нуждающихся людей ежедневно проходит мимо моего дома! А какие они жалкие, грязные, иззябшие, голодные, несчастные. Зимой подойдут к двери, жмутся, вздрагивают в своих лохмотьях, переступают с ноги на ногу в опорках, в рваных валенках, в башмаках, в лаптях. «О, Боже мой, — думаешь, — ведь это же люди, люди! Ведь Ты их всех одинаково искупил Своим страданием, — как я осмелюсь судить их, бедных? Ведь это Твои «малые», которые и просят-то так немного... В это время, кажется, чего бы им не отдала...»

Осенью я помучилась с ними. Придут без обуви, а на дворе стужа, дорога вся в лужах. Не утерплю, побегу в Любань, куплю им дешевых лаптей. Все-таки не босиком. Я прошу в Петербурге присылать мне старые рваные сапоги. Стыдятся. Да если бы знали, с какой благодарностью, с какой радостью принимают они в это время всякий опорок».

Ежедневно у сестры Варвары бывают человек тридцать или сорок. Личные средства ее невелики. Это ежемесячная пенсия в 50 рублей. Но сестра много хлопочет для своего дела, и ей помогают со стороны. Раз был такой случай: долгу накопилось много, денег нет, кормить нечем. Сестра уехала в Петербург просить для своих бродяжек. «Просить для них очень трудно, — говорит сестра Варвара. — Бродяжки не возбуждают симпатии в публике. Только та смиренная душа, которая хорошо помнит слова молитвы: «И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим», — не разбирает достоинств и недостатков ближнего и помогает оборванцам-пьяницам. Почем знать, — справедливо говорит сестра Варвара, — может быть, мы перед Богом еще более мерзки по грехам нашим, чем эти люди в глазах наших». Сестра Варвара вернулась из Петербурга домой с нерадостными думами. Денег она взяла мало. Подъезжает к своей «пустыньке» и видит, что у ворот стоит целый воз муки, крупы. — От кого? — Неизвестно. Но она сразу разбогатела провизией.

Сестра Варвара продолжает свою службу и развивает свое дело. Она выстроила баньку и кроме золоторотцев теперь помогает и арестантам, которых провозят по Николаевской жел. дороге мимо Любани. В те дни, когда арестантские вагоны следуют через Любань, к их приходу на вокзал является сестра Варвара с порцией нарезанного хлеба и с гостинцами для детей.

Но главное дело ее — все-таки помощь босякам, для которых ее пустынька является не только мес-

том, где они питаются хлебом, но и тем маяком, который освещает их темные, озлобленные души. Вся обстановка домика сестры Варвары действует сильно на этих людей. Церковная атмосфера этого мирского монастыря сдерживает их разнузданность, заставляет их смириться, и многие из них, растроганные молитвой, душевной беседой, лаской, которой они так давно не видали, с рыданием бросаются к подножию Креста и, как пред священником, начинают каяться пред сестрой во всех своих тайных грехах. «Эти минуты, — говорит Ювачев, — для сестры Варвары являются самыми дорогими в жизни, и в это время она изливает всю силу своего красноречия, всю горячность своей любви к ним, чтобы тронувшееся сердце привести в полное раскаяние и установить человека на новом нравственном пути». И многих несчастных ей удалось вернуть на путь труда и нравственной жизни.

Так служит ближним, и через это Богу любви, сестра Варвара, бывшая аристократка.

(«Христианин», 1907 г., т. 3).

ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ

Кто только не знал в городе юродивой Настеньки? Решительно все ее постоянно встречали на улицах, а чаще — в церкви. Из церквей же она больше всех любила Девиный монастырь, где у окна, в самом дальнем углу, всегда почти можно было видеть эту необыкновенную, несколько смешную фигуру женщины, одетой в мужской костюм: на Настеньке неизменно, круглый год, бывало полуко-роткое мужское пальто, холодное, широкое, сши-

тое не по ней, из-под которого виднелись недлинные шаровары из темной бумажной материи, какие носят небогатые простолюдины; грубые, не всегда крепкие сапоги и шляпа-котелок довершали этот своеобразный наряд. Шалуны-мальчишки непрочь были посмеяться над Настей, но она так равнодушно, так кротко относилась к этим насмешкам, свисткам и издевательствам, что окончательно отбила у них всякую охоту дразнить ее. Все давно привыкли к юродивой и даже не знали, когда именно появилась она в этом городе, сколько ей лет и почему она была такая странная, молчаливая, необщительная!

— Известно, юродивый человек... — говорили молоденькие клирошанки. — Бог знает, кто она такая и что у нее на душе! А только знаем мы, что она строгой жизни, каждую неделю причащается и все, что ей подадут, неизвестно куда деваает!..

Даже никто почти хорошенько не знал, какое было лицо у Насти, потому что она всегда низко напускала на него несколько всклокоченные волосы, стриженные в кружок и, стоя в церкви, почти совершенно отворачивалась от всех молящихся к окну, а на улице нахлобучивала на свою наклоненную голову старую, порыжевшую шляпу.

Никогда ни на кого она не смотрела, ни с кем почти не разговаривала. Только старичок-священник монастырский, во время исповеди, и слышал звук ее голоса.

— Молчальница... — шушукались молодые послушницы, заинтересованные таинственной Настенькой.

В монастырских стенах страшно развито любопытство; и юные, и старые монахини всегда охотницы поболтать между собою, когда уверены, что поблизости нет строгого начальства в лице игуменьи или ее правой руки матери-казначейши...

— Что зря болтаете! — останавливала их мать Филарета, сурово сдвигая брови и сверкая на них своими карими глазами, — не вашего ума дело! Во-все не молчальница она — обета такого не давала — а так, не любит говорить, не охотница, и все тут!

Но где жила Настенька! Многие не верили, что эта слабая женщина, которой приблизительно было уже под пятьдесят лет, жила круглый год в холодной беседке, построенной кем-то на конце монастырского двора. Беседка была из половинчатых бревен, с одиночными окнами и старой тесовой дверью.

Настя жила там уже несколько лет, постоянно покашливала, молилась и почти не зажигала огня. Ела она очень мало; хотя ей приносили из монастырской трапезной обед, а разные богомолки-почтительницы — и калачей, и чаю, и сахару, и даже варенья. Калачи Настя раскрошивала на мелкие кусочки и кормила ими голубей, чай иногда пила, когда ей приносили монахини кипяток, а варенье отдавала старухам, которые лежали в монастырской больнице. Денег она не принимала. У нее к ним был необъяснимый страх...

Однажды какая-то богатая купчиха, узнав о «святой жизни» Настеньки, пришла к ней в беседку и предложила ей денег на теплую одежду, так как стояли порядочные морозы.

— Деньги!.. — с непритворным ужасом просто-нала Настя. — Нет, нет!.. Избави Боже!.. Я боюсь... боюсь денег!.. Не надо!..

И в первый раз она заговорила с жаром, и все увидели ее лицо, на котором изобразился непонятный испуг при виде щедрой денежной помощи богатой женщины.

— Что-то было в ее жизни! — сказала последняя, уходя от Насти.

— Не знаем, сударыня, ничего не знаем!.. — уверяла сопровождавшая ее монахиня. — Может быть!.. Говорят, Настенька была тоже богатая купеческая дочь!.. Женихи сватались, отец ничего не жалел для нее, а она потихоньку ушла из дому, уехала из города — откуда-то издалека она — и уже в нашем монастыре поселилась, а пострига не принимает!..

— А *такая то* она давно?

— Какая же?

— Да... мне кажется, она не в своем уме...

— И, что Вы!.. Божий человек, да и только! Мало ли таких на Руси у нас! Кому-нибудь надо же молиться-то!..

Дама задумалась и не стала спорить, сунула провожатой в руку монету, за что получила: «Спаси Вас Бог», и уехала.

Хотя к странной женщине в мужской одежде все давно привыкли, а в городе она была известна под именем «монастырской Насти», но интересоваться ею не переставали и с любопытством смотрели на нее, когда она, нагнув свою растрепанную голову, сидела на крылечке своего холодного домика

и резала ножницами кусочки хлеба, бросая их птицам. Голуби вились над нею, садились ей плечи, дерзко вырывали у нее из рук большие куски и целыми стаями слетались к ней, хотя она ни одним звуком не скликала их. Наевшись досыта, точно сговорившись, поднимались они с земли и исчезали под широким карнизом монастырской церкви. А Настя, даже не подняв головы, чтобы взглянуть на своих любимцев, тихо вставала с приступка и уходила...

Раз кто-то подсмотрел, что она при свете воскового огарка что-то писала. Но куда потом девалось то, что она старательно выводила карандашом по большому листу желтоватой бумаги, это никто не мог узнать, а монахини, вообще отличавшиеся любопытством, долго потом шептались и допытывались, что такое могла писать Настенька? Шептание дошло до матушки игуменьи, которая сразу оборвала любопытных.

— Что пишет? А вам все надо знать! Не вашего ума эти дела, пишет поминанье, вероятно! Конечно, не письма же какие-нибудь.

Она не любила сплетен и лишних разговоров. Вообще, матушка игуменья была начальница строгая, и умная, и тактичная.

Оригинальный костюм Настеньки возбуждал толки в людях или, как говорят в монастырях, *в мирских*. И вот один раз игуменья позвала ее к себе и стала уговаривать переменить свой наряд на обыкновенный монашеский, чтобы не было «искушения» и «соблазна».

— Недостойна!.. — только и сказала юродивая и осталась по-прежнему.

Батюшка, однако, поговорив с Настей, убедил ее хотя к причастию не подходить в ее обычном наряде; и с того времени на Настеньку накидывали черную ряску, когда она подходила к Св. Дарам.

Судя по внешнему виду этой женщины, никому и в голову не могло придти, что и она когда-то жила обыкновенной жизнью зажиточной семьи; быть может, и у нее были привязанности. Даже страсти — и все это прошло, и живой человек превратился в сухое, невозмутимо спокойное, какое-то бесстрастное существо. Она и на молитве-то не проявляла ни особого рвения, ни горячего экстаза... Неподвижно стояла она на своем месте, боясь показать людям свое лицо и закрывая его иногда от слишком любопытных взоров руками... И тогда молчаливые слезы проступали между тонкими пальцами, тесно прижатыми к глазам...

Многие думали, что в прошлом у Насти был роман, но едва ли это было верно: так мало похожа она была на героиню романа. Другие думали, что на душе у нее преступление и уверяли, что старый священник, духовник монастырский, знает ее тайну, которую, конечно, никому не откроет, как узнанную на духу... Но и это было под сомнением уже потому, что Настенька была почти молчальница, и пронирливые молоденькие клирошанки, как ни старались уловить хоть один звук ее голоса, когда она подходила под епитрахиль о. Владимира, ровно ничего не слышали.

— Так и стоит, девушки!.. — толковали они. — И хоть бы словечко!.. Знать, о. Владимир принимает «немую» исповедь нашей Настеньки и отпускает ей грехи так, в молчанку!..

Легкомысленные послушницы, не связанные обетом, любили посудачить и везде совали свои носы, когда вблизи не было матушки-казначей, которая зорко следила за нравами и исполнением устава в монастыре.

Однажды Настя заболела и не выходила из своей холодной келлии, а стояли уже первые морозы. Ее навестила сама настоятельница.

— Переходи в монастырскую больницу, Настасья! Там тебя наша докторша полечит... Там уход хороший!..

— Нет!..

— Да что «нет»?.. Грех не беречь свое здоровье! Ведь оно тоже от Бога! Бог повелел беречь данные Им человеку дары!..

Но Настя продолжала молчать, и ее оставили в покое: только укрыли ее теплыми одеялами да почаще стали навещать.

— А то, избави Боже, умрет, зачоченеет необмытая, еще отвечать за нее придется перед людьми! — говорила осторожная игумения.

Настя пережила зиму, которая была не суровая, да и в беседку ей поставили железную печку, которую топили два раза в день.

Но вот настала весна, ранняя, дружная и радостная. Зацвел монастырский погост, засуетились черные фигуры между цветниками, тополями, издававшими бальзамический аромат, и кустами си-

рени да акации. Могилы богатых горожан города на монастырском дворе убирались и украшались; высаживались ранние цветы в грунт, темная зелень маслянистых листиков травки, которую в Малороссии зовут «барвиночек», раньше всех вышла на свет Божий, а почти одновременно с листиками показались и лиловенькие цветочки, задорно смотревшие на солнце и на людей, старавшихся вырастить причудливые цветы, покрупнее да поярче...

— А мы вот и сами выросли! — казалось, говорили лиловенькие барвинки. — Да еще нарядней других, да раньше других!..

Все оживало и радовалось, а бедная Настенька тихо, не жалуясь, таяла и обращалась в прах...

Одним чудным живительным утром пришли в ее беседку хлопотуньи-монашки и нашли ее труп, уже остывший, так как она умерла среди ночи под немолчный хор нескольких соловьев и воркование голубей, напрасно ожидавших кусочков хлеба, нарезанных ножницами Насти...

Тогда увидали лицо умершей: оно вовсе не было некрасиво, и выражение было такое спокойное... Свою тайну она так и унесла в могилу...

Так, по крайней мере, думали все и остались бы в этом убеждении навсегда, если бы один случай не раскрыл целую историю страдальческой жизни одинокой девушки, которую звали Анастасией Ивановной Белугиной.

Открылось это так.

Давно уже матушка-игумения собирала деньги, привлекая щедрых жертвователей на построение нового летнего храма и на расширение и ремонт

келий. Вся ее жизнь уходила на заботы о сестрах и о благолепии церковном. Она была заботливая игумения и очень распорядительная хозяйка в такой большой семье, как ее монастырь. И вот, наконец, давнишняя мечта ее могла осуществиться: капитал, собранный в течение двух десятков лет, дошел до такой значительной цифры, что можно было смело приступить к постройке. Начали сломку ветхой каменной церкви и деревянных корпусов с келлиями, тесными, холодными, неудобными. Горы мусора, кирпича и гнилых бревен завалили весь двор с бесчисленными могилками, раньше украшенными цветами и памятниками. Дошла очередь и до беседки, в которой жила и скончалась Настя.

Все знали покойницу, и старое жилище ее стали ломать как-то осторожно и тихо, как бы боясь нарушить ее покой, уважая память «рабы Божией», как говорили между собой рабочие.

— Кто ее знает! Может, и вправду святая была!..

— Нет, так, юродивая!.. Мало ли их.

— Не говори, парень: таких поискать! Ведь, слышно, и зиму, и лето жила тут! Ну-ка сам-то ты поживи! Небось, не выдержишь, на печь запрочишься, даром, что мужик!

И все смолкли, и тихо, без прибауток, острот и песен продолжали ломать беседку.

— Гляди-ка! Что это такое? Сверток бумаги! Знать, кто-нибудь обронил! Не подрядчик ли? Он тут все прохаживал...

Найденный сверток отнесли матушке Агнии, казначее, которая следила за порядком, и которую

сразу признали мужчины, работавшие на монастырском дворе, за строгое начальство свое.

— Это что же такое, матушка? В беседке нашли, за плинтусом застряло, — не обронил ли кто?

Зоркая Агния так и ухватила за находку: «У Настеньки нашли! Не то ли, что она писала-то?» — подумала она и, забыв всякую субординацию, сама, без «госпожи начальницы», развернула бумагу и с трудом прочла:

«...Прошу молиться обо мне, грешной, и о моих родителях Иване и Пелагии...» Затем следовало какое-то слово, очевидно, фамилия, которое разобрать было уже окончательно невозможно.

Бумага была серая, с пятнами от сырости и долгого лежания, слова были нацарапаны неразборчиво и безграмотно.

Бедная, неученая Настенька и это-то едва осилила написать.

Мать Агния завернула опять все в старую хлопчатую бумагу и понесла находку настоятельнице.

Игуменья была занята с подрядчиком и архитектором. Отпустив их, она выслушала мать Агнию.

— Настенька!.. В ее беседке нашли, говоришь?.. Ну-ка, дай сюда!.. И прочла. Последнего слова тоже не разобрала.

— Постой-ка... есть у меня стекло такое... Купец один подарил, спаси его Бог! Когда читаю мелкое, всегда его беру! Так отчетливо все выходит, славно!..

Матушка приложила лупу и с трудом, но прочла:

«...Ивана... Ивана и Пелагию... Бе...Бе...лу...гин...» Белугины! Так Настя Белугина была! Купцы такие были, из нашего города... Зна-

вала... как же!.. Так вот оно что!.. Богатые были!.. А дочь-то!.. в холодной постройке, в нашей обители свои дни окончила убогие!.. Подвиг, мать Агния!.. Великий подвиг на себя приняла Настя!

И обе матушки повздыхали, помянули с благоговением умершую и разошлись.

Узнав, кто такая была Настенька, весь монастырь, который быстро облетела молва о найденной записке, еще более заинтересовался:

— Что за притча! Богатая купеческая девица бросила все — дом, богатство — и сделалась юрдиной Настей?

Но ответа не находилось.

Когда разломали и убрали все во дворе, сделали закладку. Приехал архиерей, губернатор, именитое купечество, положили первые камни, по углам монеты, доску с надписью о времени постройки нового храма. Отслужили молебен с водосвятием и многолетиями и откушали скромную монастырскую трапезу.

И закипела работа. Бодро, но без шума постукивали каменщики железными инструментами. Один из них неожиданно обратился к соседу рабочему, заливавшему цементом сложенные уже плиты фундамента:

— Смотри-ка, дядя Никита! Что за оказия? Вон на бугре-то, каждый день примечаю голуби — тучатучей! Корма, что ль, им там насыпают монашки?..

— Настенькина могилка там — вот и голуби... — объявила проходившая за водой к колодезю старая монахиня Филарета. — Была такая здесь. Настенька, Божий человек! Голуби около нее так и кружи-

лись, любили ее... Она их кормила.. А теперь вот, как умерла она, и воркуют, и летают около ее праведной могилы!..

— Что ж она, из монахинь, значит, была? — спросили каменщики.

— Нет... Купеческого рода, Белугина по фамилии, из уездного города, откуда наша матушка-игуменья родом...

— Белугины!.. Действительно, купец у нас был Белугин! Еще из простых он! — сказал каменщик Никита. — А потом большие деньги имел, дома, фабрику...

— Как звали-то его, не помнишь? — спросила любопытная монахиня.

— Как не знать? Еще мой отец у него служил при складе... Самовары там, и всякие медные приборы... Иван Егоров звали!

«Иван!» — мысленно воскликнула монахиня, она была хороша с матерью-казначеей и от нее раньше всех узнала, что отца Настеньки звали Иваном.

— А как же он разбогател-то?

— Э, такое ему счастье вышло!.. — усмехнулся Никита. — Кто говорит — счастье, а кто — грех один!.. Дело темное, вестимо...

— Расскажи... вот как пройдет подрядчик, ты и Расскажи в кратких словах! — просила мать Филарета.

— Да мне что подрядчик? Я и так расскажу, потому я своего дела не упущу, а разговаривать никто не может запретить!

Монахиня присела на грудку камня и выслушала нехитрый рассказ каменщика про то, как разбогатели два брата, Иван и Петр Белугины.

— Давно это было, дело-то!.. Ехала однажды почта, везла денег тьму-тьмущую!.. В кожаных мешках, за печатями! А на мешках — почтари! Ехали мимо леса — ничего!.. К городу подъехали — ан тут-то и ждала беда: выскочили два молодца-слесаря, да молодой мальчишка подручный с ними. Один — лошадей под узцы, двое других — к мешкам:

— Отдавай добром деньги, не то убьем! — говорят. Почтари — народ трусливый, испугались, куда тут бороться!

А Иван да Петр Белугины на всю слободу славились силой! Здоровые детины! да и мальчишка Филька ловкий был паренек — из молодых да ранних, одним словом..

Сдались. Деньги обобрали... Все в воду кануло!..

Монахиня всплеснула руками и перебила рассказчика.

— Ну, а почтари-то что же? Чай, после доказали на Белугиных по начальству? Белугины-то как же?

— Да дело темное, говорю... Я тогда мальчишкой был, ничего, почитай, и не понимал. Как они вывернулись и остались ли в живых почтари, Богу одному ведомо...

— Так с того, значит, и разбогатели?

— Из города они тогда же уехали, чтобы следы, что ли, замести, и делу конец...

Каменщик слез с фундамента, принес материала для своей работы и возобновил рассказ. А старая мать Филарета, строгая к молодым монахиням

и послушницам, забыла все и обратилась окончательно в слух и внимание. Что, если бы, Боже избави, увидала в это время «госпожа начальница» сидящей здесь поздно, — не поздоровилось бы ей!..

Про Белугиных говорили разно: кто прямо указывал на ограбление почты как на источник их богатства; ходили слухи, что они собирали, где только могли, медные пятаки (а в старину они очень крупные выделялись) и переливали их на самовары. Как бы то ни было, а дознание по делу ограбления почты было произведено.

В те давние времена, когда не было не только следователей, а тем более следователей «по особо важным делам», но даже суда-то настоящего не было, тогда прибегали к особому виду дознанию, а именно — к присяге под колокольный звон.

Эта была тяжелая церемония, а на религиозных людей обряд присяги под звон колокола производил известное действие, удручающее, и вызывал на полнейшее признание и покаяние в преступлении.

Не так было с Белугиными. Настоящих улик не было... и вот назначили им присягу на основании сильного подозрения.

Набралось множество народа около собора. Все шли сюда по разным побуждениям. Кто ожидал увидеть унижение богачей, у которых было много завистников, кто бежал на этот суд, увлеченный чувством правды, справедливости суда Божия, а кто просто был любителем сильных ощущений, потрясающих сцен.

Священник истово и громко произносил слова присяги. Оба Белугины стояли степенно, потупив

взоры, а с высокой соборной колокольни гулко раздавались удары колокола, словно выносили покойника...

Белугины выдержали искуc; народ так и ахнул и разошелся по домам разочарованный...

И все, было, пошло хорошо. Но тут-то и начинается настоящая драма... Вернемся на время к предыдущим событиям:

Единственная дочка старшего Белугина — второй брат был холостой — Настенька, жадно следила за всей историей своего отца, думала целыми днями и ночами о происхождении несметных богатств его и, наконец, об исходе этого последнего акта, присяги, обставленной такой исключительной торжественностью.

Настя была в высшей степени романтическая натура. Она росла сиротой, потеряв мать еще в раннем детстве. Ее старуха-нянька рассказывала своей любимице и былицы, и небылицы; воображение ее не знало границ, а сама она, как Пушкинская Татьяна, трепетно ждала своего Онегина... Последний явился в лице довольно уже пожившего приказчика, Филиппа Ефимова, когда-то помогавшего Белугиным в нападении на почту.

Не такого, конечно, «суженого» ждала молоденькая девушка; но Филипп был малый не промах, и наука хозяев не пропала для него даром:

— Иди за меня замуж! Не то сейчас пойду, повижусь и погублю себя и хозяев, а всему вашему богатству — конец, и вместо палат каменных — кандалы да Сибирь!..

Услыхав эти беспощадные слова, Настенька обомлела, но не потому только, что боялась разорения, позора, наказания, грозящего отцу. Нет. Ее ужаснуло все, и она со страхом ждала, повинится ли отец или останется клятвопреступником. Она возненавидела Филиппа, который казался ей большим злодеем, чем дядя и отец, а деньги, из-за которых на свете бывает столько преступлений, до конца жизни невыразимо страшили ее...

Решение ее созрело.

Смолкли колокола, присяга окончена; Белугины опять подняли головы и вернулись к своим делам...

А на другой день Настя исчезла из дома и пропала бесследно...

Еще много лет прошло. Одно время в городе N. пронесся слух о замечательном молодом проповеднике. Слушать этого священника приходили из разных концов города. Однажды пришел и Иван Егорович Белугин, так как был человек богомольный.

Батюшка говорил о святости данного слова, об обетах, о грехе клятвопреступления.

Белугин стоял бледный, как приговоренный: точно слушал намеков на его дело, о котором давно все забыли, да и он сам давно уже перестал думать о нем. Горячая речь молодого оратора заставила крепко задуматься Белугина.

Говорили потом, что он уехал на Афон, где доживал свой век строгим старцем Иннокентием, а что случилось со вторым братом, никто не знал. Да и эти все сказания, быть может, прикрашенные стоустой молвой, каменщик Никита передавал сбивчиво; он и сам как будто увлекался своим рас-

сказом, вспоминая, что слышал когда-то о событии в семье богатого купца и что теперь узнал от монахинь о юродивой Насте Белугиной, которая грехи родительские отмаливала в суровой обстановке Девичьего монастыря...

— Ведь вот оно что! — задумчиво проговорила старая Филарета. — Бог-то правду видит, да не скоро ее скажет!.. А мы-то все по-своему... Грехи...

А голуби все вились, ворковали и кружились над заброшенным бугром, заваленным мусором, из-за которого слабо пробивалась зеленеющая травка. На верхушке склонившейся густой березы уже начинал выводить свои несмелые трели соловей. Каменщики прекратили работу, стало тихо — торжественно... На старой колокольне монастырского зимнего храма ударили ко всенощной, жалобно и немзыкально, и спугнули соловья... Черные фигуры плавно и бесстрастно проходили к службе...

Все вступило в свои права; жизнь покатила по старой колее, ровно и мило.

(Л. Коцевальская. «Кормчий», прил. 79, 1906 г.).

СВЯЩЕННИК ИОАНН (ГОРОДА ЕЛЬЦА)

Прошло уже четверть века со времени смерти отца Иоанна Борисовича, а память его окружена таким усердием, его любят с такою теплотою, что день его кончины, 20 декабря, является в Ельце чуть ли не праздничным. Множество народа собирается в Елецкий Троицкий мужской монастырь, помолиться во время соборной панихиды над его могилой. Так велико высокое светлое впечатле-

ние, произведенное им на современников и перешедшее от отцов и дедов к детям и внукам.

Отец Иоанн родился около 1750 г., в Воронеже, где его отец был приходским священником. По окончании курса Воронежской семинарии, он вступил в брак с девицей Дарьей из духовного звания, сделался священником в Воронеже и, не прослужив здесь и года, переведен в Елец, сперва к Архангельской, потом к Преображенской церкви.

Еще из Воронежа, в желании достойно нести свои священнические обязанности, он дважды писал святителю Тихону, жившему тогда на покое в Задонске, — прося наставить его в том. Вот замечательный ответ святителя.

«Отец Иоанн! — писал святитель, — Два письма я от тебя получил, за оба благодарствую. Посылаю тебе, по твоему желанию, мой совет, читай его и рассуждай, и поступай так, а более сам читай книги и от них учись и себя пасти, и людей, тебе порученных от Бога, и молись Богу прилежно, чтобы Сам Бог наставил тебя пасти стадо Христово. При том помни: ищи людей, а не людских, т. е. ищи спасения душ, а не денег и богатства, и почитания. Спасайся о Христе и о мне, грешном, Богу молись.

Ваш бывший пастырь, недостойный епископ Тихон. Октября 24-го, 1776 года. Задонск.

Совет мой.

1. Страх Божий всегда тщись иметь и молись Богу о том, чтобы Сам вселил в тебя Свой страх; рождается страх с помощью Божиею от внимания: кто ты? и что поручено тебе хранить? Ты иерей и пастырь, храни же овец Христовых, которых Он

стяжал кровию Своею, и за них дашь Христу ответ, как ты их хранил: поминай смерть, суд Христов, Небесное царство и муку вечную.

2. Юн еси, храни чистоту души и тела, на лица девическия и женския не смотри прилежно, да не сатана сердце твое возмутит; слова праздного, шуток, смехов и всяких игр берегись; думай всегда, что пред лицом Божиим ходишь и Бог все ясно видит. От обедов и собраний удаляйся, да убежишь греха; где смехи, шутки и речи о людях бывают, от того места убегай; на помины и прочие обеды не ходи; а только, отправив погребение в церкви, в дом беги, понеже в тех поминах обеденных много бывает соблазна и словом, и делом; горе бо тому, им же соблазн приходит, глаголет Христос. Что священники, братья твои, делают, и прочия лица, не смотри, но внимай, что Христос учит и повелевает; часто поминай Христовы страсти: что Он и сколь страшное подъял за нас мучение! Нищих не забывай, но чем можешь, снабдевай; в служении, а паче в Литургии, всегда тщись со умилением и страхом стоять; помни, что пред Богом страшным стоишь и молишься о себе по людям; так-де Тайны святыя совершай весьма благоговейно. Без дела никогда не бывай, часто Богу молись: читай часто первое Иоанна Богослова послание, там вся должность христианина изображена; такожде к Тимофею послания оба и к Титу послание, тамо служителей Христовых должность описана; читай и прочия книги, и что ни читаешь, достойно вписывай в тетради, дабы мог в случае людей наставлять.

3. С женою живи по-христиански, а не так, как скоты. Во время служения и перед служением от нее удаляйся. Знаешь, что здесь пишу. Увещевай и ее, чтоб чистоту любила, читай 1 Кор. 7, а паче ст. 29-й.

4. В исповеди весьма опасно поступай, чтобы грешника в отчаяние не привести; такожде берегись, чтобы и во обычай греховный не вошел грешник; во обычай грешник удобно приходит, когда грех без наказаний бывает. Обыкновенно священники говорят: Бог простит. Бог простит: но смотри, каково его покаяние, истинно ли кается, и впредь от греха обещается ли отстать. Такожде во отчаяние может придти грешник, когда с ним жестоко поступает иерей: греха тяжесть показывает, а о великом Божием милосердии не объясняет. Надобно в сем случае иерею и праведный суд Божий грешникам представить не кающимся; а истинно кающимся неисповедимое Божие милосердие. Молодых жен и девиц берегись исповедовать, — молод ты сам, — чтобы сатана плевела не посеял на сердце; пусть их другой священник исповедует.

5. По обедни всегда что-нибудь прочитай, хотя краткое, ради поучения людей, а праздника никогда не оставляй без поучения, и где бываешь в приходе, в чьем-либо доме, всегда что-нибудь душеполезное скажи, чтобы люди духовно созидались; ежели кого знаешь в чем грешаща, увещевай его и моли, чтобы перестал от греха и судом Божиим устрашай и мукою вечною и неизвестною жития его кончиною; горе христианам неисправным и пастырям, не тщащимся исправлять их! Лица

сильного не стыдись и не бойся, но всех, кто грешит, обличай, сие бо есть звание священническое, и всем помощи у Бога проси, хотя и будут тебя за то ненавидеть злые и злословить, не бойся их; ты делай свое, Бог тебя защитит.

6. Обычай злы, как-то божбу: ей-Богу, на то Бог свидетель, и прочие призывания имени Божия в подлых вещах обличай и искореняй, понеже в сем люди тяжко грешат, Бог, Который повелевает: да не будут тебе бози инии разве Мене, такожде повелевает: не приемли имени Господа Бога всуе. Такожде, когда один с другим говорит: судит-де ему Бог и прочая, все сие зло искореняй и обличай.

7. Напоминай всем, что суд Христов есть при дверех, уже настал день Христов, уготовил Господь на суд престол Свой. Оттуда страх родиться может.

8. Заповеди святые десять и сам часто прочитывай; изрядно протолкованы оныя в книжке Платона, учителя великаго князя; думаю, что есть она у многих в Воронеже.

9. Богатым, друзьям, почтенным людям не угождай — грех велик есть человекам угождать; но что видишь в них худо — обличай, и страхом суда Божия грози неисправным.

10. Тако, ежели, по должности своей поступая, презрен будешь и злословие, клевету и прочил гонения от незаконных будешь терпеть, небрежи о том, но паче радуйся по Христову словеси: радуйтесь и веселитесь, яко мзда ваша многа на небесех! Аминь. Поминай и мене грешнаго. Спиши zde увещание преподобнаго Моисея — оно написано в Прологе, декабря 15 дня, и прочитывай часто,

и внимай, и тщишь поступать так! Бог милостивый, видя твое усердие и тщание, просветит ум твой Своею благодатию и поможет тебе. Чего тебе усердно желаю».

Отец Иоанн показал себя достойным той любви и доверия, с которым отвечал ему святитель Тихон. Службу он совершал с величайшим усердием.

Звон завел он у себя перед службами особый: в колокол ударяли не часто, но редко, как в монастырях. Ежедневно совершал он позднюю Литургию, и затем акафист Богоматери со звоном.

Сам он во время службы был так полон благоговения, что невольно возбуждал его в присутствующих. Когда же он замечал, что кто-нибудь не стоит внимательно, оборачивается и разговаривает, тогда он делал замечание, а иных высылал из церкви. Обыкновенно это бывали приезжие, не знавшие требований о. Иоанна. Для исправления шалунов он прибегал к суровым мерам.

При всякой Литургии о. Иоанн говорил поучение, читая иногда по книге, а иногда по своей рукописи.

Особенно заботился о. Иоанн о храме. Он был до него тесен и некрасив. О. Иоанн расширил его и расписал внутри житиями святых.

Свой же дом его совершенно не интересовал. Кроме тесовых сеней с коридором, которые он пристроил вместо прежних плетневых, он не сделал никаких переделок. В крыше показались как-то трещины, и в это время посетил о. Иоанна епископ Орловский Иона. Смотря на крышу и потолок, он сказал: «Я думаю, тебя дождь мочит, бывает

течь с худого потолка». — «Нет, владыко, — отвечал он: — я всегда бываю сух...» Во время этого разговора ударил дождь. Земля покрылась водой. А в комнату чрез худую крышу и потолок не проникло ни одной капли, крыша даже была суха, так что архиерей в изумлении воскликнул: «Как чудно Царь небесный спасает и покоит Своих рабов!»

В обиходе своем о. Иоанн был крайне воздержан.

Пища его состояла из куска хлеба с солью и каким-нибудь дополнением. А приход его был богатый. Все доходы раздавал он бедным. Милость его была неудержимая. Часто, за неимением денег, он отдавал им последний носовой платок. Он сам первый разыскивал по домам бедных, вдов и сирот и поддерживал их, посещал тюремные замки и подавал милостыню заключенным, уговаривал их покаяться и терпеть.

Часто жена о. Иоанна укоряла его за его бесполезную щедрость. «Как ты не помнишь, — говорила она ему, — что у тебя есть свое семейство и дети? Вместо того, чтоб награждать чужих, ты бы своим кровным что-нибудь приберег и собрал!»

— Не думай, — отвечал он ей на такие речи, — что, расточая свое добро, я лишаю моих детей. Они не будут бедными. Весь мой избыток в лице нищих и бедных я даю взаймы Самому Богу. Я делаю Его должником моим в твердой надежде, что в свое время, когда мои нужды будут велики, Он заплатит мне. Я не расточаю, а собираю для детей.

И его слова оправдались: оба его сына и обе дочери были хорошо устроены.

Вот несколько свидетельств тому, как оправдана была вера о. Иоанна в Божественный Промысл.

У жены его не было денег на покупку припасов к празднику Рождества Христова. Она просила мужа дать ей денег.

— У меня нет денег, — сказал он ей. — Помолись Богу и потерпи. Он и без денег пошлет тебе нужное на праздник, как это бывало и прежде.

Но она неоднократно требовала денег. О. Иоанн решительно сказал ей, что у него нет ничего. Но при этих его словах растворились ворота, и въехал целый воз со всем нужным для праздника. Тогда о. Иоанн сказал жене: «Благодари Бога и впредь будь терпеливее в недостатках».

Но жена вообще много досаждала ему своим беспокойным сварливым нравом. Даже когда он молился, она не умолкала и часто вынуждала его своим ворчанием уходить молиться в приходскую церковь, находившуюся в той же ограде.

Однажды во время молитвы его в церкви пред иконами Спасителя и Богоматери о том, чтоб излилась и на него и на паству его благодать Божия, — он услышал от иконы Богоматери голос: «Иоанне, Иоанне, услышаны молитвы твои».

В ужасе упал он, долго плакал от умиления и не мог продолжать молитву. В расслаблении вышел он из церкви и ночевал в притворе церковном.

В другой раз пришел он к елецкому купцу, Ростовцеву, который только что перед тем читал рассуждение о таинстве Пресвятой Троицы, и с недоумением размышлял, как бы лучше его постигнуть.

Придя к Ростовцеву, о. Иоанн сказал: «Матвей, взгляни на потолок». Тот взглянул и увидел открытое светлое небо. Купец от страха упал на пол и залился слезами; плакал с ним вместе и о. Иоанн. Когда окончилось видение, он сказал: «Где нам, глупым, рассуждать о Святой Троице? Притом и то не забудь, что пророк Моисей, увидев купину, горевшую и несгоравшую, не смел приблизиться к ней. А ты, нечистый, углубляешься в это великое таинство и хочешь постигнуть непостижимое. Наше дело не углубляться, а сердечно веровать...».

В доме своем, исполняя завет святителя Тихона, о. Иоанн не оставался без дела. Молитва, чтение книг или другие добрые дела занимали все время. Смеха и шуток не любил он. Исправляя требы, был нестяжателен, совершал таинства с благоговением, а на обедах поминовенных не участвовал.

Замечательно было в его служении священническом то, что он, навещая прихожан, особенно ходил к тем, кого замечал в дурном поведении. Он обличал их, угрожал гневом Божиим и нередко склонял к покаянию. С такими же наставлениями ходил он и по больницам, в тюрьму и бедные дома. Никто не отходил от него без вразумления, которое часто изменяло все взгляды собеседника на жизнь.

Однажды пришел к нему елецкий житель, Кожухов, и сказал о себе, что, слава Богу, всю свою жизнь прожил покойно, всего у него довольно, недостатков нет, бед с ним не случалось. На эти слова о. Иоанн воскликнул:

— Жаль мне тебя, несчастный счастливец.

— Чем же я несчастлив? — спросил тот.

— Тем, — отвечал о. Иоанн, — что не посещен Божиим наказанием, которое верный знак любви Бога к нам: «Его же любит Господь, того и наказует». А ведь ты немалый грешник! Как же можешь считать себя счастливым, когда пьешь беззакония, как воду, а живешь без вразумления и бед, которые спасительны, потому что побуждают грешника к покаянию!

Задумался гость над этими словами и пошел домой, поникнув головой... Через две недели загорелся у него дом, и, пока другие тушили пожар, он выбежал на улицу, стал на колени и, подняв руки к небу, громко молился: «Слезно благодарю Тебя, Господи, что Ты наказуешь меня, великого грешника. Чувствую теперь, что Ты не забыл меня и пробуждаешь меня, окаянного. С усердием лобзаю десницу Твою, достойно меня карающую».

Не терпел о. Иоанн лжи.

Живописец, расписывавший его приходскую церковь, нуждаясь в деньгах, пришел просить их вперед за работу. Прежде, чем тот заговорил, о. Иоанн спрашивает его, читал ли он Новый Завет, и говорит, подавая ему Евангелие: «Вот возьми, еще почитай и что найдешь в ней для себя полезного, о том скажи мне. Бери же и иди домой».

Так и пошел живописец, не объяснив своей нужды, и дома положил книгу на полку и не открывал ее. Через две недели приходит к нему о. Иоанн и спрашивает:

— Что, Алексей, прочел книгу?

— Прочел.

— Где ж она? Поддай ее сюда.

И, получив книгу, о. Иоанн развернул ее прямо в том самом месте, где написаны слова: «Просите, и дастся вам». А на этом самом месте, вручая книгу живописцу, о. Иоанн тайно положил для него двадцать пять рублей.

Упал живописец в ноги о. Иоанну и сознался во лжи.

— Бог простит тебя! — отвечал о. Иоанн, отдавая ему деньги, и объяснил ему низость лжи. После этого живописец и сам не лгал, и других предостерегал от этого порока.

Боролся о. Иоанн и с суевериями.

Один купец, выезжая на ярмарку, у самого своего двора встретил о. Иоанна. Он приказал вернуться, считая это за неблагоприятное предзнаменование. Переждав немного, собрался он ехать опять, и снова навстречу о. Иоанн, и так до трех раз. В третий раз подозвал купца к себе о. Иоанн и говорит: «Что это у вас за предрассудок, что встреча священника признак неудачи?.. Брось ты это. Прими от меня благословение и вернись домой. Я там отслужу для тебя напутственный молебен, и ты отправишься в путь с благими надеждами».

После молебна купец поехал и отлично торговал на ярмарке. И больше уж не боялся встречи со священником.

В обличениях своих о. Иоанн был прям и смел, не стесняясь значительностью лиц.

Один именитый купец пригласил его осмотреть выстроенную им церковь.

Войдя в нее, о. Иоанн воскликнул: «Слава Богу, великолепен храм! Радуюсь и благодарю Господа Бога за этот молитвенный дом. Благодарю и ты Его благость, поблагодари не языком только, но самым делом. Благодарю Господа по примеру Закхея-мытаря, который обещал, когда Господь пришел в «его дом, пол-имения раздать нищим и возвратить четвертицею тем, кого обидел... Советую тебе последовать этому примеру. Ведь обиженных тобою, я думаю, столько, что их, по многочисленности, невозможно поместить в этом храме. Вспомни, как ты поступал с бедными торговцами, которым за год вперед роздал деньги под товар. По истечении года ты принимал от них товар, сверх вычета громадного процента, не по той цене, по какой они покупали, а по той, какую тебе было угодно назначить. Вспомни, что делал ты, если они не успевали к сроку поставить товар. Ты был неумолим, хотя бы до этого несчастья эти люди лет по десяти и по двадцати работали на тебя и умножали твои миллионы. Сколько таких людей ты совсем разорил, лишил крова и приюта и пустил с семействами и детьми бродить по миру!.. Побойся Бога, побереги свою душу и в благодарность за ту милость, что Господь позволил тебе выстроить храм, раздай одну половину имения нищим и из второй расплатись с теми, кого ты обидел. Тогда твоя жертва будет угодна Богу. А если сохранишь капитал, то, при внезапной твоей смерти, он будет расхищен и поступит, в укор твой, в чужие руки».

Купец плакал и обещал хоть частью вознаградить всех, им обиженных, и потом уж никого не притеснять.

В преклонных годах, при полном развитии духовных сил о. Иоанна, открылся в нем дар прозорливости.

Известный затворник Задонского монастыря Георгий был смущаем в монастырском храме тем, что многие вели себя непристойно для такого места, разговаривали и смеялись. Он надумал перейти в другой монастырь, но наперед хотел посоветоваться с каким-нибудь опытным старцем и остановился на о. Иоанне.

Когда Георгий пришел в Елец, едва успел подойти он к дому о. Иоанна, как тот выбежал на крыльцо и, хотя никогда не видал и не знал его, встретил его такими словами: «А я, брат, сейчас только отслужил молебен со звоном Пресвятой Богородице... Она не велит давать наставления монахам, особенно смущенным и хотящим оставить свой монастырь... Ступай, брат, в чулан!» И при этих словах о. Иоанн спрятался в свой чулан, в котором обыкновенно жил.

То же было и с другим Задонским монахом, думавшим из-за тяжести послушания перейти в другой монастырь. Подойдя к дому о. Иоанна, монах думал: «Не рано ли я иду к нему? Ведь он позднюю обедню медленно служит, а по окончании обедни служит молебен с акафистом Божией Матери. Впрочем, пойду и подожду».

Не успел подойти он к дому о. Иоанна, как тот, никогда его не видевший, выходит к нему навстре-

чу и говорит: «Службу свою долгую я кончил, акафист прочитал, и вот сижу дома на покое. А ты, брат, вне дома, не на своем месте, иди опять в свой монастырь и безропотно неси свое послушание».

Священник Вуколов пришел к о. Иоанну со студентом Орловской семинарии Иродионом Соловьевым, который желал принять благословение на брак. О. Иоанн, приняв их, подвел их к угощению. Когда студент хотел взять чего-то мясного, о. Иоанн сказал: «Нет, брат, нам к этому не надо прикасаться: мы с тобой икры съедим». Вскоре затем о. Иоанн пошел в свой чулан, вынес оттуда два посоха — для себя и священника, и архиерейский жезл.

Этот жезл он вручил студенту со слезами:

— Даю жезл архиерейский. Теперь ступай с Богом. Мне некогда больше беседовать с вами, — и убежал в свой чулан.

Студент этот постригся в монахи и впоследствии был архиереем.

Составитель жизнеописания о. Иоанна, Елецкий протоиерей Лука Ефремов, рассказывает о себе, что за него были сватаны пять невест, четыре из них с большим приданым, а одна совсем бесприданница, мещанская дочь. На ней он и остановил свой выбор, но хотел проверить выбор свой чрез о. Иоанна. В этот самый день о. Иоанн заходит в дом его тестя и говорит жениху: «Радуюсь, что ты, при помощи Божией, сумел выбрать себе невесту: твой выбор хорош». И, действительно, он был очень счастлив, жену его любил весь город, а те четыре невесты оказались непригодными в жизни. Иногда в действиях отца Иоанна замечалась неко-

торая странность, и малопонимающие люди считали его малоумным. Вероятно, этою странностью старец старался избежать славы людской, которая ему была тяжела. Какой иногда в этих странностях бывал глубокий смысл, покажет следующий пример.

Однажды он лег на сыром месте на площади, находящейся на краю города. Проходящие осуждали его: «Неприлично священнику сидеть на сырой земле». А он отвечал: «Земля, правда, сырая и грязная, но я особенно люблю это место и даже лобызаю его. Здесь скоро воздвигнется великолепный храм и будет совершаться святейшее Таинство».

Эти слова разнеслись между жителями, открылся сбор, встреченный очень сочувственно, и был выстроен великолепный храм.

Отец Иоанн мирно скончался 20 декабря 1824 г.; к последнему жилищу в Троицком монастыре его несли на плечах священники.

Весь город и тысячи окрестных жителей следовали за гробом. Вопли бедных почти заглушали пение духовенства.

(Е. Поселянин. «Русские подвижники XIX в.»).

НЕЗАБВЕННЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬ

Бывают люди, вся жизнь которых устремляется на освобождение не самого себя, от отречения от «тленного образа смерти в живом человеке». Такие люди не от мира сего, всеми силами своей души стремящиеся свергнуть с себя иго окружающей жизни с ее суетой и мелочами, встречались во все века и, как это ни странно, встречаются и в наше

время и в такой иной раз среде, из которой, казалось, могли бы выйти только великие жизнелюбцы.

Таким человеком не от мира сего, таким гонителем «ветхаго человека» в самом себе был известный богач-благотворитель Иннокентий Михайлович Сибиряков, принявший под конец своей жизни схиму и скончавшийся десять лет тому назад в Афонском монастыре под именем схимонаха Иннокентия.

Схимонах Иннокентий скончался всего 41 года от роду. Но эта короткая жизнь была полна богатым содержанием. «Богатым» и в смысле того богатства, которое было в обладании у И. М. Сибирякова и которое было употреблено им на дела благотворительности, и еще более того в смысле внутреннего богатства содержания этой замечательной жизни.

И. М. Сибиряков родился в 1860 году в Иркутске в богатой семье Сибиряковых, хорошо известной во всей Сибири. Отец Иннокентия Михайловича был богатейший золотопромышленник и, умирая, оставил своим сыновьям по несколько миллионов каждому. Оставил он им и свое золотопромышленное хозяйство, которое было блестяще поставлено и прекрасно шло.

Сделавшись миллионером и хозяином колоссального золотопромышленного дела, которое с каждым годом еще увеличивало его миллионы, И. М. Сибиряков не нашел счастья и внутреннего удовлетворения в этом богатстве. Ему казалось, что попавшие ему в руки колоссальные деньги взя-

ты у кого-то другого, нуждающегося. Необычайно чуткий сердцем к горю и страданию ближнего, он вскоре стал тяготиться своим положением человека, обеспеченного средствами свыше всякой меры, и стал тратить свои средства на благотворительность и на общественные нужды.

Еще будучи студентом (он получил образование в Петербургском университете), Иннокентий Михайлович проявлял сердечную отзывчивость к своим товарищам и много помогал им. Позднее его благотворительность приняла огромный размах; так, на первых же порах своей самостоятельной деятельности он пожертвовал своему брату на постройку воздвигаемого им в Иркутске собора несколько сот тысяч рублей. Затем он стал жертвовать громадные суммы на дела просвещения и науки: на поощрения научных работ по исследованию родины и ее населения, на устройство ученых и просветительных учреждений и т. п. При материальном содействии И. М. Сибирякова открылся университет в Томске и восточно-сибирский отдел Географического общества. Он поощрял различные местные экспедиции и издавал труды научных исследователей. По его инициативе возникли в 1887 году публичные библиотеки в некоторых сибирских городах и было построено много церквей и школ.

Видя, как тяжело живет сибирским приисковым рабочим, И. М. Сибиряков пожертвовал 450 000 рублей на образование капитала для выдачи пособий в случае несчастий с рабочими.

Позднее И. М. Сибиряков перенес свою благотворительность из Сибири и в остальную Россию. Опять полились колоссальные суммы денег на различные просветительные учреждения. Высшие женские курсы в Петербурге получили от него свыше 200 000 руб. Известный биолог проф. П. Лесгафт получил от Сибирякова 350 000 рублей на устройство в Петербурге биологической лаборатории. Громадные суммы были потрачены И. М. Сибиряковым на издание классических и современных авторов.

Но и всеми эти пожертвованиями не исчерпывалась щедрая благотворительность Иннокентия Михайловича. У него находили поддержку многочисленные общественные деятели, затевавшие так или иначе «сеять разумное, доброе, вечное». При гласной и негласной помощи И. М. Сибирякова устраивались больницы, школы, библиотеки, читальни... На его средства в одном Петербурге жили и учились сотни молодых людей и девушек-курсисток: великое множество учащейся молодежи могло окончить свое образование только благодаря широкой материальной поддержке Сибирякова. Достаточно сказать, что квартира Сибирякова, пока он жил в Петербурге, осаждалась нуждавшимся людом и никто не уходил от него без помощи.

И этот богач, этот владыка миллионов не переставал испытывать тягостное чувство недовольства своим существованием. Его тяготили миллионы и тяготили дела и обязанности, связанные с приобретением и накоплением миллионов. Подобно

тому, как другие люди ищут счастья в деньгах, И. М. Сибиряков искал счастья в освобождении от денег. И не находил для себя счастья. И вся его жизнь, в сущности, была ничем иным, как только исканием счастья вне своих миллионов и вне той обстановки, на которую обрекла его судьба.

В поисках счастья, в неустанном стремлении к личному совершенству И. М. Сибиряков отправился за границу, чтобы посмотреть, как живут там люди и как они достигают там нравственного самоуправления. Он посетил почти все выдающиеся центры культурной жизни на Западе, но его путешествие не удовлетворило его.

В таком настроении И. М. Сибиряков вступил в переписку с другим великим искателем правды и нравственного самоудовлетворения, с Л. Н. Толстым, и даже посетил его в Ясной Поляне.

И. М. Сибиряков застал великого писателя в поле, за полевыми работами. Толстой встретил Сибирякова чрезвычайно радушно, и между ними произошла сердечная беседа.

— Помогите мне снять с души тяжкое бремя, — говорил Сибиряков. — Я страшно богат. Я не знаю, что делать мне с своим богатством. Оно тяготит меня, оно мучит меня!

Толстой признался своему гостю, что и сам он испытывает подобное нравственное состояние и что его также тяготит та «барская» жизнь, которую он принужден вести и от которой он не может уйти в жизнь простого земледельца, ничем не связанного с «обязанностью» идти после полевой работы «в барские хоромы и за белым столом пить

и есть настряпанное и подносимое целой когортой рабов и рабынь».

Далее, Сибиряков жаловался Толстому, что он «облеплен» тучами так называемых дел по заводам, фабрикам, конторам, домам.

— Я покоя не знаю, — говорил он, — вижу, что этому конца-краю не будет. Я как будто должен, как будто бы надо капиталу дать ход, надо людям дать заработок, и на одни просмотры новых планов и построек уходит все мое зрение. Я затеваю устройство новых поселков для интеллигентов, но я лучше бы предпочел сразу сбросить с себя эту тяжесть золотого мешка, да вот не знаю, как это сделать. Научите, как мне раздать мои деньги, мои прииски, мои земли... С тех пор, как деньги очутились в моих руках, я чувствую неумолкающее гудение в ушах: «Раздай, раздай и раздай».

Л. Н. Толстой выразил полное сочувствие к его душевному порыву. Проведя в Ясной Поляне два дня, Сибиряков уехал оттуда с твердо выработанным планом «разгрузки золотого мешка». Он собирался организовать грандиозную помощь крестьянам-переселенцам в Сибирь. Мысль об этом зародилась еще ранее посещения Ясной Поляны, и Толстой не решился противоречить ему в этом добром намерении.

Конец его мирской деятельности (до перехода в монашество) был ознаменован тяготением к церкви и обширной благотворительностью на церковные и духовные нужды. Благотворительность Сибирякова в этом направлении приняла такой характер, что иногда благотворимые им лица

прямо пугались колоссальных размеров получаемых ими пособий, а родственники И. М. Сибирякова даже возбудили против него судебное дело, ходатайствуя о назначении над ним опеки, как над расточителем и ненормальным человеком.

Рассказывают, между прочим, такой случай о Сибирякове, относящийся к этой поре его жизни.

Входя однажды в Знаменскую церковь в Петербурге, он положил на книжку стоявшей на паперти монахини серебряный рубль. Монахиня, должно быть, привыкла получать только самые мелкие подаяния; она так была поражена этим рублем, что тут же, на глазах Сибирякова, упала на колени пред образом и стала громко благодарить Бога за такой щедрый дар. Сибиряков был растроган и спросил у монахини ее адрес и из какой она обители. И на следующий же день он явился по ее адресу в одно из столичных подворий и передал монахине все свои свободные деньги — около 190 000 рублей.

Монахиня пришла в ужас от такой огромной суммы. Она заподозрила тут что-то неладное и по уходе своего необыкновенного посетителя заявила о нем полиции... Возникло упомянутое нами судебное дело, возбужденное родственниками Сибирякова. Суд, однако, признал его действовавшим в состоянии полного разума и утвердил за бедной угличской женской обителью пожертвованную ей громадную сумму.

Вечное искание правды и душевного покоя привели Иннокентия Михайловича на тот путь, как устроить свою жизнь в мире: он решил навсегда по-

рвать связь с миром и удалиться в монастырь. В 1894 году он вступил в Андреевское подворье в Петербурге, а 1 октября 1896 года отправился на Афон.

Там он вступил в скит св. апостола Андрея Первозванного, где достроил на свои средства собор и выстроил две церкви, больницу и небольшое здание для себя — тоже с церковью. И там он принял монашество и провел остаток своей жизни в глубоком безмолвии, приняв великую схиму.

Скончался он 6 ноября 1901 года. Прах его погребен близ достроенного им в ските нового собора.

Таков был этот миллионер-бессребренник, этот необыкновенный человек. Вся его яркая жизнь была запечатлена одним порывом — к личному совершенству и к личной нестяжательности во имя блага своих ближних. Он был типичным и прекраснейшим образцом совестливого русского человека, не смог безмятежно радоваться и веселиться на пирах жизни, когда кругом него бедствовали сотни тысяч людей. И совестливость эта понудила сделать то, что не решился сделать евангельский богатый юноша, пришедший к Христу: раздать свое имущество и отдаться исканию правды в самом себе.

(Б. Никонов. «Нива», 1911 г., № 51).

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ.....	3
НЕВЕДОМЫЙ МИРУ ПОДВИЖНИК.....	9
ИСТИННЫЙ ПАСТЫРЬ БОЖИЙ.....	28
ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ ДИАКОН.....	44
МНОГОЛЕТНИЙ СТРАДАЛЕЦ	
МИХАИЛ ИВАНОВИЧ БЕЗРУКОВ.....	81
МАТРОНА НАУМОВНА (г. ЗАДОНСК).....	97
РАБ БОЖИЙ ИОАНН.....	109
ГЕОРГИЙ, ЗАТВОРНИК ЗАДОНСКИЙ.....	129
ЖИЗНЬ БЛАЖЕННОГО СТАРЦА МОНАХА	
ОТЦА НИКИТЫ.....	143
НЕ ОТ МИРА СЕГО.....	153
ОБЕЩАНИЯ БОГУ ИСПОЛНЯЯ.....	159
ЕВФИМИЯ ГРИГОРЬЕВНА ПОПОВА.....	165
СТАРЕЦ, ДОСТОЙНЫЙ ПОДРАЖАНИЯ.....	170
У «ИВАНА ИВАНОВИЧА».....	176
БЛАЖЕННЫЙ.....	186
АНДРЕЙ, ЮРОДСТВОВАВШИЙ В ГОРОДЕ	
МЕЩОВСКЕ.....	191
РАБА БОЖИЯ КСЕНИЯ.....	196
ДОБРЫЕ ПОДВИГИ.....	204
В СВЯТУЮ НОЧЬ.....	210
ГДЕ БОГ ДА ЛЮБОВЬ - ТАМ И СИЛА.....	216
ПОРАЗИТЕЛЬНЫЙ ПРИМЕР ВЕРНОСТИ.....	235
СТАРЕЦ ДАНИИЛ.....	240
ПРИЗНАНИЕ РАЗБОЙНИКА.....	244
ДЕД ЛУКА.....	251
СВЕТЛАЯ КОНЧИНА.....	257
СЛЕПАЯ ПАЛОМНИЦА.....	260
ОТЕЦ МАРК.....	265
СВЯТОЕ ДИТЯ.....	273
ИЗ РАССКАЗОВ ИВАНА ПЕТРОВИЧА.....	277
ЧЕСТНЫЙ ИЗВОЗЧИК.....	284
РАССКАЗ РУДОКОПА.....	288
АЛЕКСЕЙ, ЧЕЛОВЕК БОЖИЙ, КАК ОБРАЗЕЦ	
САМООТВЕРЖЕНИЯ ДЛЯ СОНМА РУССКИХ	
ПОДВИЖНИКОВ.....	296
ДОБРОЕ СЕРДЦЕ.....	299
ЯРКИЙ ПРИМЕР ИСТИННО ХРИСТИАНСКОЙ	
ЖИЗНИ В МИРУ.....	310

КТО МОЙ БЛИЖНИЙ?	315
РЕДКАЯ СЕМЬЯ	323
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬ	328
ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ КОНЧИНА КРЕСТЬЯНКИ	330
СХИМНИК	337
ЭТО - ОН!!!	344
КРАСНЫЕ ЯБЛОКИ	350
СТРАННИК	355
«ПО СЛОВУ ТВОЕМУ» (Лк. 5, 5.)	362
ДОБРОЕ ДЕЛО	366
НИКОЛАЙ МАТФЕЕВИЧ РЫНИН	371
ХРИСТИАНСКАЯ МЕСТЬ ВРАГУ	382
ПРИМЕР ДОБРОДЕТЕЛИ	389
КОЛОМЕНСКИЙ ДАНИЛУШКА	393
ПЕТРОВИЧ	396
МИРСКАЯ ЧЕРНИЦА	400
ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ	409
СВЯЩЕННИК ИОАНН (ГОРОДА ЕЛЬЦА)	425
НЕЗАБВЕННЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬ	439

Свидетельство ДК № 95 от 26.06.2000г.

Издательство ЗАО "Тираж-51".

Адрес издательства: 84313, Донецкой обл.,
г. Краматорск, ул.Орджоникидзе 10/4.

Издательство ЗАО "Тираж-51" - набор, верстка,
оригинал-макеты, художественное оформление,
подготовка текста, тиражирование, переплет, издание.
Отпечатано с готовых диапозитивов, изготовленных в
дизайн -центре издательства ЗАО "Тираж-51",
в типографии ЗАО "Тираж-51."

Подписано к печати 10.04.05 Тираж 35000 Заказ 10/04

Печать офсетная.

Адрес : 84313, Донецкой обл.,
г. Краматорск, ул.Орджоникидзе 10/4.

П-3 27.1
2.08



Свято-Преображенский
Кафедральный собор
г. Днепропетровск



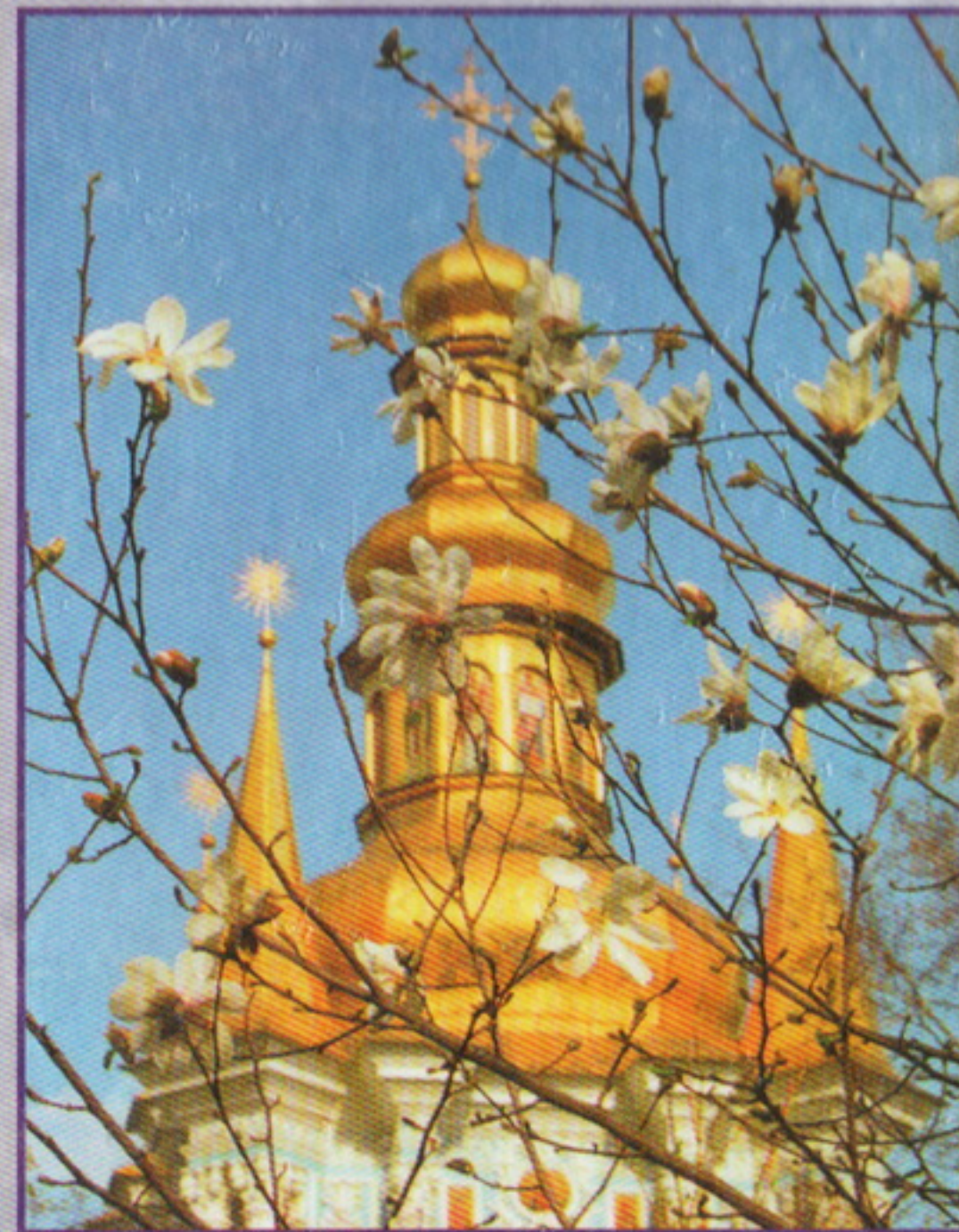
Свято-Преображенский
Кафедральный собор
г. Днепропетровск



райские цветы с русской земли



338ТО



райские цветы
с русской земли